

Всеволод Кочетов

ПОД НЕБОМ РОДИНЫ

Сп


Скан и обработка:
krestik

Всеволод Кочетов

ПОД НЕБОМ РОДИНЫ

РОМАН

Советский писатель
Ленинград
1955



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

На новом месте Лаврентьев спал плохо. Всю ночь он слышал давно, казалось, позабытый скрип обозных колес, отчетливый и резкий хруст минных разрывов; гудел тревожно фронт; а под утро, когда мгла беспокойной ночи стала медленно, будто нехотя, уступать место серому полусвету, вновь началась та последняя контратака... Батарея едва успела развернуться — прямо на мокром бетоне автострады, — и сразу же надо было открывать огонь: танки противника из взятого в полукольцо Кенигсберга тараном шли на Пиллау. Сближались встречные пушечные удары; надрывая горло, Лав-

рентьев выкрикивал команды, но расчеты и сами знали, что делать...

Туман над дорогой побагровел, как зарево, в нем уже дымно дрожало пламя от горящих машин, уже остались возле орудий по два, по три бойца, кровью и копотью покрылся бетон вокруг батареи, а танки всё шли и шли, и все трудней было стоять под их огнем в густых веерах осколков, в пороховых обжигающих вихрях. Уже сам он, командир, наводит и стреляет из орудия, кто-то — Лаврентьев так и не узнал в кровь разбитого черного лица — подает ему снаряды, торопливо хватая их с лотков, и отшвыривает ногой горячие звонкие гильзы, на которых, шипя, тает ленивый мартовский снег.

Память этого не сохранила, — только в сновидениях воскресала порой конечная минута тяжелого поединка: не веер осколков — танковый снаряд с прямой наводки ударил в орудийный щит, смял его, изорвал; острые клочья металла сбили Лаврентьева с ног.

Он полетел куда-то, как часто бывает во сне, и раскрыл глаза. За стеной глухо били часы; по толевой кровле, свесившей с карниза черные лоскутья, ходил утренний ветер; за широкими окнами, разгоняя туман, взмахивали ветвями старые яблони, желтые листья летели вкось и прилипали к мокрым стеклам. На рябине, которая скрипуче терлась тонким стволом о водосточную трубу, сидела сорока. То одним, то другим глазом птица засматривала внутрь веранды, заинтересованная часами, перочинным ножом и портсигаром на столе.

Последний бой приснился неспроста. Ныло сердце, болели грудь и левая рука, все те нервы и сухожилия, которые были порваны в тот страшный день и затем под полотняной крышей просторной палатки сшиты иглой военного хирурга. Прошли годы, но к изжеванной, измятой руке еще не вернулась в полной мере прежняя способность движения, она все еще была наполовину вещь, и при ходьбе ее, именно как вещь, надо было класть в карман, чтобы не мешала; ожили только пальцы, — в них достаточно прочно, чтобы чиркнуть другой рукой, держался коробок спичек, им можно

было поручить папиросу; они, если положить руку на стол, могли отстукивать такт несложных мелодий...

Осторожно, боясь тревожить старые раны, Лаврентьев натянул серые в полоску брюки, заправил их в сапоги, надел синий пиджак, кепку, накинул не просохшее от вчерашнего ливня бобриковое пальто и по гнилым, замшелым ступеням высокого крыльца спустился в сад. Ночь эта истомила Лаврентьева, сердце требовало воздуха.

Осклизаясь на преющих листьях, он сделал несколько шагов под черными от дождя ветвистыми яблонями и оглянулся. Большое приземистое здание в кирпичных колоннах с облупившейся штукатуркой, с пустыми глазницами сводчатых окон, с промятой полусферической кровлей одиноко стояло среди сада. Левый флигель его был разрушен. Меж разбросанных каменных глыб и деревянных балок росла бузина; высокие груши и липы вокруг были мертвы — их убило пламя пожара, — толстая кора свисала волокнистыми пластами, ветры и дожди до блеска отполировали обнаженную древесину сухих стволов.

Правый флигель сохранился, к нему лепилась светлая веранда, где на пыльной и жесткой кушетке Лаврентьев провел беспокойную ночь. К стеклам окон, соседних с верандой, жались изнутри широкие листья гераней и фикусов, густая их зелень была плотней любых занавесей и штор; взгляд не проникал сквозь нее в комнаты, где жила тихая старушка, безмолвно поднявшаяся в полночь с постели, чтобы устроить на ночлег его, Лаврентьева, прозябшего и измокшего в дороге. Она хотела, помнится, уступить ему свое деревянное ложе с перинами и лечь на сундуке, но он, полусонный, отказался и был отведен на веранду, куда, все так же безмолвно, старушка вынесла свежее белье, большую подушку и толстое стеганое одеяло.

Напрасно она хлопотала — не помогли ни мягкие подушки, ни льняные простыни. Лаврентьева знобило.

Подняв воротник, он продолжал путь по саду. Ветер хлестал по коленям мокрыми полами пальто; не дождь — тонкая водяная пыль летела из низких клочковатых туч и унизывала ворсинки бобрика мельчай-

шими светлыми каплями. Под ногами среди палой листвы попадались никем не найденные яблоки, тронутые гнилью и бородавчатой плесенью. Лаврентьев поднимал их, вдыхал запах брожения, очищал от гнили перезревшую мякоть, — вкус, как и запах, был винный и приятный.

Через колючее сплетение шиповника он вышел к реке. Под невысоким, но крутым обрывом метались от ветра бурые метелки тростника; желтые сухие стебли, сталкиваясь, издавали тонкий металлический звон, брунжали, как струны, в струях быстрой, по-осеннему мутной, илистой воды. На противоположном берегу из темного ельника, густо облепившего пологий холм, высунула шатровую крышу маленькая звонница, рядом с которой зеленел плоский, как репка, куполок белой церковки.

Картина эта поразила Лаврентьева. Она напомнила ему детство и тот лесной скит, к которому он и его сверстники, блуждая по лесу в поисках ягод и грибов, подходили не без душевного трепета. Говорили, что в скиту, не подымаясь из гроба, устланного хвоей, полвека жил старец Феодосий, отчего и скит назывался Федосов. Все это было тогда таинственно и загадочно; на память приходили страшные сказки, которые ребятишки по очереди рассказывали друг другу вечерами где-нибудь на сеновале, в огородном шалаше или на бревнах возле мельницы за околицей.

Не каждый день взрослый человек вспоминает свое детство, — разве лишь в минуты горькой обиды, когда ему самому становится жаль себя, или при встрече с друзьями детства, или при возвращении в родные места после долгих лет разлуки. Не часто вспоминал детские годы и Лаврентьев. Последний раз это было, кажется, в санитарном вагоне, увозившем его в далекий тыл, когда, покачиваясь в подвесной койке, после польских и немецких ландшафтов, он вновь увидел за окнами родные леса и рощи, луга и озера, смоленские, новгородские, вологодские деревеньки. Да и зачем вспоминать? И было ли для этого время? Окончил школу в селе, поехал в Ленинград, поступил в сельскохозяйственный институт, за месяц до войны получил

диплом агронома. Но не успел еще купить чемодан, с которым по путевке Наркомзема собирался отправиться на Смоленщину, началась война; чемодан не понадобился: агроном ушел на артиллерийские курсы с вещевым мешком за плечами. А там — бои и походы...

Так же вот, в нескольких словах, рассказал он вчера о себе и здешнему врачу Людмиле Кирилловне Орешиной, когда встретил ее, забежав от ливня в сенной придорожный сарай. Молодая женщина сидела там на сухом березовом бревне и растирала ладонями голые колени. Увидав его, она поспешно, до голенищ сапог, одернула узкую юбку, смущенно улыбнулась.

Лаврентьев раскинул пальто на свежем сене. Потом вынул папиросу из портсигара, — началась обычная возня с коробком и спичками. Людмила Кирилловна хотела помочь, но он вежливо отказался от помощи, прикурил сам. Она поинтересовалась, что у него с рукой. Нехотя, потому что не в первый раз, отвечал, как лечился в госпиталях и клиниках, на грязях под Одессой и на побережье Кавказа, тайком разглядывал свою собеседницу и никак не мог определить, какого цвета у нее глаза — то ли голубые, то ли синие; каштановыми или черными надо назвать ее вьющиеся волосы? Все в Людмиле Кирилловне казалось ему каким-то неопределенным, и даже голос — одни и те же слова она произносила то глухо и грубовато, то звонко и мягко. «Будете здесь работать, — говорила она с сочувственной улыбкой, — займемся вашей рукой, ее нужно упражнять, массировать, делать теплые ванны...»

Затяжной осенний дождь приутих только к ночи. Вдвоем они топтали вязкую дорожную грязь, поддерживали друг друга, перебираясь через наполненные водой рытвины. «Я бы вас пригласила к себе, — в раздумье сказала Людмила Кирилловна, когда во тьме показались крыши строений. — Да сама не знаю, что у меня дома. Три дня пробыла на врачебной конференции в городе. Может быть, все пришло в запустение, сыро, холодно. А главное — далеко: на другом конце села. Лучше я сведу вас к одной очень симпатичной женщине. Увидите, какой она интересный человек. Вот сюда... Это бывший барский дом».

Но Лаврентьев так вчера и не увидал, симпатичный ли, интересный ли человек дал ему ночной приют, — он устал и хотел спать, и сейчас, все еще под впечатлением тяжелого сна, в раздумье смотрел на церковку, похожую на Федосов скит, вспоминал детство, находился в непривычном для него состоянии созерцательности. Странный дом, странный ночлег, запущенный старый сад, церковка... Если бы не два трактора, размеренно бороздившие поле за рекой, можно было бы подумать, что и это сон. Но тракторы рокотали деловито, бодро, как бы напоминая Лаврентьеву о той цели, ради которой он приехал сюда.

2

Лаврентьев ощутил беспокойство, какое испытывает человек, которого долго и пристально разглядывают со стороны. Он обернулся. Позади, под пятистволой коряжистой яблоней, стоял улыбающийся старичок. Был старичок мал ростом, по-детски узок в плечах, длинный клин его белой бороды, начинаясь под глазами и возле ушей, волнами спадал по холщовому чистенькому пиджачку до самого пояса; короткие прямые ножки так плотно упирались в землю, точно он, подобно позднему грибу, поднялся на них из-под опавших листьев. Сходство с грибом дополнялось надвинутой до бровей желтой соломенной панамой, которую опоясывала черная широкая лента. Когда Лаврентьев обернулся, старичок приподнял эту до крайности неуместную под осенней изморосью панамку, приветливо сощурил белесые глазки и сказал:

— Доброе утро, товарищ агроном! Хозяйка к столу звать велела.

Он повел Лаврентьева по мокрой дорожке, разрисованной извилистыми следами дождевых червей; маленький, едва до плеча Лаврентьеву, шагал твердо, крепко, что совсем не вязалось с его древним видом, и молчал.

Через веранду, где постель с кушетки уже была убрана, они прошли в комнату. Ночью, усталый, при

свете керосиновой лампы, Лаврентьев плохо разглядел жилище своих хозяев; тем более он был поражен теперь представшими перед ним чистотой и уютом.

Хозяйки не было. Дед пригласил его сесть в плюшевое кресло и через узкую дверь, завешенную того же, как и обивка мебели, малинового плюша портьерой, вышел в соседнюю комнату. Лаврентьев с интересом осматривался. Окна — он это уже заметил из сада — сплошь застилала цветочная листва, в комнате стоял зеленоватый полумрак. Неторопливо, тускло взблескивая, вышагивал под стеклом латунный маятник высоких часов в резном футляре, бой которых Лаврентьев слышал утром за стеной. В проволочной клетке, подвешенной к своду окна, цепляясь за прутья, тихо возился и попискивал чижик. В широкой квадратной банке на круглом столике, придвинутом к окну, меж длинноногих и тонких, как нити, водорослей, плавали золотые караси. Посредине комнаты, на большом, покрытом голубой клетчатой скатертью столе, вокруг которого симметрично располагались дубовые стулья с узкими спинками, были расставлены тарелки, окаймленные синим, вазочки цветного стекла, прикрытые никелированными крышками, разложены массивные ножи, вилки и ложки нескольких размеров. Все это, так же как и темный широкий буфет, и стеклянная горка с посудой и фарфоровыми фигурками, и пушистые дорожки на полу, уводило в какую-то незнакомую Лаврентьеву стародавнюю жизнь. И странно среди деревянных блюд с грушами и яблоками, развешанных по стенам, выглядел поясной фотографический портрет в черном багете: молодой красноармеец с веселым энергичным лицом, в конусном шлеме и с угловатыми петлицами времен гражданской войны, которые и увидишь теперь разве что на портретах да на старых фотографиях в музеях.

Занятый размышлениями о должно быть сложных путях, какими в этот тихий мирок могла попасть не очень соответствовавшая всей остальной обстановке фотография, Лаврентьев не заметил, как снова вошел старичок и, распахнув портьеру, пропустил женщину с подносом.

— Простите, что заставила ждать, — сказала она грудным, низким голосом и поставила на стол поднос с кастрюльками и со сковородками, на которых что-то шипело. — Доброе утро, вернее — добрый день, ведь уже почти двенадцать.

Лаврентьев видел, что женщина эта упорно борется со старостью. Она была в длинном, коричневого тонкого сукна платье с тугим расшитым сутажом лифом и пышными рукавами. Белый, такой же, как и воротничок, кружевной ее передник едва превосходил в размерах носовой платок и имел, конечно, лишь чисто символическое значение, служил знаком того, что здесь, за столом, хозяйка — она. Седые волосы над бледным лицом были зачесаны высокой короной. Голову она держала прямо, и сама держалась прямо, легко и свободно.

— Не смущайтесь, — сказала с приветливой улыбкой. — Садитесь к столу. Вчера вы назвали меня бабушкой и не ошиблись. Вам сколько лет? Ну вот, нет тридцати! А мне пятьдесят семь. Когда плохое настроение, я горблюсь, хожу в шлепанцах. А когда настроение хорошее, я вновь молода, насколько, конечно, можно при этой седине и морщинах. Сегодня у меня хорошее настроение... Я очень люблю осень, желтые листья, ненастье, дождь и ветер. А вы?..

— Дождь и ветер? — недоуменно переспросил Лаврентьев.

— Да, дождь и ветер, именно — ненастье. Это воспоминание. Ну, садитесь же. Остынет, будет невкусно, а я старалась приготовить повкусней. Антон Иванович прислал для вас все свежее и лучшее.

Она произнесла это имя и отчество так, будто ее гость давным-давно знал человека, о котором она говорит. Лаврентьев хотел спросить, кто такой Антон Иванович, но хозяйка, пододвигая ему сковородку с яичницей, масленку, муравленый горшочек с топленым молоком, продолжала говорить, и прервать ее было невозможно.

— Я уже о вас многое знаю, Петр Дементьевич, — говорила она. — Чуть свет ко мне забежала Людмила Кирилловна. Милая женщина, не правда ли? Сколько

энергии, упорства! Да вы кушайте! .. Почти всю войну провела сестрой в медицинских батальонах, в госпиталях... Потом пошла в институт, восстановила в памяти забытые школьные знания, училась. Теперь участковый доктор, наш сельский врач. Послушайте только, как о ней отзываются пациенты! И удивительно — уверяет, что ей нисколько не скучно в нашей глуши, вдали от городского шума. Я-то здесь более четверти века, иного мне ничего и не надо, прекрасные места, прекрасные люди. Но вам, молодежи...

Она говорила о колхозе, об урожаях, о детях, о том, как нужны деревне специалисты, и о том, как хорошо, что здесь будет работать теперь и он, Лаврентьев, — о чем и о ком угодно говорила, только не о себе. Лаврентьева это заставило насторожиться. Он испытывал двоякое чувство. С одной стороны, ему нравилась обстановка, в которой он так неожиданно очутился, нравилась и сама хозяйка, — нравилась своей приветливостью, поразительным умением не поддаваться старости, оптимистическими суждениями, желанием видеть в людях одно хорошее. С другой стороны, он никак не мог понять, кто же, в конце концов, она, кто этот молчаливый старичок, который осыпает хлебными крошками непомерную для его роста бородищу и, повторяя: «Медку, медку...», двигает к нему округлую берестяную посудину. Чем они тут занимаются?

Лаврентьева не удивляло, как в полосе минувших боев, в доме, наполовину снесенном бомбой, остались нетронутыми и клетки с чижами, и караси, и портьеры, и старинные часы, и плюшевая мебель. Вчера утром, перед тем как отправиться в свой пеший поход по осенним дорогам, он беседовал с главным агрономом района Серошевским, худосочным, вялым человеком в очках.

— Вы увидите контрасты, товарищ Лаврентьев, — предупредил Серошевский многозначительно. — Найдете в своем сельсовете, рядом с сожженными дотла, вполне сохранившиеся села и колхозы. Дело в том, что фронт у нас проходил так... — Он положил на стол кисти рук, растопырил желтые пальцы и сдвинул их встречно, одни между другими. — Немецкие клинья

вошли в нашу оборону, наша оборона вклинилась в позиции немцев. Село Воскресенское, где вы будете жить и работать, оказалось на таком вот, не занятом немцами, отростке... — Не размыкая рук, Серошевский шевельнул пальцем, который охватывало золотое кольцо. — Это село большое и трудное. Неосвоенные земли, кислые почвы и длительное невезение со специалистами. До последнего времени было много пришельцев с разоренных мест. Тоже сказывалось...

Хозяйку свою и ее древнего мужа или сожителя — такое место отвел Лаврентьев белому старичку в этой странной семье — нельзя было причислить к пришельцам. Хозяйка сама сказала, что живет здесь четверть века, и понятно, как сохранились ее портьеры и резные деревянные фрукты на стенах. Но чем объяснить, что вместе со шкафами и комодами за двадцать пять лет остались нетронутыми и обветшалые слова, проскальзывающие в ее разговоре, и сентиментальное любование осенним ненастьем?

Завтрак тем временем окончился. Лаврентьев поднялся со стула и поблагодарил, готовый как можно скорей отправиться в колхоз. Но хозяйке, видимо, не хотелось, чтобы он уходил.

— Прошу вас, Петр Дементьевич, осмотреть мое гнездо.

Невозможно было обидеть радушных хозяев. Лаврентьев пошел в соседнюю комнату, через которую его провели вчера на веранду и где он снова увидел предложенную было ему монументальную кровать из орехового дерева. Со стен, прямо на него, из золоченых рам смотрели десятки женских глаз — и голубых, и карих, и непроницаемо черных, и зеленых.

— Мои далекие подруги, — повела рукой хозяйка. — Где они?.. — и вздохнула.

Здесь же зачем-то висели две пожелтевшие афиши. Одна — тамбовского городского театра, 1914 года, гастроли какой-то оперной труппы, которая играла главным образом «Прекрасную Елену» и «Веселую вдову», но между прочим и «Кармен» с участием некоей В. Подснежиной, о чем оповещалось особо, большими буквами. На другой афише та же Подснежина именова-

лась попросту Варенькой и выступала в концерте со старинными романсами. Судя по изображенному на афише морскому пейзажу и пальмам, концерт происходил в каком-то южном городке, в театре с замысловатым названием «Цитро-Метрополь».

— Помилуйте! — всплеснула вдруг руками хозяйка. — Да ведь я вам еще не представилась. Называю вас по имени-отчеству, а сама остаюсь инкогнито. Ирина Аркадьевна Пронина. — Она подала старчески жесткую ладонь. — Надеюсь, мы будем добрыми соседями? Как жаль, что вы не застали моей дочери. Вам интересно было бы с ней побеседовать, Катюша очень-очень душевный человек.

Пронина взяла с фортепьяно, заставленного фарфоровыми вазочками, фотографию в расшитой бисером рамке.

Лаврентьев увидел лицо девушки с пухлыми губками, с удивленными, широко раскрытыми глазами, должно быть наивненькой и капризной. Что-то знакомое было в этом лице, где-то Лаврентьев видел его. Может быть, девушка походила на белого деда? Может быть, на свою мать, Ирину Аркадьевну? Нет. Скорей на исполнительницу старинных романсов, на Вареньку Подснежину. Но тоже нет.

— Дочь гостила у меня все лето, — говорила Пронина. — Она у меня оканчивает медицинский и, как Людмила Кирилловна, будет врачом. Они уже сговорились работать вместе, если им разрешат. Как вы думаете, разрешат? — Ирина Аркадьевна заглянула в глаза Лаврентьеву.

— Не ручаюсь, — ответил он. — Врачи везде нужны.

— Но как можно разлучить ребенка с матерью? Это жестоко.

— Поедете с ней туда, куда пошлют ее.

— Что вы! Покинуть это гнездо, этих людей, к которым я так привыкла! .. Нет, разрешат, я добьюсь, буду писать правительству, просить. Ей нужны мои заботы, у нее плохое здоровье. Она и институт так поздно кончает, почти двадцати семи лет, потому что долго, годами, болела. Знаете, дитя тревожного голод-

ного времени. Гражданская война... Было очень трудно. Из-за нее, из-за Катюши, я и забралась в деревню. Но теперь, слава богу — не сглазить бы, — все наладилось. Уверена, что разрешат, Петр Дементьевич!

Лаврентьев не стал перечить, он собрался идти.

— Возвращайтесь к обеду, — сказала Пронина, проводив его через кухню до подъезда, захламленного обломками рухнувших карнизов. — И застегните пальто! — крикнула вслед, когда он шел среди лип по гравийной аллее к воротам, от которых остались только серые каменные столбы.

Мелкий дождик попрежнему сеялся с неба, затянутого низкими тучами, земля до предела набухла влагой, и вода выжималась из нее подошвами при каждом шаге.

Уже миновав каменные столбы и свернув на дорогу к селу, Лаврентьев увидел, что безмолвный старичок тоже шагал куда-то в глубину сада своей твердой походкой, посмотрел на мелькавшую под яблонями соломенную панамку и решил сюда, в эти развалины, не возвращаться ни к обеду, ни к ужину. При всем своем радушии непонятная хозяйка его стесняла. Ему припомнился случай военных лет, когда однажды пришлось ночевать у священника в освобожденном от немцев селе. В поповском домике тоже было уютно, тепло, чисто, приветливо. Говорили, что священник помогал партизанам. И тем не менее Лаврентьев так и не нашел с ним общего языка. Смотрел на него, слушал его рассказы и думал: «А все-таки ты, папаша, из прошлого — так сказать, тень былого».

3

Село Воскресенское лежало в полуверсте от барского, как его назвала вчера Людмила Кирилловна, дома; вернее, там, в полуверсте, начинались первые строения, — дальше село тянулось вдоль реки несколькими вкривь и вкось расположенными улицами.

Лаврентьев спускался к селу в низину; туда же, рядом с дорогой, лениво струились осенние ручьи. Они

проникали под амбары, под бани на огородах, под фундаменты изб. Казалось, вся почва тут напиталась грязной водой, село стоит на зыбкой трясине, вот-вот провалится, и только хлюпнет над его кровлями огромная лужа. Ни плодовых деревьев не было на пустынных приусадебных участках, ни тополей, — лишь худосочные ветлы кое-где перекинули через плетни свои плакучие ветви да на противоположном конце вздымалась вокруг церкви густая квадратная куща — видимо, кладбище.

Строения главной улицы с двух сторон смотрели оконцами на разбитое, ухабистое шоссе, по которому когда-то, очень давно, проносились со звоном почтовые тройки, ползли обозы прасолов с сена́ми и снедью. Путь был торговый, и сметливые хозяева оседлали его заезжими дворами, трактирами с музыкальными шкафами и ящиками в питейных залах, с разбитными половыми — мастерами дурачить подгулявших мужиков скоростью двух арифметических действий — умножения и сложения: «Пятью пять — рупь пять», «семь да семь — тридцать семь», с отдельными кабинетами, полными тревожных и притягательных соблазнов.

От тех далеких времен осталось несколько двухэтажных, полукаменных, неоштукатуренных домищ, торговые ряды, длинной сводчатой галереей сложенные из кирпича на площади перед церковью Николы Горшечника, да разукрашенные убогой фантазией рассказы стариков и старушек, нет-нет и вспоминающих развеселую «жизню». Поистерлось в памяти ходячих летописей то, что село их со всех сторон, подобно острову, было окружено угодьями барона Иоганна Шредера, или Ифан Ифаныча Шредера, как величал он себя перед народом; что тосковали мужики по земле и от безземелья отдавали своих парней в половые и конюхи на заезжие дворы, а девок посылали в кабинеты; что из года в год, без надежды расплатиться когда-либо, должали они в скобяные, в шорные, в бакалейные лавчонки, за прилавками которых, графя обслюнявленными лиловыми карандашами страницы объемистых кредитных книг, плели прочную сеть местные пауки в касторовых долгополых сюртуках и

белых льняного полотна фартуках. Все нерадостное запамятовали, а шкафы и ящики с музыкой помнили и любили порассказать о них приезжему: вот-де село у нас было какое, без малого — город!

О прошлом Воскресенского Лаврентьев услышал от костистого бойкого старикашки, который, не подымаясь с мокрых бревен, наваленных возле моста через глубокий ручей, поманил его желтым, точно корень хрена, пальцем и попросил огонька. Цыгарка у него поминутно гасла, и он не отпускал Лаврентьева: «Погодь маленько, еще что скажу. . .» — говорил каждый раз, как только Лаврентьев собирался идти дальше. Старикашка рассказал, что Антон Иванович, о котором упоминала хозяйка и который прислал сегодня продукты, — это председатель правления колхоза, что он пьяница, что докторша путается с ним, крадет для него денатурат в амбулатории, что в колхозе никогда толку не будет, потому что гиблые вокруг места и мужиков нехватка; и много других удивительных сведений почерпнул Лаврентьев за полчаса. Он дал старику на прощание еще две спички, которые тот запрятал в лохматую шапку из шкуры неизвестно какого зверя, и продолжал путь по селу. Он читал вывески: «Приемный пункт Заготживсырье», «Сберкасса», «Ларек Сортсемовощь»; рассматривая свежую дранку на избах, желтые смолистые бревна, врубленные в старые серые венцы, царапины на стволах ветел, догадывался о том, что село не только бомбили с воздуха, но доставала до него и артиллерия. «Что же дед не упомянул об этом? — подумал он. — От отдельных кабинетов — и прямо к пьянице-председателю, к докторше, ворующей денатурат». Сомнительным казался источник первых сведений о колхозе. Председателя Лаврентьев не знал, — тот, может быть, и в самом деле грешил выпивкой. Но Людмила Кирилловна. . . Трудно было этому поверить.

Лаврентьев остановился, хотел окликнуть желтоволосую девочку, перебегавшую через дорогу, и спросить, как пройти к правлению, но сам услышал оклик:

— Петр Дементьевич!

С крыльца окрашенного охрой домика его манила

легкая на помине Людмила Кирилловна — в белом, обтягивавшем фигуру халате с отворотами и отложным воротничком; из нагрудного кармана торчала трубка стетоскопа; не то черные, не то каштановые волосы врача были повязаны такой же свежей и белой, как халат, косынкой.

— Петр Дементьевич! — повторила она. — Вижу из окна — идете, озираетесь, точно ищете что. Не на прием ли? Куда? В правление? Да там днем никого нет. Вечером надо. Я вас отведу потом. Уж такая, должно быть, моя судьба — указывать вам дорогу. А сейчас — прошу ко мне! ..

Посещение амбулатории в планы Лаврентьева никак не входило. Он в нерешительности стоял перед крыльцом светлого домика, в одном из окон которого виднелись металлические части и шнуры бормашины. Следовало, конечно, идти дальше, надо было разыскивать председателя колхоза, председателя сельского Совета, начинать знакомиться с делами, с людьми. Секретарь райкома партии Никита Андреевич Карабанов, перелистывая два дня назад странички его партийного билета, как нельзя более удачно перепутал пословицу: «Время, товарищ Лаврентьев, не воробей, упустил — не поймаешь. Езжайте и действуйте без промедления». Но не так просто сделать это — начать действовать на новом месте, среди незнакомых людей, и особенно когда ты не выспался, когда тебя знобит, когда ноющие боли ходят по всему телу.

Людмила Кирилловна, очевидно, догадалась о его колебаниях. Сойдя с крыльца, она бесстрашно шагнула туфельками в вязкую грязь и, взяв его под руку, повела за собой. Лаврентьев не упирался. Он послушно ходил за Людмилой Кирилловной по кабинетам маленькой амбулатории, рассматривал плакаты, которые учили распознавать первые признаки рака, звали раз и навсегда покончить с потреблением табака и алкоголя и предупреждали от случайных любовных встреч. Увидел он и объемистую бутыль с тем фиолетовым содержимым, до которого, если верить болтливому старикашке, был столь неравнодушен Антон Иванович.

Показывая свое докторское хозяйство, Людмила

Кирилловна шутила по поводу плакатов, рассказывала всякие случаи из своей практики, рассказала даже древний анекдот о том, как сельский врач заставил раздеться явившегося к нему в кабинет крестьянина, и только когда крестьянин разделся, выяснилось, что это лесоруб и привез для больницы дрова. Потом, хотя Лаврентьев и отказывался, Людмила Кирилловна упросила его снять пиджак и рубашку, осмотрела исполосованную косыми багровыми шрамами руку и потребовала сжать холодный эллипс динамометра.

— Три килограмма! — воскликнула она. — Сила новорожденного! Петр Дементьевич, над вашей рукой необходимо работать и работать.

Лаврентьеву не хотелось объяснять ей, что он уже второй год «работает» над своей парализованной конечностью, каждый вечер выполняя серию упражнений, рекомендованных ему одним из московских светил нейрохирургии, и что год назад не только на три деления, но даже на одно не сдвигалась стрелка динамометра от его пожатий. Он ответил:

— Надо, вы правы, товарищ доктор.

Людмила Кирилловна засмеялась, так забавно-официально были сказаны эти слова «товарищ доктор», сбросила свой халат, перед зеркальцем над умывальником поправила волосы, переменила туфли на уже знакомые Лаврентьеву сапоги, в которых вместе с ним она месила вчера дорожную грязь, и, накинув пальто, решительно заявила:

— Теперь пойдемте обедать. Вы мой пациент, и до вечера я вас от себя не отпущу!

В верхнем этаже бывшего трактира, обшитого серым от лишайников тесом, она занимала две комнатки, разделенные дощатой перегородкой. Пронинского великолепия тут не было. В обеих комнатушках — два или три гнутых венских стула, стол, черный посудный шкафик с треснувшим стеклом, узкая железная кровать, застеленная белым пикейным одеялом, что-то вроде мягкого диванчика, под который вместо четвертой ножки был подставлен березовый чурбак, — вот и все, если не считать еще ситцевой занавески, заменявшей створку двери между комнатами, да ходиков на стене.

Людмила Кирилловна принялась хлопотать: по всей квартире стучали ее каблуки, то и дело дребезжали стекла шкафика, в клетушке — рядом с передней — зашумел примус, запахло керосином. Чтобы занять гостя, пока она готовит обед, хозяйка вынесла из спальни альбом с фотографиями. Перебрасывая листы шероховатого серого картона, Лаврентьев внутренне усмехался. Перед ним во всех видах представала Людмила Кирилловна. Ее едва можно было узнать в тоненькой девочке, обнимающей большую полосатую кошку. Взрослей выглядела она в белом гладком платьице среди подруг по девятому «б» классу. На групповом снимке была проставлена дата: «15 июня». Заканчивался учебный год, и Людмила Кирилловна, должно быть одна из лучших учениц, с широко раскрытыми радостными глазами сидела на почетном месте возле сухой и строгой, как предположил Лаврентьев, директорши школы. Дальше — среди валунов и песков южных пляжей, в пологих прибрежных волнах — мелькало ее обнаженное тело; на решетчатых скамейках пальмовых аллей, на парапетах каменных террас, как на выставке мод, раскидывались складки шелковых туалетов. Вперемежку с ними шли гимнастерки с узкими погонами медицинского лейтенанта, белые халаты. Видел Лаврентьев рядом с Людмилой Кирилловной и наголо остриженных раненых в госпитальных одеждах, и какого-то мрачного майора с латунными танками на погонах, и высокого красавца блондина в роскошном широком костюме, и летчика-капитана с рассеченной щекой. Мелькали лица, пиджаки, платья, и было это скучно. Не часто Лаврентьев держал в руках подобные альбомы, но в каждом из них видел всегда одно и то же. Непременно пальмы и пляжи, непременно блондины, непременно полуголые люди среди камней или на песке. Он снова перелистал альбом, точно отыскивая еще один непременный кадр: лодку среди заросшего лилиями тихого пруда, на дно которой, к ногам героини, ворохом брошены поэтические водяные цветы с длинными и гибкими, как плети, стеблями. Но лодки не было.

Людмила Кирилловна уже накрывала на стол. Лав-

рентьев следил за ее быстрыми движениями и думал: «Ну зачем вам этот альбом и эти картинки? Неужели это ваша биография?»

— Как насчет рюмочки? — спросила она, задерживаясь возле шкафа.

— Денатурату, что ли?

— Почему денатурату? — обиделась Людмила Кирилловна. — Настойка, на вишнях. — И встряхнула графинчик с рубиновой жидкостью.

За обедом она спросила:

— Как понравилась вам Ирина Аркадьевна? Правда, интересный человек?

— Любопытный, — кивнул головой Лаврентьев. — За краткостью знакомства не понял только, кто же она. Впечатление такое, точно старушка эта полвека провела в сундуке с нафталином.

— Что вы, Петр Дементьевич! — воскликнула Людмила Кирилловна. — Вот уж действительно не разобрались. Ирина Аркадьевна и музыку в школе преподает, и на детской площадке музыкальные занятия проводит, и самодеятельностью в колхозе руководит. Что вы, что вы! .. — Она налегла на край стола, как бы желая приблизиться к собеседнику, и понизила голос: — Ирина Аркадьевна — бывшая артистка. Так поет! .. так поет! .. Я слышала однажды, стоя у нее под окном.

— Старинные романсы? — рассеянно спросил Лаврентьев.

— А вы почему знаете? — удивилась Людмила Кирилловна. — Она вам рассказывала?

— Нет. Просто показалось, — ответил Лаврентьев уклончиво. Он уже был уверен, что Ирина Аркадьевна Пронина и есть та самая певица, о которой поминали ветхие дореволюционные афиши. Варенька Подснежина — трогательно-сентиментальный псевдоним. Одно осталось неясным — кто же такой безмолвный белый дед.

— Брат, — ответила ему на вопрос об этом Людмила Кирилловна. — Колхозный пасечник. Бросив сцену после революции, Пронина приехала к нему

сюда, да так и осталась. Непонятно — с таким голосом! .. Ах, мне бы этот голос! Налейте еще по рюмочке, Петр Дементьевич. Если бы только от этого зависело исполнение наших желаний, как провозглашают домашние тосты, я бы выпила весь графин! ..

— Многовато, пожалуй.

— Так и желаний немало.

Разговор пошел о медицине, о новых методах лечения инфекционных болезней, о новых препаратах. Людмиле Кирилловне хотелось иметь в селе не амбулаторию и не больничку при ней на десять коек, а целую клинику.

— Да, желаний порядочно, — вынужден был признать Лаврентьев. — Но насчет клиники — это фантазия, конечно.

— Смешно! — Людмила Кирилловна отложила в сторону вилку. — Фантазия! .. Вы, Петр Дементьевич, рассуждаете как заведующий райздравом. У вас, говорит, пять больных за год, вам и больница не нужна. Дичь какая! Да, может быть, у нас так мало и болеют, что мы хорошо обеспечены всем необходимым для предупреждения болезней — вакцинами, сыворотками и тому подобным. Райздрав — ладно, их я еще понимаю, — сметы, ассигнования, все такое. . . Но вы, агроном, как можете так рассуждать! Что-то агроном скажет, когда столкнется со здешними недородами! Обойдется одной золой да известью или потребует сюда академиков? Если вы настоящий агроном, вам захочется решить все свои агрономические задачи непременно здесь, на месте, в колхозе. Вот и врачу хочется решать свои задачи на месте. Я обязана не только лечить болезни, но и по-настоящему их изучать, глубоко изучать! Иначе какой я врач? .. Фельдшер!

Против этого вывода возразить было трудно. Так горячо, как Людмила Кирилловна, Лаврентьев о своих планах говорить не мог, — они были еще очень расплывчаты.

— Завидую вам, — сказал он, вновь наполняя рюмки.

— А я вам, — ответила Людмила Кирилловна.

— В чем же?

— Как в чем! Новое место, новые люди, новое дело. Все начинай с начала. Ведь интерес жизни в новизне. Для вас все интересное впереди. А я... я уже немножко погрязла в обыденщине, передо мной уже всякие мелкие трудности, препятствия, тупички. И вообще... Вы, в сущности, правы насчет фантазий. Хочешь многого — не получается ничего.

— Ничего? Не слишком ли? — возразил Лаврентьев. — Я слышал иной отзыв о вашей работе.

— От Прониной? — грустно улыбнулась Людмила Кирилловна. — Она всех хвалит. Но разве в отзывах суть, Петр Дементьевич? Никакие отзывы не помогут, если в тебе самом нет внутреннего убеждения в том, что ты... как бы вам выразить? ну, хотя бы в том, что ты живешь в полную свою силу.

— Кто же вам, уважаемому сельскому врачу, мешает жить в полную силу? — спросил Лаврентьев, и пожалел, что сделал это.

— Во-первых, не «кто», а «что», — ответила она неожиданно резко. — Во-вторых, это долгий разговор и вам нисколько не интересный. Когда-нибудь в другой раз... Поговорим лучше вот о чем. Долго намерены гостить у нас, в Воскресенском?

— Не гостить, а работать, Людмила Кирилловна. Пока не прогонят, — пошутил он.

За разговором время шло быстро; стало смеркаться, ходики показывали седьмой час, когда Лаврентьев спохватился, что надо же ему и дело делать когда-нибудь. Он уговорил Людмилу Кирилловну не провожать его по грязи до правления, — не маленький не заблудится. Людмила Кирилловна, прощаясь, просила заходить почаще: «Всегда вам буду очень, очень рада, Петр Дементьевич» Голос ее утратил ломкую неопределенность, звучал мягко, без грубоватых нот. Лаврентьев поблагодарил за приглашение.

Выйдя на улицу, он оглянулся. Людмила Кирилловна, упершись руками в косяки, стояла в окне и смотрела ему вслед. Он поспешно отвел взгляд и сделал вид, что рассматривает не окно, а темнеющее небо. Дождь прекратился, тяжелые тучи с синими доньями поднялись высоко над землей, попутный северный ве-

тер гнал их грозной нескончаемой лавиной. Утром Лаврентьев, может быть, сравнил бы их с теми плоскими серыми танками, которые раздавили его батарею в последнем для него бою. Но теперь они казались ему кораблями, упрямо идущими в неведомую даль.

4

Путь к правлению колхоза лежал через церковную ограду, по тропинке, протоптанной между заброшенными могилами. Под вековыми вязами и липами, плотно обступившими церковь, вечерние сумерки стали еще гуще. Лаврентьев спотыкался о каменные плоские плиты, скользил на размытых дождями глинистых холмиках и опасливо огибал намогилья, провалившиеся глубокими впадинами, в которых студено блестела гнилая вода. Он вспомнил другое кладбище, Смоленское, в Ленинграде, узкую аллейку, по которой — как это было давно! — гулял однажды с однокурсницей Натой Ефремовой. Их обоих поразил тогда вид заросшей сорными травами могилы известного гидрографа-геодезиста, имя которого они не раз видели на географических картах. Дорогой мрамор затерялся в кустах бузины, и не он хранил память об исследователе полярных морей.

Почему они, восемнадцатилетние и полные сил, задумывались о смерти и бессмертии, — этого Лаврентьев припомнить не мог, но ясно помнил он, чем окончился тот разговор. Стараясь не употребить ни одного, как ему казалось, громкого, пафосного слова, он заявил, что хочет жизнь прожить точно так же, как все великие душой люди, — скромно и для других, чтобы народ о нем не позабыл. Он любил Нату, и Ната любила его. Помолчав, она ответила с виноватой улыбкой: «Странно — а я хочу жить только для тебя». На второй год войны он узнал, что Ната умерла в Ленинграде от голода, оберегая семенной картофель одного из подсобных заводских хозяйств, куда пошла работать по окончании института или, вернее, после отъезда его, Лаврентьева, на фронт.

Воспоминание было тяжелое. Лаврентьев поспешил выбраться из церковной ограды, дошел до пожарной каланчи, возле которой отыскал наконец бревенчатую хибарку правления. О том, что в хибарке правление, он догадался по желтой трухе, обильно рассыпанной вокруг ее плитнякового фундамента. Большеглазая колхозница, повстречавшаяся возле кладбища, так ему и сказала, когда он попросил объяснить дорогу: «Не перепутаете. Нижние венцы до того сгнили, что мука из них точится». Подошвы мягко ступали по этой муке, мягче, чем по опилкам.

Одно из трех тускло освещенных квадратных оконцев было приоткрыто, из него валил влажный банный дух, смешанный с махорочным дымом, и прорывался разноголосый говор.

— Прибегает баба Устя в огород, — слышал Лаврентьев молодой, восторженно захлебывающийся басок, — а Карпентий наш в выси небесной маячит, надетый на хмелевом колу!

В халупе захохотали, и когда Лаврентьев шагнул на порог прямо с земли, потому что крыльцо сгнило и проломилось, и распахнул кривую скрипучую дверь, смех все еще продолжался. На вновь вошедшего не обратили внимания, никто даже не обернулся на стук захлопнутой двери. Лаврентьев остановился у порога. Дымная коптилка освещала только лица сидевших на лавках возле грубого стола, за спинами их уже было мутно и сине, а дальше — к стенам и в углах — клубился густой, словно копоть, мрак.

Все сидели, человек двенадцать или пятнадцать, лишь один, с наголо обритым конусообразным черепом, возвышался над ними в распахнутом дырявом полушубке, зло посматривал из-под стариковских тяжелых надбровий и, тиская кулаком в залитые чернилами, испещренные надписями доски стола, негромко повторял:

— Брехня, брехня! . Тошно слушать

— Ну как это брехня! — тем же восторженным баском перебил его чубатый парень в расшитой рубашке, на которой слева двумя рядами висело множество медалей на разноцветных ленточках, а справа был при-

винчен орден Отечественной войны. — Как брехня, когда мне еще батька покойный о твоем полете рассказывал. Как ни как соседи вы с ним были, рядом дворы ваши стояли. Да и баба Устя, живой свидетель, подтвердит. Все знали про твои чудачества.

— И дворы рядом стояли, и в соседях мы с твоим батькой ходили, и человек он был хороший, не в пример тебе, и полет он мой видел, — отвечал на это тот, кого называли Карпентием. — Все верно. Одно брехня: не сидел я на хмелевом колу! А кабы и сидел — ошибки у человека бывают. Ты лодырь, вот у тебя и нет ошибок, вот у тебя и полета никакого не предвидится.

— Лучше не летать, чем турецкую казнь себе устраивать, — не смутился парень.

Лаврентьев разглядывал смеющихся и пытался определить, кто же здесь председатель.

Он увидел на краю скамьи старика, который извел у него днем половину спичек, повествуя о колхозных неурядицах; не без удивления рассмотрел и седовласого брата Ирины Аркадьевны. Хотя Лаврентьев и знал уже, что белый дед ведает в колхозе пасекой, он казался ему столь бессловесным и тихим, что видеть его на народе было удивительно. Разглядел черного, похожего на цыгана, широкоплечего здоровяка в глубоко надвинутой шапке, — подумал, что это кузнец. Переводил взгляд со стариков на молодых, с бородатых на безбородых — и все не мог решить, кто же, наконец, из них Антон Иванович.

Догадки ни к чему не приводили. Лаврентьев вышел к столу, поздоровался, сообщил, кто он, и сказал, что ему нужен председатель. Известие о том, что он агроном, никого, казалось, не удивило и даже не заинтересовало; на приветствие закивали головами только пчеловод с дедом, у которого гасли цыгарки, да цыган-кузнец. Цыган потеснился на лавке.

— Присаживайтесь. Слыхали о вас, слыхали, как же! Антон третий день ждет. Он вышедши, придет, надо быть, скоро. У нас вот разнарядочка была — кому что завтра делать. Бригадир к дому отправился, а мы, значит, вроде клуба устроили. Беседуем.

Лаврентьев втиснулся между ним и парнем с медалями, которого называли тут Пашкой, и, чувствуя на себе внимательные взгляды, вытащил портсигар; там оставались две папиросы. Тогда достал из другого кармана запасную пачку, и она тотчас наполовину опустела. Только пчеловод не протянул руки.

— Святой жизни человек! — засмеялся Пашка, когда белый дед отстранился от предложенной Лаврентьевым папиросы. — Не пьет, не ругается, не курит и бабу за все свои шестьдесят три года ни разу не обнял.

— И все-то ты знаешь, пустомеля! — Карпентий стукнул по столу ладонью. — Всем дыркам затычка.

— Но, но, но, Карп Гурьевич! — повысил голос Пашка. — Какие слова говорить изволите! А то и я знаю на тебя слова...

Возникал довольно цветистый разговор. Чужого человека не стеснялись. Лаврентьев нахмурился. Ну разве возможен был бы такой разговор на заводе, не говоря уж об армии... Черт знает что!

Карпентий не выдержал словесной борьбы, плюнул и сел у окна прямо на пол. Тихий пасечник, стараясь не скрипнуть дверью, вышел из избы. Только цыган, протянув руку за спиной Лаврентьева, тряс за плечо распоясавшегося Пашку:

— Павел, Павел, уймись! Что товарищ агроном о нас подумает!

— Видал я ваших агрономов. — Парень повернулся к Лаврентьеву, и Лаврентьев увидел его взбешенные глаза. — Учить меня всякий будет! Видал я их! Мы на смерть иди, а они за Урал — бабами командовать!

Положение создавалось сложное. В Лаврентьеве заговорил офицер, командир батареи, который должен был немедленно принять меры, навести порядок, одернуть распоясавшегося. Он напрягся, готовый дать отпор бесшабашному языку Пашки. Но и спешить было нельзя. Здесь не батарея, а колхоз, и он не командир, а только агроном, специалист. Собрав все силы, всю свою выдержку, он терпеливо выслушал длинную тираду парня о тыловиках.

— Послушайте, — сказал он, — вас, кажется, зовут Павлом. Вы были, Павел, на Урале?

— А что я там забыл!

— Там делали танки и пушки, те самые танки и пушки, которые, судя по ленточкам, довели вас до Кенигсберга, до самого гнезда прусской военщины

— Ну и что? Политграмоте меня учить будете? — не сдавался Павел. — Ученый! — Он не сдавался только внешне. Пыл его охладевал. Спокойные глаза нового агронома напомнили ему его командира, который никогда ничего не повторял дважды: сказал — исполняй.

— Да, немножко политграмоты будет вам не во вред, — продолжал Лаврентьев. — И на Урале и за Уралом люди ночей не спали, недоедали, лишь бы у вас, Павел, были и снаряды, и патроны, и обмундирование, и пища. В чем и когда вы испытывали на фронте недостаток? Молчите? Потому что и сказать нечего. Об Урале кричать, не подумав, не советую. Перед Уралом шапки снимать мы должны. С Уралом, вряд ли я ошибаюсь, думая так, товарищ Сталин каждую ночь лично разговаривал по телефону А там, за Уралом, женщины пахали на коровах, сеяли, растили для вас хлеб, шили для вас теплые рукавицы и вязали носки, — вам разве не приходилось получать таких подарков?

— Я не про то. Про Урал сам знаю. Только нечего меня учить!

Лаврентьев прикурил от коптилки новую папиросу, огляделся. Все смотрели на него, смотрели внимательно, заинтересованно, словно еще чего-то ожидая. Карпентий тоже вернулся к столу, нагнув шишковатую голову, топырил космы густых бровей.

— Прощения просим, товарищ агроном, — сказал он и погладил ладонью макушку, — не знаю вашего имени-отчества.

— Петр Дементьевич.

— Так вот, Петр Дементьевич, ежели довелось вам бывать на Урале, хотелось бы послушать про него, про Урал, еще. У нас ведь не один Пашка Дрёмов в колхозе, у нас народу много, и не все горлодеры. У нас поговорить-послушать любят.

— Точно, точно — любители мы, — поддакнул цыган.

— Чего говорить-то, — проворчал истребитель спичек. — Все в газетах сказано.

— Сказано, ну и шагай себе до дому, Савельич!

— А и уйду, чешите себе языками сколько влезет.

Старик пошел к двери и на пороге столкнулся с широкоплечим человеком в черном пальто.

— Вот и Антон сам!

Широкоплечий подошел к столу, увидел среди мужиков незнакомого, спросил:

— Товарищ агроном?

— Антон Иванович? — Лаврентьев встал.

— Так точно. Сурков. О вас уже третьим днем в сельсовет из района звонили. Во-время вы прибыли. Что-то такое неважнецко мы хозяйствуем: у соседей хлеб родится, у нас ни то ни се. Гляжу, с народом вы уже ознакомились?

— Да побеседовали мал-маля, — усмехнулся цыган.

— Ну пойдем тогда до моего дома, — предложил Сурков. — Здесь сидеть нет расчета, свинушник форменный.

Все стали подыматься из-за стола, с лавок. Поправил на голове шапку цыган, запахнул полушубок Карпентий, накинул серого шинельного сукна тужурку Павел; прежде чем дунуть на огонек коптилки, последний раз прикурил от нее Савельич.

Вышли на улицу. Антон Иванович повел Лаврентьева в сторону реки. Долго еще позади слышались голоса, и опять там Лаврентьев различал крикливый басок Павла; должно быть, отругивался парень от укоров односельчан и снова петушился.

Дом Суркова, недавно, видимо, срубленный, стоял близ берега, двор еще не был обнесен забором, и потому прямо из-под сеней, гремя цепью, с лаем вырвался большой кудлатый пес. Хозяин цыкнул на пса и через темные сени провел гостя в избу. Молодая женщина с пшенично-светлыми волосами, заплетенными в толстую косу, и с высокой пышной грудью, заметив гостя, подвернула фитиль пятнадцатилинейной

лампы, и лишь тогда Лаврентьев по-настоящему разглядел Антона Ивановича. Глаза председателя смотрели умно и спокойно. На загорелом худощавом лице они были расположены один к другому несколько ближе, чем следовало, и от этого, казалось, слегка косили.

— Собирай-ка ужинать, Марьянка! — сказал он женщине, молчаливо разглядывавшей гостя, и представил: — Жена моя, Марьяна Кузьминишна. Полгода как поженились. А это новый наш агроном, товарищ Лаврентьев.

Потом хозяин влил несколько ковшей воды в гремучий рукомойник, прибитый над кадушкой в углу за печью, — предложил умыться. Хозяйка подала Лаврентьеву хрусткое свежее полотенце, пахнувшее рекой. Старательно мыл руки и сам Антон Иванович, то и дело брякал медным стерженьком умывальника, ловко подбрасывая его ладонью кверху.

За столом, когда хозяйка положила на тарелку большой кусище копченого судака, Лаврентьев сказал:

— Вот это закусочка! Под такую много выпить можно.

— Верно, — согласился Антон Иванович, — закуска знаменитая. Бывало как начнут батарейцы крыть меня за пшенный концентрат, всегда вспоминал: судачка бы вам, братцы, нашего! .. На перемет ловим. А что касается выпить — не пью, товарищ Лаврентьев. С тех самых пор, как вместе с осколком половину кишек из меня вырезали, и рюмки брюхо не принимает. Только выпей — все обратно выкинет. Строгое стало брюхо. Нервоз, доктора говорят, в нем.

Лаврентьев стал расспрашивать о людях, с которыми встретился в этот день. Болтливый Савельич, как выяснилось, летом был паромщиком, зимой сторожем. Карпентия звали Карпом Гурьевичем, он столярничал в колхозе. «Классный мастер, — сказал о нем Антон Иванович, — таких поискать». Цыган и в самом деле носил в себе цыганскую кровь, но был он не кузнец, а старший конюх, Илья Носов.

— Серьезный мужик и работящий. Не в пример

Пашке Дрёмову. Занозистый малый Пашка. Хотя, разобраться если, в общем-то и он может работать.

Узнав, что Лаврентьев командовал батареей, Антон Иванович выразил искреннюю радость: он тоже служил в артиллерии, был старшиной на батарее пушек-гаубиц. Лаврентьев мысленно представил себе стволы могучих этих орудий, все большое батарейное хозяйство, обслуживающее их работу, и покачал головой:

— Эх, Антон Иванович, Антон Иванович! С таким делом справлялись, а тут у вас правленческая изба, сами говорите, на свинушник похожа Посмотрел бы я, как вы такую грязь на огневых бы развели. .

— Руки не доходят за все ухватиться, — вздохнул Антон Иванович. — Все вижу, все понимаю, а сделать... вот сделать всего не могу!

Он заговорил о колхозных планах, о колхозных возможностях, о землях, о севообороте. Лаврентьев слушал и чувствовал, как только что воскрешенная память об огневых, об орудиях, о войне вновь отходит в далекое прошлое. Перед ним возникало новое и незнакомое. Агрономический институт он окончил, но агрономом никогда не работал, многое из того, что изучал, позабыл за годы войны, а большее, что достигается только опытом, годами работы и что совершенно необходимо хорошему агроному, еще не приобрел. Тревогу за то, как он будет работать, как справится с новыми обязанностями, Лаврентьев почувствовал не сейчас — значительно раньше, еще когда решил покинуть областное земельное управление и пойти в колхоз — от папок и бумаг к земле и людям. Но сейчас, слушая Антона Ивановича и сознавая, что многое в рассказах председателя для него не только неясно, а даже просто непонятно, он забеспокоился еще сильней. Антон Иванович беспокойства его, конечно, не замечал и был искренне рад, что к нему прибыла солидная подмога.

Лаврентьев рассчитывал заночевать у председателя, но когда Антон Иванович сказал, что вторая половина дома у него еще не оборудована и полы там даже не настланы, он подумал, что не следует стеснять молодоженов, тем более что ночлег ему приготовлен, и стал искать кепку.

Антон Иванович оценил его деликатность.

— Вы уж поживите у Крониной, — говорил он, выходя вместе с Лаврентьевым на улицу. — Потом как-нибудь сообразим отдельное жилье. Гляжу, и ничего подходящего для вас пока не замечаю. Со временем, может, в том же клубе квартирку отремонтируем.

— В каком клубе? — спросил Лаврентьев.

— Да домище тот, шредеровский, у нас до войны клубом был. Так и зовем по-старому: клуб, клуб. А какой клуб?.. Развалины. Но помещеньице подходящее для ремонта есть в нем. Имею, в общем, на примете.

На улице было светло. Небо очистилось от туч. Вызвездило. Взошла полная луна и, точно легкой кисеей, обволокла деревню белым холодным светом. Белая лежала дорога, белые глядели на нее стены домов под белыми крышами, белые качались деревья, и только узорчатые тени от их ветвей были синими и четко печатались на белой земле.

Лаврентьеву утром казалось, что в жилище старой артистки и ее молчаливого брата он больше не пойдет. Но теперь, столкнувшись с Павлом, потолковав с Антоном Ивановичем, вновь почувствовал себя боевым командиром батареи, а в скольких домах пришлось ночевать ему, командиру, за время войны на путях наступления, в какие семьи вторгаться! И было это тогда в порядке вещей: солдат воюет, ему нужна крыша для ночлега, и он заходит в первый же попавшийся дом, не заботясь о том, как его там встретят. Так что же изменилось? Солдат попрежнему воюет, ему нужна крыша для ночлега.

На повороте с дороги на липовую аллею, возле каменных столбов, Лаврентьев попрощался с Антоном Ивановичем и бодро зашагал к дому.

Его встретила Ирина Аркадьевна в черном шелковом халате, посетовала на то, что он не пришел к обеду. С улыбкой сообщила, что знает, где Петр Дементьевич обедал, и в конце концов спросила, не разогреть ли ему тушеное мясо, а можно и яичницу зажарить. Вступать в долгие разговоры Лаврентьеву не хотелось, наговорился за день; он прикинулся до крайности усталым, что было недалеко от истины, и

Ирина Аркадьевна проводила его на веранду, где уже была приготовлена постель.

Укладываясь под одеяло, Лаврентьев с удивлением почувствовал, что в его бока не впиваются разлезшиеся жесткие пружины. Он ощупал свое ложе и убедился, что под ним уже не та, знакомая ему пыльная развалина, а мягкий ковровый диван. Солдат нашел не только крышу, но и заботливую хозяйку. Какой бы свиньей он оказался, не приди ночевать в этот дом!

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

После долгих холодных дней с ветрами установилась та ясная и тихая погода поздней осени, когда звездными ночами каменной делается поверхность почвы, когда по утрам дорожные колеи и полевые борозды белеют инеем. Кажется — вот еще день, и застынут реки, закружат метели, но восходит солнце, сгоняет иней, мягчит на полях корку, и в природе возникает обманчивая надежда, что зима еще далеко. Из-под амбарных крыш выползают тогда полусонные крапивницы, на обтрепанных, потерявших яркую пестроту, слабых крыльях бесцельно кружат, как запоздалые желтые листья, над пустыми огородами и, не найдя цветов, усаживаются где-нибудь на припеке и могут сидеть так часами, пока не потревожит любознательный воробей или нехотя не склюет разжиревшая за лето курица. Вихрящимся столбиком толчется в воздухе мошкара. В какой-то неуловимый глазом миг столбик вдруг распадается — то ли ветер дунул, то ли тень набежала от облака, — и вот он уже вихрится в другом месте.

Воздух чист от пыли, утратил летнюю истому, грудь наполняется им упруго, как парус; вдохнув этой свежести, человек выше подымает голову, расправляет плечи, тверже ставит ногу и, как ни в какую другую пору года, чувствует себя деятельным и полным сил.

Лаврентьев радовался ясным дням. Прошли боли в руке и в сердце, исчезла ревматическая, принесенная дождями, простудная вялость в теле. С утра до ночи он был на ногах и не чувствовал усталости. Он все больше и больше входил в новую для него жизнь, и чем больше входил в нее, чем глубже, обстоятельней с нею знакомился, тем чаще ощущал, что ему не хватает знаний, что он не умеет найти себе прочное место в колхозе. В институтскую бытность, точнее — в самом ее начале, колхозный агроном ему представлялся так: живет в опрятном, по-городскому обставленном домике, ходит по полям в болотных высоких сапогах, иной раз с ружьем за плечами, берет пробы почв, проверяет качество посевного зерна, проводит беседы с крестьянами об агротехнике, по вечерам к нему собираются ребятишки, он им что-то читает, рассказывает. Всем он нужен, все идут к нему за советом, за помощью.

Представление это строилось на воспоминаниях детских лет. Лаврентьев хорошо помнил землемера Смурова. Землемер жил в их деревне именно в таком, окруженном садом домике, держал рыжих сеттеров и костромских гончих; он часто выезжал на рессорной тележке, из которой, даже когда она была отпряжена и стояла под навесом, никогда не убирались длинные гремучие цепи, стальные ленты, пестрые рейки, расчерченные на красные и черные деления, ясеневые треноги геодезических приборов. Если же землемер бывал дома, он копался в саду, подрезая, обвязывая ловчьими кольцами плодовые деревья, рассаживая усы земляники на аккуратных грядках. Туда, в сад, к нему сходились мужики, сидели в решетчатой, обвитой диким виноградом беседке, о чем-то часами толковали, то мирно, спокойно, то горячась и споря. О чем толковали — мальчишкам было неинтересно, мальчишек привлекала внешняя сторона жизни землемера: не похожий на избы их отцов его домик, его тележка с цепями, вислоухие псы, беседка, земляничные гряды, ружья в плоских, как ящики, футлярах.

Но как бы ни были безразличны мальчишкам разговоры взрослых, мальчишки все же иногда к ним прислушивались. Мужики говорили с землемером о плодо-

смене, о зловредной трехполке, о клеверах, о том, что в соседнем совхозе появился трактор, запахло керосином в полях, и от этого пчела, дескать, хиреет. «Не знаю про пчелу, но вы, друзья мои, если и к вам придет трактор, от него только в барыше будете», — отвечал землемер. Он объяснял, что в каждой такой стреляющей, как пулемет, машине, скрыто восемь лошадей, что при своей силе она может перевернуть землю на пол-аршина в глубину, способна поднять и ракитовые заросли и вековой кочкарник, покажет себя также и на севе, на молотьбе. Мужики качали головами, не то не веря, не то изумляясь, а мальчишки слушали с раскрытыми ртами: землемер казался им великим мудрецом.

Приходили к Смурову и бабы, просили лекарств для ребят: до амбулатории, до врача было верст десять; ждали совета, как мужика отвратить от водки или отвести его глаза от бесстыдной солдатки-вдовы. И для каждого, для каждой у землемера находилось доброе слово, и слыл он в округе первым человеком.

Когда Лаврентьев поступил на первый курс института, в его деревню уже который год, начиная с весны, приходили тракторы, и не в восемь сил, а куда мощнее; вместе с тракторами, пешком и на велосипедах, появлялись агрономы. Но не по ним, торопливым, замученным, строил студент Лаврентьев представление об избранной профессии, а по воспоминаниям о землемере Смурове, которого к тому времени уже перевели в другое место.

С годами учения, от поездок на летнюю практику представление это изрядно изменилось. Лаврентьев увидел и понял, что агроном, хотя и действительно не последний человек в сельскохозяйственном производстве, но несколько в ином роде, нежели Смуров. Агроном в колхозе должен делать и знать все — от составления планов до организации бригад, до проникновения в характер, в душу каждого колхозника. Место агронома не в тихом домике под яблонями, а в поле, с людьми, иначе он превратится в чиновника и будет никому не нужен.

Так и на войну Лаврентьев ушел с твердым убе-

ждением, что агроном — это человек поля. Но вот он целые дни проводил теперь в поле, где поднимались последние гектары пашни под запоздалую зябь, на току, где обмолачивались ржаные снопы, в амбарах, на скотных дворах — все время на людях, с людьми, а места себе, прочного, только ему, агроному, и присущего, так и не мог определить среди этих людей. Они и без него знали, где и как надо пахать зябь, куда и в каком виде ссыпа́ть обмолоченное зерно, чем кормить коров, сколько выкопать котлованов под новые парники. Никто от него никаких советов не ждал, никто к нему ни с чем не обращался, за исключением разве немногословного бригадира Анохина да Антона Ивановича. Антон Иванович — тот, конечно, требовал и ждал от агронома многого, слишком даже многого. Председателю надо было во что бы то ни стало вывести колхоз из прорыва, сделать его передовым в районе. Но как, черт возьми, это сделать? С чего начинать? Кругом были какие-то неурядицы, и главное — земля из года в год давала удручающе низкие урожаи.

— И агротехнику будто бы соблюдаем, и супер подсевали, и калийную соль, и назёмец ложили, — говорил Антон Иванович, — а все вот кислятина...

Они стояли так однажды среди поля на узком островке жнивья, оставленного тракторным плугом. На стерне густо щетинились черные, побитые морозом стрелки хвощей; в бороздах, развороченных широкими лемехами, блестела под солнцем вода. Антон Иванович смотрел на Лаврентьева так, будто тот был командиром его батареи и, как бывало от командира батареи, ожидал от него коротких, исчерпывающих и ясных приказаний.

А Лаврентьев?.. О чем думал Лаврентьев? Конечно, на батарее и он нашел бы для любого случая верное решение. Но тут было поле, поросшее хвощами.

— Известковать надо, — высказал он то, что известно было ему из учебников.

— Известь? Ложили. — Антон Иванович ковырнул землю носком сапога. — По тонне, по две, по три на гектар. Все равно фирюльки́ эти прут. Сверху кислоту

отобьем, она снова из глубины подымается. И до войны так было, и нынче опять... Кудрявцев — тот вовсе от наших дел сбежал. Как начались по весне вымочки, только мы его с той поры и видели... А тоже попервоначалу за известь агитировал.

Не в первый раз слышал Лаврентьев о Кудрявцеве, молодом агрономе, который после окончания техникума проработал в колхозе года полтора и сбежал. Разные ходили толки о причинах его бегства. Одни говорили: по невесте заскучал, — отказалась городская ехать в деревню. Другие — что дело не в городской невесте, а в сестре председателевой жены, которая, мол, дала отставку мальцу.

Антон Иванович назвал третью причину.

— Был он у нас на колхозном бюджете. Не как вы, — добавил председатель. — Вычеркнули из списков. А искать... разыскивать... Не такая фигура, чтоб за нее держаться.

Лаврентьев снова задумался о месте, о роли агронома. Неужели ей, этой роли, так и положено быть столь незначительной, что пребывание агронома, его жизнь, труд в колхозе ни в сердцах, ни в памяти людей не оставляют никакого следа? Что-то делал, кипел, волновался — молчат об этом. Сбежал — толкуют, интересно. Но, может быть, Кудрявцев и не кипел и не волновался...

Лаврентьева потянуло взглянуть, в какой обстановке жил его предшественник. Он разыскал на околице дом вдовы Звонкой. Это была та большеглазая женщина, которая в первый день жизни Лаврентьева в Воскресенском объясняла ему путь к правлению колхоза. Редкостная фамилия к ней никак не шла. Худенькая, белокурая, Елизавета Степановна выглядела значительно моложе своих сорока лет, не очень любила бывать на виду у людей, держалась всегда в сторонке, на собраниях отмалчивалась; если и выступала, то немногословно: да, нет, и только в том случае, когда отмолчаться было нельзя, когда задавали вопрос непосредственно ей. Она боялась вопросов на собраниях, потому что отвечать приходилось под хмуро скрещенными взглядами десятков глаз и говорить совсем не то,

чего бы желало сердце. Хотелось бы рассказывать об успехах, а их и нет, говоришь о бедствиях. Бывало и так, что поднятая обычным вопросом: «А как дела в телятнике?» — она постоит минутку и снова опустится на скамью, не произнеся ни слова.

Винить Елизавету Степановну особенно не винили, но и похвально о ее работе не высказывались. Все видели — днюет и ночует Елизавета в телятнике, печи сама топит, солому не один раз в сутки меняет, скребет, чистит своих питомцев, пойло для них и так и этак подогревает; зоотехник придет — замрет перед ним, как в старые времена бабы перед Николой-чудотворцем замирали в престольный праздник, слушает, каждое слово ловит. Но все без толку — падают телята, половина их и до трех месяцев не доживает. Хоть плачь. Звонкая и плакала. Прижмет к себе шишковатую голову хворой телушки в стойле и плачет. Перемешаются слезы — и те, что от неудачливого хозяйствования Елизаветы Степановны, и те, что от вдовьего ее одиночества, от тоски по не возвратившемуся с войны мужу, и, думается, не унять их; но стоит войти кому в телятник, Звонкая тут как тут перед ним, сердитая — когда и лицо успела утереть? — совсем не похожая на ту, какой она бывает на собраниях. Выпроводит гостя за дверь, отчитает: вход-де посторонним строго запрещен. На людях владеть собой умела, из равновесия не выходила никогда, со временем не считалась, о выходных днях забыла, с телятами ласковая, заботливая.

Ценя эти качества Елизаветы Степановны, председатель выдержал не одну стычку с правленцами; он упорствовал, когда ему предлагали снять Звонкую, пока, мол, окончательно не завалила дело. Антон Иванович чувствовал, что корень зла не в телятнице, а в чем-то другом, но вот в чем — неизвестно.

Лаврентьев знал: и на этот вопрос председатель ждет от него ответа. Задумав посмотреть, как жил тут агроном Кудрявцев, он хотел одновременно, с глазу на глаз, более обстоятельно, чем при коротких и официальных встречах в телятнике, поговорить с Елизаветой Степановной. Лаврентьев рассуждал просто, не

таясь от себя: подготовки по животноводству он почти никакой не имел, да и то, что почерпнул в институте, давно позабылось, но зато он в какой-то мере обладал умением анализировать явления жизни, — так, во всяком случае, ему казалось. А Елизавета Степановна, видимо, богата практическими знаниями, опытом Вот они потолкуют вечер-другой, и не исключена возможность, что найдут и причину телячьих бедствий и пути к их устранению.

Смеркалось, когда он вошел в дом телятницы.

— Хозяйка! — окликнул негромко.

Не дождавшись ответа, откинул занавеску, заменявшую створку дверей из кухни в горницу В горнице было сумеречно, тепло и дремотно. Тикали ходики. Гири у них напоминали еловые шишки. Кроме ходиков, на стенах ничего — ни бумажных цветов, ни фотографий, ни картинок из журналов, как часто бывает в деревенских домах. Свежие пестренькие обои — и только. И все вещи — комод, большое зеркало на подставке, стол, покрытый скатертью с кистями, ножная швейная машина под футляром, высокая кровать, застланная покрывалом, дубовый, обитый медными полосками сундучок, на котором в большой эмалированной кастрюле рос раскидистый фикус, — выглядели опрятно.

Лаврентьев присел возле стола, стал сравнивать уютную горенку с жилищем Людмилы Кирилловны. Людмила Кирилловна, он помнил. жила неуютно. Впечатление неуютности объяснялось, может быть, тем, что Людмилы Кирилловны несколько дней не было дома, и, возвратясь с конференции, она не успела привести свою квартиру в порядок. Теперь, возможно, все переменилось. Убедиться в этом Лаврентьев не мог, потому что он у нее с тех пор не бывал. Через санитарку Людмила Кирилловна посылала ему записочки, просила навестить. Несколько раз сама приходила к Прониной, где все еще — но уже не на веранде, а в большой комнате — жил Лаврентьев, и, укоряя в невнимательности, в отшельничестве, попрежнему удивляла его переменами цвета своих глаз, переливами голоса, жестами — то резкими, то женственно мягкими. Лаврентьев оправ-

дывался перед ней тем, что очень занят, и это оправдание было правильным до последней встречи. С последней встречи он стал сознательно избегать Людмилу Кирилловну. «Вы нелюдим, — сказала она ему тогда, прощаясь возле каменных столбов. — Думала, будем с вами друзьями. Но вижу, что друзья вам не нужны. Индивидуалист!» Сказано это было, конечно, с улыбкой, как бы в шутку. Лаврентьев же призадумался. Шутка имела, по его мнению, серьезную почву. Он понял, что нравится Людмиле Кирилловне, и, не чувствуя к ней никакого влечения, решил и ее избавить от беды. К любви он относился как к самому священному из человеческих чувств, играть любовью считал постыдным. Ну, в самом деле, что ему и ей принесут отношения без любви с его стороны. Радость? Конечно же, нет. Для него, во всяком случае, это совершенно ясно, только горечь и стыд. Стыд перед самим собой и перед Наташей, милой, любимой Наташей, образ которой он пронес в сердце через всю войну.

— Что же это вы в потемках? Лампу бы зажгли, товарищ агроном, — проговорил кто-то, шаркая подошвами о половичок в кухне. — Увидела вас, да не могла дойку бросить. Извините.

— Елизавета Степановна? — Лаврентьев поднялся.

Звякнул отставленный подойник, через горницу к комоду легкими шагами прошла в темноте, как думал Лаврентьев, хозяйка, нашарила спички, подышала — он слышал ее дыхание — в ламповое стекло и, только когда занялся желтый керосиновый свет, ответила:

— Нет, не Елизавета Степановна. Ася.

Влажно сверкнули большие глаза под круто изогнутыми бровями. Он видел их, эти глаза, и на молотьбе, где дочка Елизаветы Степановны ловко подавала снопы к барабану, и в амбарах, где перелопачивали зерно, и на заседаниях в правлении; и лицо это видел, в румянце, с ямочкой на левой щеке, и голос слышал — как только его теперь не узнал! — горловой, чистый голос, вот уж поистине соответствовавший фамилии — Звонкая, но имени девушки не знал. «Ася? Красиво. . .» — подумал, и сказал:

— Отлично, товарищ Ася! Будем знакомы — Лаврентьев

— Будто незнакомы! — засмеялась она, подавая руку.

— Ну все-таки... Официально — нет.

Лаврентьев знал свою слабость. Он не умел разговаривать с девушками. Бывало, на фронте, забежит в землянку санинструктор Лида или парикмахерша Надя, — офицеры рады поболтать с ними, хоть весь вечер просидят за разговорами, острят наперебой; девушки хохочут. А он жмется на табурете, скажет наконец как будто бы и остроумное, интересное, но никто не заметит, не услышит его слов.

Да разве только на фронте так было! А в институте, когда увидел Наташу? Повлекло к ней с первого взгляда. На лекциях старался сесть рядом или хотя бы поближе, молча смотрел на нее со стороны, молча подсовывал под руку резинку или карандаш, если замечал, что они ей нужны, молча подавал пальто. Так тянулось это унылое молчание до новогоднего студенческого вечера. Лаврентьев на него и идти-то не хотел, знал, что будет там лишним: танцевать не умеет, острить не умеет; игр, шумных, с беготней и визгом, не любит. Пошел ради того, чтобы видеть Наташу. Пусть танцует с другими, пусть, лишь бы глядеть на нее, быть с ней под одной крышей и в завершение всего подать ей пальто в раздевалке.

В предположениях своих он не ошибся, прослонялся часов шесть по клубным коридорам, пересидел почти на всех диванах, но когда пальто было подано, случилось нечто для него неожиданное. «Петя, — сказала Наташа. — Я очень устала, и от танцев этих и от болтовни. Мне хочется помолчать, проводите меня, если можете».

Почти не проронив ни слова, они вышагали по гололедице до Александро-Невской лавры. Там, возле высоких сводчатых ворот, Наташа заметила скамеечку сторожа. «Посидим минутку. — Она смахнула варежкой снег со скамьи. — Отдохнем. Идти еще далеко». Скамейка была тесная, только на двоих, сидели, касаясь друг друга. Потом у нее озябли руки, она сняла варежки и стала дышать на кончики пальцев, улыбну-

лась, вспомнив что-то забавное, и рассказала, как однажды отморозила нос. Ей было тогда лет восемь, она каталась с горы на ледянке. Гора большая, на берегу Каменки, ребятишек много, домой уходить — разве уйдешь, ну и вот — обморозилась.

Речка Каменка есть без малого в каждом русском селении. Была она и в деревне Лаврентьева. Носа он не отмораживал, катаясь по льду на самодельном коньке, зато ловил в камнях под берегом пескарей, вилкой ловил, обыкновенной старой, ржавой вилкой.

И показались им в ту ночь такими интересными и эти вилки, и ледянки, и родные Каменки, что уже пошли трамваи, в окнах стали зажигаться огни, а они все еще сидели вместо сторожа у чьих-то чужих ворот, и расставаться им не хотелось...

Но о чем говорить с Асей, не о детстве же. С какой стати? И о молотьбе не совсем складно будет...

Ася сама выручила:

— Простите, Петр Дементьевич. Мама скоро придет. Мне похозяйствовать надо.

— Пожалуйста, пожалуйста! — обрадовался Лаврентьев. — Я только задам один вопрос. У вас Кудрявцев жил...

— Жил. Миша. Вот его комната. — Ася распахнула дверь в боковушку. — Тут все так и осталось. Мама не велит трогать, может, говорит, еще вернется. Хотите посмотреть? Лампочку зажжем, у него своя была. Абажурчик сделал из синей бумаги. По вечерам занимался.

Она ушла в кухню. При синем свете Лаврентьев разглядывал книги, аккуратно расставленные на полке, железную узкую кровать, с которой было убрано одеяло и на матраце лежала лишь подушка без наволочки, из-за пробившихся наружу перьев похожая на плохо ощипанную курицу.

Лаврентьев взял наугад несколько книг. Костычев, Докучаев, Вильямс... Лысенко, Мичурин, Тимирязев... Ценные, хорошие книги, знакомые по институтским временам. Меж страниц торчали закладки, сделанные из обрезков газеты. Лаврентьев видел подчеркнутое красным карандашом, видел пометки на полях,

тетрадочные листки с выписками. Пометки, выписки — все они объединялись общей темой: известкование. Можно было догадаться, что Кудрявцев, как и говорил об этом Антон Иванович, причину систематических недородов искал в закислении почв колхоза. Искал упорно — целая тетрадка была у него заполнена таблицами анализов почвенных проб и предположительных норм внесения извести по годам.

Листая страницы книг, просматривая тетради — среди них были еще и записи давнишних лекций, — Лаврентьев чувствовал, как меняется его мнение о Кудрявцеве. До этого дня он представлял себе своего предшественника легкомысленным юнцом, который вечерами бегал под окна к сестре председателевой жены, был завсегдатаем на танцульках, существовал весело и бездумно, а когда жизнь поприжала его, потребовала от него знаний, решительности, опустил крылышки и оказался в нетях. Лаврентьев вынужден был признать, что, пожалуй, ошибся насчет Кудрявцева, и это его огорчило. Огорчило по простой причине: он рассчитывал на то, что будет работать совсем не так, как работал Кудрявцев, — больше, энергичнее, а главное, на научных основах, и это само по себе принесет успех. Кудрявцев, оказывается, тоже помнил о научных основах и тем не менее никаких успехов не добился.

Ероша рукой мягкие волосы, Лаврентьев пристально смотрел на синий самодельный абажурчик и так просидел до тех пор, пока не пришла Елизавета Степановна.

Вместе поужинали, попили чайку. Разговор пошел сначала о Кудрявцеве.

— Молодой человек, а душевный был, заботливый, — говорила Елизавета Степановна. — Бывало вместе мы с ним над телятками горевали. А поля — все своими ногами выходил. Натащит тут землицы, в стеклянных трубочках разведет ее, разболтает, бумажками — синей да красной — пробует. Уж и я от него научилась, как по лакмусу кислоту и щелочь определять. Травы сушил, в институт какой-то отправлял. И чуть что, заминка какая — за книжки садится.

— А почему все-таки он уехал, почему тайком?

— Не знаю, Петр Дементьевич. Чего не знаю, того не знаю. И мне не открылся. Чемоданчик сложил, сказал — в райзо, да так я его и не дождалась. Потом письмо прислал: извините, мол, книги дарю вам, мне то есть, сам-де в совхозе работаю, доволен.

— Да-а... — только и смог сказать Лаврентьев.

Заговорили о телятах. Долго, подробно рассказывала о них Елизавета Степановна, так долго, что Ася стала зевать и, пожелав спокойной ночи Лаврентьеву, ушла за перегородку. Вскоре оттуда донеслось ее ровное дыхание; младшая Звонкая спала, а старшая все говорила. И чем дальше она говорила, тем больше Лаврентьев убеждался в том, что никаких ошибок в работе телятницы нет. Все делалось правильно, по указаниям участкового зоотехника, добросовестно, с любовью делалось, а телята дохли и дохли.

— Может быть, и верно — снять меня надо? — вздохнула Елизавета Степановна. — Не гожусь я. Давно народ Антону толкует про это. Слышать не хочет. А почему не хочет — не пойму. С горем я человек, с большим горем. Кто знает, не от него ли, не от горя ли моего, и напасть такая идет...

Видимо, расположил чем-то Елизавету Степановну к себе Лаврентьев, что заговорила она о своем горе, о чем не любила говорить с односельчанами.

Лаврентьев знал, о чем толкует телятница, и промолчал, не желая тревожить ее душу. Но она снова вздохнула.

— Да, горькая я, всем от меня горечь. Вот и на вас, гляжу, тоску нагнала — приумолкли. И что это взялась дура-баба чаем поить мужика, простите за грубое слово, деревенское оно, да крепкое. Стопочку бы вам полагалось поднести.

Она выдвинула ящик комода, порылась там, и в руках ее удивленный Лаврентьев увидел бутылку с зеленой этикеткой.

— Что вы, что вы, Елизавета Степановна! — Как бы отстраняясь от бутылки, он поднял руку. — В праздник выпить — я еще понимаю, а сейчас — зачем!

— Для праздника и готовилось, Петр Дементьевич. Муженька своего ждала на побывку. Жди, написал,

отпуск дают за хорошую службу. К Новому году жди. Как раз сорок пятый год подходил. Я и жду, жду, сама не своя, ноги легкие стали, что птица летаю. Ан, летаю, а уже и Новый год прошел, и еще неделя миновала. Тут-то и ударило меня по темени — похоронная пришла. Схватилась за бутылку за эту злосчастную, — думала, напьюсь смертно — да и в прорубь головой. Где там!.. В сердце бабьем всегда зацепка найдется. Реву, а сама думаю — вдруг ошибся писарь, вдруг не тот адрес в руки ему попался, и жив-здоров едет где-нибудь в вагоне ко мне мой Феденька. Да так вот и дожила до сего дня — сколько лет прошло — с думкой такой... И бутылка живет, ждет кого-то. Только уж какая в ней водка — слезы мои.

Елизавета Степановна вынула полотенце из выдвинутого ящика комода, приложила чистый холст к глазам, утерла лицо, потом завернула бутылку и снова спрятала под стопу белья; задвинула ящик.

У Лаврентьева начинал ныть нерв в плече, он поморщился, потер плечо ладонью. Елизавета Степановна заметила это.

— Петр Дементьевич, глупая я, лишнего наговорила. Горе, горе! А и тебе не больно сладко. Хороший ты человек — присматриваюсь к тебе, да тоже вроде меня — бобылем живешь. Залетка-то или жена есть у тебя? Где она?

— Умерла, Елизавета Степановна.

Бесстрастно отсчитывали время деловитые ходики, подвывал ветер в сенях, хлопал не запертой на щеколду калиткой, шипело в лампе — все вокруг жило, как бы дышало, даже половица скрипнула без видимой причины, и лишь два человека сидели друг против друга безмолвные, тихие, погруженные каждый в свою думу.

— Ничего, Елизавета Степановна, выдюжим, — сказал Лаврентьев. — Где наша не пропадала!

Слова были бессмысленные, но он и она рассмеялись — им очень хотелось «выдюжить».

Над селом висела черная осенняя ночь, когда Лаврентьев, не разбирая дороги, по памяти, как лошадь на пути домой, шагал по улицам. В окнах было темно,

люди спали, только во втором этаже неуклюжего строения теплился розовый — от шелкового абажура — свет. Людмила Кирилловна бодрствовала. На занавеске отпечаталась тень — руки вскинулись к голове, и голова потеряла привычные очертания: вынута шпилька, волосы рассыпались. Зайти, что ли? Удивить, а может быть, и обрадовать? «Думала, будем с вами друзьями. . .»

Лаврентьев потоптался возле крыльца среди подмерзшей грязи, но розовый свет вдруг вспыхнул и погас — задули лампу, и он зашагал дальше. Наташа, Наташа, неужели ты никогда не вернешься? И никогда не расскажешь вновь о катанье на ледянках, о мальчишках и крутой горе, об отмороженном девчоночьем носике? . .

2

Белый старичок, брат Ирины Аркадьевны, оказался занятным человеком. В отличие от сестры, он носил фамилию не Пронин, а Прошин, а по отчеству его величали — Антропович.

Лаврентьев узнал об этом разночтении лишь из расчетных ведомостей, потому что за полтора месяца никто ни разу не упомянул при нем ни фамилии, ни отчества колхозного пчеловода. Ирина Аркадьевна звала его — Дмитрий, колхозники же совсем просто — дядя Митя. Но в разнобое паспортных данных брата и сестры не было в общем-то ничего ни занятного, ни удивительного. Дореволюционный артистический мир, особенно провинциальный, насколько знал его Лаврентьев по литературе, требовал имен звучных. Легко можно было догадаться, что, попав на театральные подмостки, Арина Антроповна превратилась в Ирину Аркадьевну, и не в Прошину, а в Пронину.

Удивило Лаврентьева другое — то, что молчаливым дядя Митя был только в трех случаях: дома, при незнакомых ему людях и в местах официальных — в сельсовете, в колхозном правлении, куда он хаживал читать газеты, на собраниях. Зато на пасеке, где старик проводил добрую половину суток, он без умолку

говорил. Тут, даже если вокруг него не было ни души, он давал языку полную свободу. Говорил с пчелами, с кустами смородины, с яблонями, с дымарем, медогонкой, вощиной. К вощине речь держалась примерно такая: «Экая ты складная-то, аккуратненькая. Вот мы тебя разрежем, в рамочку вставим — пчелкам подмога будет, от лишних трудов избавятся матушки, на готовенькое медок понесут. Сколько бы хлопот им было понапрасну, а тут — вот тебе... Летай беззаботно, клюй нектар хоботком, тащи его в домик, — и людям и себе запасец на зиму...» Цеплялось слово за слово, и не было словам конца.

Пчелы — те, наверно, и работу бы бросили, прекратись однажды привычное им, монотонное бормотанье деда. Дед напутствовал их на утренних зорях, поторапливал, подгонял в разгар дня, встречал вечерами, просил не сердиться, когда вытаскивал из ульев рамки, и не путаться в его бороде.

Если же случалось, человек зайдет на пасеку, поток речей обрушивался на него. Но колхозники к дяде Мите заходили редко, избегая пчел, которые, несмотря на повседневную воспитательную с ними работу старика, отличались характером злобным и непокладистым. И только с прошлого года у старого пчеловода появился постоянный слушатель — Костя Кукушкин, белесый и, под стать пчелам, сердитый паренек четырнадцати лет. По собственной Костиной просьбе правление поставило его в помощники к дяде Мите.

Костя увлекся пасечным делом нежданно-негаданно для себя и при обстоятельствах не совсем будничных. Как раз в тот день, когда ему должны были вручить свидетельство об окончании семилетки, он заболел скарлатиной. Лежа в больнице, Костя мечтал о поступлении в техникум — в индустриальный, конечно. Кем он станет после техникума, это еще было неясно, но привлекало само слово «индустриальный», полное таинственного значения и связанное с другими, не менее величественными словами: блюминг, домна, мартен, прокатный стан, думпкар, конвейер... Он мысленно уже прокатывал что-то на этих станах, задувал домны, управлял блюмингом, представляя его в виде огром-

ного утюга, как вдруг в руки ему попался листок из книги про пчел. В листок была завернута клюква, которую с передачей принесла мать. Красные кляксы от раздавленных ягод не помешали Косте прочесть о пятнадцатилетней Марусе Савкиной из кубанского колхоза, с десяти ульев получившей семьдесят пудов меду. «Вот так штука! — подумал пораженный Костя. — На полуторке едва увезешь». Ему и в голову никогда не приходило, что с десяти таких дощатых ящиков, какие стоят на пасеке дяди Мити, можно получить автомобиль меду. У Костиной матери мед хранился в глиняных кринках в кладовой, таскать она его не позволяла, выдавала только к чаю, и то не каждый день. А тут бочками, грузовиками. . . Но это еще что! Дело не в бочках, — Савкину-то орденом наградили за пчеловодство. Пятнадцать лет, девчонка — и уже орден, как у Костиного отца, который, ой-ой-ой, сколько на свете прожил, да еще и на войне воевал. Ну и Маруська!

Разглядывая пропитанную клюквенным соком страничку, Костя принялся читать о том, как Савкина добивалась своего успеха. Но рассказ об этом обрывался на самом интересном месте — именно там, где говорилось, как девчонка, пробежав три километра за улетевшим роем, увидела его на вишневом дереве и как ей предстояло прежде всего поймать и посадить в маленькую клеточку всем делам заводчицу — пчелиную матку.

Второго листка не было, Костя лежал и раздумывал: поймает или нет? Наверно, все-таки поймает. А вдруг и нет, возьмет матка и дальше уведет свой сердитый народец.

Вечером Костя отдал листок санитарке тете Дусе и попросил ее зайти в школу, поглядеть, нет ли там в библиотеке такой книжки. «Если есть, принеси, тетенька Дусенька, пожалуйста». — «Ладно», — пообещала тетя Дуся и целую неделю морочила Косте голову: то школа заперта, то библиотекарши нет, а под конец сказала, что книг ему библиотечных не дадут, он же инфекционный. Так Костя больше ничего и не узнал о Марусе Савкиной, но зато, когда вышел из

больницы, сразу побежал на пасеку к дяде Мите. Услышав о семи пудах меду с улья, дядя Митя покачал головой:

— Многовато хватил, малец. И не девчоночье это дело, Костенька. Пчела степенности требует, а откуда она, степенность-то, у девчонки. Семь пудов! Эко! Да я полста лет при пчеле, а вот три пудика... четыре собираю. И то хорошо, хвалят в районе. Хвалят, Костенька. А что не хвалить? Пчелиную душу знаю, не отнимешь. Ты вот забежал сюда как шальной, потому — неученый. Ходить по пасеке неспешно надо, шагом ровненьким, спокойным. Или, скажем, улей. Попробуй подойди к нему задом, — нельзя.

— А на что к нему задом идти, дядя Митя?

— Оно верно, не к чему, — согласился озадаченный пчеловод, — да только, если будет такое дело, взъярится пчела, крепко взъярится. Не любит. Лошадь потную опять же не любит. До смерти зажалить может. Слыхал, поди, про здешнего барона, который до революции владел тут всем. Вот не поостерегся, пренебрег, влетел на пасеку на жеребце. Чистых кровей конь был, огневой конь. Пчела навалилась — пал, тут ему и смерть пришла, понял?

Дядя Митя призадумался, лицо его потемнело, нахмурилось, брови повисли над глазами, что-то хотел еще сказать, не досказал. Но долго молчать не мог, — походили меж ульев вдвоем, снова заговорил:

— Хмельной — тоже сюда не лезь. Приезжал прошлым летом к нам председатель из захонского колхоза. Духовитый этакой, веселый заявился, прямо, думается, из винного погреба. Бац ему под один глаз, бац под другой, да за ухо, да в шею, в бровь, в нос... Перекосило, разнесло всего. Ты, кричит, натравил на меня их, собак! А разве я?.. Сам.

Завлекли Костю дяди Митины рассказы, завлекли книжки, которые он все-таки раздобыл, заманила удивительная пчелиная жизнь, и попросился паренек на пасеку. Не жалел теперь о том, что сбился с индустриального пути. Научился отделять в навыках и приемах старика толковое от пустого, ненужного, стал его правой рукой, а иной раз и сам верховодил; из книжек

черпая уверенность в своей правоте, вступал с дедом в споры, настаивал на своем, помнил о кубанской казачке Марусе, которую за настойчивость, за смекалку наградили орденом.

Спорили, ссорились пчеловоды не на шутку — оба были упрямые, несговорчивые, — но никто никогда не слыхал этих ссор и, пожалуй, даже и не подозревал о них. Молодой, как старый, тоже считал, что пасека — святое место и тут должны царить покой и нерушимый мир. Пчела работает — мешать ей нельзя. Поэтому, когда возникал конфликт, оба уходили за омшаник, в заросли малины, и там, втайне от пчел — а получалось, что и от людей, — высказывали друг другу свое недовольство.

— Ты что же это, — свирепо шепчет дядя Митя, — дымарем-то глушишь без всякого смыслу! Пчела тут тебе или божия коровка?

— Да на, на! .. — Костя тычет ему в лицо усыпанные черными точками пчелиных укусов, загрубевшие пальцы. — Хочешь, чтобы всего, как баронского жеребца, меня съели? Подумаешь, подымлю маленько! Зато в глаза не лезут. Человек у нас дороже всего, понимать это надо!

— Тьфу! Человек! А мед-то для кого мы собираем, сивая твоя голова, как не для человека. О человеке и забота наша.

— Ну и нечего заживо меня скармливать. Дымил и дымить буду!

— Прогоню.

— Не выйдет!

Дядя Митя и сам знал, что «не выйдет» расстаться с Костей. Привык к нему, и даже к ссорам с ним привык, затосковал бы, уйди от него этот ершистый парнишка. Пятьдесят лет в одиночку на пасеках жил, думал — так и надо, иначе и быть не может, а появился рядом с ним живой человек, пусть еще и не больно самостоятельный, — привязался к нему всей душой, и до того привязался, что даже Ирина Аркадьевна удивлялась: «Такой нелюдим был, а теперь чуть что — к Костьке своему бежит. Метаморфоза на старости лет! С чего?»

Лаврентьев не знал, каким дядя Митя был до появления Кости Кукушкина на пасеке, видел обоих пчеловодов всегда вместе, чувствовал, что они дружны, и думал: «В общем славная бригадка, хоть и маленькая».

Сделав для себя правилом систематический обход колхозного хозяйства, он не очень часто, но все же регулярно заглядывал и на пасеку. Пасека была по здешним местам богатая — более полусотни ульев. Пятью рядками стояли они в глубине сада, в том его краю, где яблони подступали к речному обрыву. Дощатый сарайчик, с окнами, в которые были вставлены парниковые рамы, отчего он издали казался теплицей, хранил пчеловодный инвентарь и служил убежищем для пасечников в летние полуденные часы. Бревенчатый омшаник, окруженный кустами малины, как нельзя лучше оправдывал свое мохнатое название. Крыша его покрылась изумрудными пластами похожего на бархат мха, стены жесткой серой чешуей обкидал лишайник. Щурами и пращурами веяло от этой избушки, древними славянскими лесными стойбищами. Так и думалось — вот распахнется дверь, грубо сколоченная из толстых тесин, возникнет на пороге, кряхтя, старый-престарый серебряный дед с льняной бородой, в белой рубашке до колен, выведет трех молодцов. Натянут молодцы тугие луки, пустят в белый свет калены стрелы и уйдут вслед за ними на тридцать три года — искать счастье. А дед сядет на валун-камень и будет терпеливо ждать их обратно — кого с мешком золота, кого с добрым конем, а кого и с лягушкой в узелке.

Но как бы ветхо и сказочно ни выглядел седой омшаник, он свое дело делал, исправно оберегая пчелиные семьи от зимних холодов.

В конце ноября повалил снег, густо, будто там, вверху, по выражению дяди Мити, лопнули все небесные перины. Лаврентьев в этот день застал на пасеке необычную суету.

— Говорили тебе, — выкрикивал дед, — вчерась надо было управиться!

Они с Костей на носилках таскали ульи в омшаник.

Костя хотя и виновато, но упрямо отвечал, стараясь не сбиться с ноги:

— Холоду пчела не боится. У других они и вовсе на улице зимуют.

— Зимуют! А сколько меду съедят? От холоду они прожорливые.

Лаврентьев подошел к омшанику. В тесных сенцах возился Савельич. Он веником сметал с ульев рыхлый снег.

— Здорово, дед! — окликнул его Лаврентьев.

— Здоров-то здоров, да не больно. Дай-кось прикурить.

— Омшаник спалишь.

— Ништо, он завороженный, сорок лет стоит. — Старик прикурил, хмыкнул: — Лодырь, толкуют, Савельич, харч не оправдывает. А гляди, как спозаранок втыкаю. Пар со спины валит.

— Незаметно, — послышался голос из темной глубины омшаника. Оттуда вышел Карп Гурьевич. — Спина твоя сухонькая. Вот, Петр Дементьевич, привел его пчеловодам подсобить — никакого толку. Ульи там расстанавливаю, прошу: «А ну, взяли!» Пупок, говорит, дрожит, не сдюживает. Велел хоть снег сметать, и то дело.

У Савельича кашель перемешался со смехом.

— Мне, голова, осьмой десяток, — перхал он. — Мне полный пенцион полагается, законно если судить. Пирог с печенкой от казны, сороковка и все прочее.

— От казны! А казна-то от тебя много получила?

— Не спопашился, Карп Гурьевич, споздал. Старый. Будь моложе, делов бы наворочал.

— Ну давай, давай, маши веником! — Карп Гурьевич снова исчез во мраке омшаника.

Лаврентьев отошел, присел на камень, на котором сказочный дед должен был поджидать своих сыновей из дальних странствий, задумался. Удивительное дело, до чего исстари пчеловодство привлекает стариков. Что их манит сюда? Не мудрое ли и размеренное трудолюбие пчел, или, может быть, тишина, покой, которые как нельзя лучше отвечают неспешному течению старческой мысли.

Для Савельича это, пожалуй, да — важен покой. Но Карп Гурьевич... Нет, он не созерцатель, он сам трудолюбив как пчела. Дядя Митя рассказывал однажды его историю. Разговор начался с того, что Лаврентьев спросил, о какой посадке Карпа Гурьевича на хмелевый кол болтал Павел Дрёмов. Дядя Митя подтвердил — посадка была, но совсем не такая, как изображал ее злоязычный Павел. Еще в молодости, прослышав от кого-то о летательных аппаратах, Карп Гурьевич, в те времена Карпуха, соорудил крылья из лучин и овечьей кожи и прыгнул с крыши отцовской избы. Ветром его отнесло в огород, в шиповниковые кусты, он изодрался в кровь, охромел на неделю, но ходил гордый и самодовольный. Доказал односельчанам, что человек летать может, лишь бы он этого захотел.

Кожаные крылья не были единственной и случайной фантазией молодого Карпухи. Он родился с душой изобретателя и, переняв от отца столярное мастерство, меньше всего занимался табуретками, столами, оконными рамами и другими полезными в крестьянском обиходе поделками, а, как говорили односельчане, штукарил. Было дело как-то на пасху. При большом стечении народа с церковного пригорка пошла невиданная зверюга — натуральный телок, с глазами, хвостом, молодыми рожками. Телок тяжело переставлял неуклюжие, негнущиеся ноги, переваливался с боку на бок — и шел, и был он деревянный. Сработал его Карпуха, — всю зиму над ним возился. Телка у Карпухи купил трактирщик, перепродал заезжему чиновнику из земства; о деревянном самоходе писали в губернской газете — диковинка, мол, плод российской дури. Так и пошло это, прилипло к Карпухе — дурит человек. Сдурил он и с подводной телегой.

Река воскресенская Лопать — в летние месяцы мирная, ленивая — весной непреодолима, долго идут льды, потом разлив начинается, стремнины. Недели на две возникает бурная преграда на пути в заречье, где бывало в стогах зимовали помещичьи сена́ да бурты с турнепсом. Как подавать корм на ферму? Карпуха подумал — и предложил барону устроить деревянный ящик на тележных колесах, чтобы прямо под ходом

льда таскать этот ящик по речному дну на канатах, как паром. Барон посмеялся, сдал Карпухе заказ на такую механику. Паром получился на славу, просмоленный, прочный, с глухой, не пропускающей воду крышкой. Действовал он тоже на славу, воротом перетягивали его с берега на берег. Двадцать рублей отвалил Шредер мастеру за труды. Но паром жил недолго — застрял в подводных камнях и так и по сию пору гниет где-то в черных омутах. Может, сам соминый царь — есть тут такой сомище, как из пушки бухает хвостом по воде июльскими вечерами — квартиру себе в нем оборудовал.

Кто его знает, сколько бы еще куралесил Карпуха, если бы беды не натворил. Беда пришла в самую неподходящую пору. Женился парень, красивую девку, Стешу, взял из соседней деревни, и вот надумал отцовскую усадьбу благоустроить — яблонь насадить, ягодников, цветничок разбить. Здоровенный камень лежал посреди огорода. Как такие камни убирают в крестьянском хозяйстве? Выроют рядом яму, спихнут его туда, закопают, лишнюю землю — враскид. У Карпухи все делалось не по-людски. Ухнуло как-то раз, грохнуло в Карповом огороде, дым к небу взметнуло. Прибежали соседи, видят — лежит Стеша на земле возле коровника, в крови, в молоке, пролитом из подойника. А дальше, меж гряд с репой, и самого Карпуху нашли. Убились оба. Камень-то он порохом подорвал. Да не предупредил Стешу свою, как раз вышла она из коровника, окончив дойку. Гранитным осколком и ударило ее в голову. И самого не пощадило. Но сам выжил, только волос лишился — опалил череп, перестали расти, а Стеша, как говорится, отошла. Похоронил ее, и завял человек. В это время мировая война начиналась, четырнадцатого года, ушел Карпуха на нее добровольно и только через девять лет вернулся в село — с тремя «георгиями» и с орденом Красного Знамени. Где ни воевал, в какие пекла ни кидался, по женке тоскуя, — смерти не нашел, лишь геройством везде отличался невиданным. Живет теперь бобылем. Хотя как сказать — бобылем: двух сирот чужих растит, взял из детского дома; старшему теперь шестнадцатый год

пошел, младшей не то четырнадцать, не то пятнадцать. Одним из первых в колхоз записался в свое время, хороший мастер, в чьем только доме мебелишки не сыщешь, изготовленной его руками. . И по красному дереву может, и под птичий глаз, и как хочешь. Да, большой мастер, а в жизни неудачливый.

Рассказал эту историю Лаврентьеву дядя Митя как-то вечером, когда Ирина Аркадьевна ушла погостить к Людмиле Кирилловне и они остались в квартире одни. Лаврентьеву после этого очень хотелось самому поговорить с Карпом Гурьевичем, человеком такой необычной биографии, но все не было подходящего повода к обстоятельному разговору Говорили, что старый Карп не любит, когда его попусту тревожат дома, а в столярной мастерской — там он занят, хмур и неразговорчив, там он орудует рейсмусом, фуганком, пилой — не подходи.

Теперь случай был, пожалуй, удобный: Лаврентьев решил дождаться окончания работы в омшанике и пойти, как бы невзначай, по дороге с Карпом Гурьевичем в село. Погруженный в свои мысли, он не услышал, как, мягко ступая, подошел дядя Митя.

— Ну вот, Петр Дементьевич, и управились.

Савельич раскуривал цыгарку. Карп Гурьевич, сняв шапку, синим платком утирал лысую голову, на которой таяли снежинки. Костя Кукушкин запирал на висячий замок дверь омшаника.

— Товарищ агроном, — говорил паренек, не оборачиваясь, — мышеловки велите купить. А то мышь теперь, как похолодает, с полей в дома повалит, на зимовку. Гляди, и до ульев доберется.

— Верно, верно, — поддакнул дядя Митя. — Напакостит. Надобны мышеловки. Две есть, — мало. . . Капканчиков бы еще. . .

Заперли омшаник, заперли инвентарную сараюшку, оглядели всё в последний раз, — пошли, протаптывая в снегу пять стежек. Дядя Митя свернул к дому, пропал в яблонях и вишнях. Костя убежал вперед — не выдержал степенной ходьбы. Скоро и Савельич попрощался, зашаркал красными, из автомобильной резины, галошами в свой проулок.

— Богатое хозяйство — пчельник наш, — сказал Карп Гурьевич, вышагивая рядом с Лаврентьевым. — Вторая по доходности колхозная статья. Первая — огородное семеноводство. Крепко его поставила Клашка.

О Клавдии, старшей сестре жены Антона Ивановича, Лаврентьев уже слыхал не раз. За два дня до его приезда в колхоз, закончив все свои огородные дела, она отправилась в область на семеноводческие курсы и вернется только в феврале. Ему не терпелось ее увидеть, потому что о ней рассказывали просто чудеса. Антон Иванович, тот прямо заявил, что если бы не Клавдия — колхозу бы форменная труба была. В прошлом году сто восемьдесят тысяч доходу семеноводки дали и нынче полных двести. А звенишко — пять баб, да и то одна из них старуха, бабка Павла Дрёмова — Устинья.

— Рыжова у вас молодец, — согласился с Карпом Гурьевичем Лаврентьев. — Двести тысяч!..

— Дядя Митя почти сто да́л, — продолжал Карп Гурьевич. — И больше бы вышло, — хозяйство у нас неправильное, Петр Дементьевич. Клевера вот... Где они, клевера? Вымокают. Видели сами, поди, севооборот какой непутевый составлен. У людей клевер, а у нас овес с викой. Бились, бились с клевером лет десять, бросили: убыток, да и только. На верхних местах сеем деляночки — гектаров восемь от силы. А будь, как это по севооборотам полагается, целое поле — пчела бы разгулялась, она бы нанесла меду. Или за гречиху, скажем, взяться... Эх, Петр Дементьевич, Петр Дементьевич! Губит нас болото, без ножа режет, крылья связывает. И откуда идет — ума не приложишь. Вроде бы и леса кругом, и река воду сосет, а вот на́ тебе.

— Карп Гурьевич, — спросил Лаврентьев, — вы здешний старожил, хорошо, наверно, помните, как хозяйствовал помещик?..

— Э, помещик! — поняв его мысль, не дал договорить Карп Гурьевич. — На дешевых наших руках помещик держался, поля у него через каждые пять сажен — а то и чаще — канавищами были исполосованы.

Его дело какое? Ни трактора ему не надо, ни сеялки, ни жнейки — батрачок на своем горбу все вывезет. Далеко вперед барон не заглядывал, живет сегодня, сам-три, сам-четыре получает, сыт, на ром — ром он любил, — на картишки монета есть, и доволен. Дикий человек был, серый. Не годится нам, Петр Дементьевич, на помещика оглядываться. Не через канавы наш путь лежит.. Ну, может, ко мне зайдете?

Они стояли возле заметенного снегом крыльца домика Карпа Гурьевича.

Лаврентьев обрадовался такому приглашению, разговор с колхозным столяром ему нравился, и сам столяр нравился, и вся его удивительная биография.

— С удовольствием! — согласился он, подымаясь на крыльцо. — Ноги озябли. А что это у вас? — заметил над окном белые чашки фарфоровых изоляторов. — Разве в селе было электричество?

— Я не барон, — ответил как-то непонятно Карп Гурьевич. — Не одним сегодняшним днем живу. Пошли!

В доме у него были две комнаты. В первой вместо русской печки стояла голландка с плитой, выложенная голубыми изразцами, круглый стол, полированный под красное дерево шкаф, деревянная кровать, мягкий диван. Тут было тесновато. Когда Лаврентьев снял пальто, Карп Гурьевич сказал:

— Это ребячье жилье, вот скоро из школы придут, за уроки усядутся. В мое логово прошу! — И распахнул дверь во вторую комнату, пропуская гостя вперед.

Лаврентьев вошел и остановился пораженный. Ему показалось, что он попал по меньшей мере в кабинет какого-нибудь научного работника. Вдоль стен до самого потолка — полки с книгами; как и в первой комнате — мягкий диван, но уже не с подушками, а с высокою спинкой, над которой снова полки и снова книги. Отличные стулья, глубокие кресла, ковровая дорожка на крашеном полу И главное — стол, большой письменный стол, с львиными мордами, с зеленым сукном, чернильным прибором из уральского светлого камня и с лампой на высокой бронзовой подставке.

В узких простенках между окнами, обрамленные строгим багетом, три портрета: Ленин, Сталин и незнакомый, с косматой бородой, хмурый старик. Сталин был изображен в красках, на трибуне, с поднятой, обращенной к народу рукой. Лаврентьев очень любил именно это изображение вождя. У него было точно такое же; еще в начале войны он снял его со стены в сельском клубе под Могилевом, чтобы не досталось врагу, и с тех пор всюду возил в своем чемодане. Сталин держал речь, мудро прищуренные глаза смотрели и видели сквозь многие десятилетия — вождь указывал рукой, звал народ туда, вперед. Лаврентьеву, когда он вглядывался в это полное спокойствия и силы лицо, казалось, что и он начинает видеть сквозь десятилетия.

Карп Гурьевич заметил, какое впечатление произвела на Лаврентьева обстановка кабинета, и сказал:

— Полный буржуй, думаете? На масло, на яйца выменял, как иные? Ошибочка будет. Собственными руками каждая вещь сработана. Не каждая, положим, — поправился он тут же. — Приемник вот — купил. Книги двадцать лет приобретаю...

— Радио, значит, слушаете? Завидую вам, Карп Гурьевич. От жизни отстанешь без него — районная газета, и та лишь на второй день сюда приходит.

— Не завидуйте, Петр Дементьевич. Молчит. Батареи выдохлись. Вот вы про изоляторы спросили. Скажу без утайки — для собственного обману их поставил, и проводку для этого же сделал. Видите! Штепселя, выключатели... Наперекор всему иду. Нет, говорю, электричества, — будет! Плюну тогда на эти батареи, включу приемник в штепсель — и заговорил. Другие как рассуждают? Лампочка Ильича! Зажжется, мол, — тараканы уйдут из домов, ложку мимо рта не пронесешь. А мы и так ее, ложку-то, не пронесем мимо, и при керосиновой лампе. Другое дело — приемники эти глохнуть не будут, молотьба, опять же, куда как проще пойдет, и всякое такое, хозяйственное... Спорчей труд. Вот, думается, как Ильич мыслил про электрификацию. Не про одну лам-

почку — про большую силу. Электрическими плугами, слыхал я, пахать стали где-то на Украине. Это — да. Для себя-то если — для себя и ветрячок поставить можно с динамкой.

— Можно?

— А почему нельзя! У меня тут есть... Да вы садитесь, Петр Дементьевич. Не бойтесь, мебель прочная, свои, говорю, руки постарались. Вот сюда.

Карп Гурьевич усадил Лаврентьева на диван, достал из ящика стола альбом с чертежами типовых проектов энергетических колхозных установок, сел рядом.

— Антону предлагал, давай установим ветрячок, хотя бы воду качать на скотный. Обрадовался Антон, ничего не скажу, уцепился, давай, говорит. А как до дела дошло, кого мне в бригаду назначить, рук-то свободных и нету. Вот тебе и давай. Второй год с предом этак объясняемся, и все на мертвой точке. Ну, шут с ним, с ветрячком. Главное, Петр Дементьевич, болото бы побороть. Хитрое ведь какое — сверху сухо, снизу мокро. Корни гниют. До чего дошло! В самом что ни на есть засушливом году, в сорок шестом, когда у других и репьи, не то что хлеба, погорели, в нашем краю — вымочка! И смех и грех.

Лаврентьев уже с полчаса слышал шаги в соседней комнате, негромкие голоса. Наверно, ребята вернулись из школы. Он подумал, что, может быть, Карп Гурьевич и в дом к себе редко кого приглашал, чтобы не мешали ребятишкам уроки готовить, и поднялся.

— Мне пора. Хочу еще спросить вас — кто этот старик?

— Этот? — обернулся к третьему портрету хозяин. — Отец мой. Маслом писано. В давние времена. Я еще мальчишкой был, художник к нам в село приезжал из Москвы. У нас в доме останавливался, ходил по округе, картины рисовал — рощицы, речку, поля. Россия у вас, говорил, настоящая Россия. Вот она, матушка. Красивше ее нет на свете. Ну и вот отца изобразил. Тоже, мол, Россия. Один портрет с собой увез, другой — в точности — отцу подарил.

Лаврентьев не ошибся. Надевая пальто, он увидел приемных детей Карпа Гурьевича. Мальчик и девочка сидели друг против друга за круглым столом и старательно писали в тетрадках.

3

Бригадир-полевод Анохин был самым многодетным жителем Воскресенского: десять сыновей и одна дочка. Восемь из них родились до войны, трое — в последние годы. «Ну, брат, ты того, Ульян! .. — недоумевали и одновременно восхищались его сверстники, когда, то ли весной, то ли осенью, зимой или летом, снова и снова приходили поздравлять Анохиных с прибавлением семейства. — Уж и поздравлять ли, неведомо... До коих же пор такое дело мыслится?» — «А чего не поздравлять! — отвечал Анохин. — Поздравляйте. Принимаю. Вот догоним с Василисой до двадцати, тогда скажем: точка».

Не все ребята жили в семье. Старшей дочери перевалило за двадцать один, она училась на литературном факультете Московского университета. Как начала в школе писать стихи, так и пошла, пошла по этой, вначале сильно изумившей отца с матерью дороге. «Беда, — говорил в ту пору Анохин. — «Возле печки две овечки, под кроватью сапоги. Поплывем с тобой по речке, только трогать не моги». Какая же это профессия!»

Минувшим летом к Василисе примчалась секретарь сельсовета Надя Кожевникова. «Тетя Вася! — закричала она еще с порога. — Шурка-то ваша, Шурка! ..» — И бросила на стол раскрытый на середине журнал.

Василиса испуганно взяла журнал в руки, увидела черные большие буквы: «Мать» и под ними помельче: «Александра Анохина. Рассказ». Поспешно, трясущимися пальцами надела очки. Ее дергал за подол юбки Семка ползункового возраста, тыкался в колени и хныкал ходунок Витюшка, во все горло орал в кроватке грудной Генька, толпились вокруг, выжи-

дательно смотрели, щиплясь, показывая языки, отвешивая друг другу подзатыльники, Васька, Лешка, Фролка и Борис. Но Василиса как раскрыла журнал, так никого и ничего не слышала и не видела. Перед ней проходила ее трудная жизнь, со всеми этими Геньками и Васьками, с бессонными ночами возле их колыбелек, с тревогами и радостями, с ошпаренными кошками, с разбитыми носами, с ожиданием отцовских писем с фронта. «Правда, правда, доченька, все правда. . .» — шептала она, и слезы капали на раскрытые страницы. Не выдержала, всхлипнула. Ребята кинулись ее обнимать, ползунки и ходунки заревели пуще прежнего. «Отца зовите! — приказала Василиса старшим. — Живо чтоб его найти, ребятушки. . .»

Пришел с поля Ульян, тоже читал дочкино сочинение, тоже чуть не прослезился; изменил мнение. «Да, — хмыкал и гмыкал, — а профессия-то вроде бы и ничего, мать. За печенки взяла нас с тобой Шурка. Считай, в люди вышла».

Вышли в люди и старшие сыновья — Кузьма с Николкой. Кузьма служил механиком на лесоразработках, Николка — трактористом в МТС. От обилия мальчишек в доме творилось невообразимое. Шум, крики, ссоры весь день; неистребимый хлам в углах, на печи, под столом, в сенях — всяческие самострелы, рогатки, западни для ловли птиц, банки с вьюнами и щуренками, ежи, хромоногие сороки, щенки и котята. На крыше день и ночь гудят ветряки, фундамент избы подкапывают кролики, в бесчисленных скворечниках пищат птенцы. «Как у тебя, Ульян, помутнение разума не случится от такого веселья?» — спросит иной раз кто-нибудь из соседей. «Привычка», — отмахнется Анохин.

Но не только привычка помогала Анохину справляться с громадным своим семейством. Была у него особенная система воспитания ребят. «Человек учится у человека, и человек учит человека — так на земле ведется, — внушал он им. — Ты, Лешка, к примеру, в восьмом классе, а ты, Васька, в седьмом. Значит, что? Значит, Лешка Ваське шефом должен быть, полным руководителем. И Ваське от этого польза-помощь, как

говорится, и Лешке — не позабудешь пройденного». По этой системе вся ребячья лестница, начиная с малышей, последовательно подчинялась старшему. Неразрешимые вопросы решал он сам, отец. Было их, этих вопросов, множество, ребята то и дело обращались к отцу, и получалось так, что вместе с сыновьями год за годом учился и отец. Довольно основательно, хотя и в беспорядке, он знал в пределах школьной программы историю, естествознание, химию, физику, постиг грамматику настолько, что когда ребята устраивали ему коллективную диктовку, особо грубых ошибок они в ней не находили. Только алгебра и тригонометрия никак не давались Анохину. «Мозги, видать, ребята, у батьки вашего подсохли, — посмеивался он. — Заработался старик».

Работал он много, — у колхозного бригадира всегда работы хватает. И работал хорошо. Привыкнув заниматься с ребятами, читал агрономические журналы и книги, следил за наукой, за достижениями передовиков сельского хозяйства и, как ни странно, при такой ответственной должности и при громадной, шумной семье был человеком на редкость спокойным. «Вот семейка-то меня и закалила, — объяснял он причину своей выдержки и спокойствия. — Нервов у меня нету, заместо них луженая проволока».

Лаврентьев Анохину понравился, и тоже, как всё у Анохина, по особой причине. «Дел, конечно, мы от него еще никаких не видим. Да как увидишь! В неудачливую для этого пору он к нам заявился: осень, зима. Но вот что скажу тебе, Антон, в нем главное: выдержка и опять же спокойствие», — высказался он перед председателем с глазу на глаз, высказался коротко, немногословно, потому что длинно говорить вообще не любил.

Вскоре после того как Лаврентьев побывал у Карпа Гурьевича, Анохин залучил его и к себе. Было воскресенье, вся бригадирова орава отдыхала от школьных трудов. Галдеж, шум потасовки, гулкие удары со двора в наружную стену, в которую мальчишки метали копья, визг и лай щенят поначалу ошеломили Лаврентьева.

— Про жизнь хочу потолковать, Петр Дементьевич, — начал могучим басом Анохин, принимая к себе на колени ходунка Витюшку, который сразу же взялся размазывать ладонью оброненный на столе кусочек масла. — Скажем так: пшеница. Посеяли мы ее под зиму двадцать гектарчиков. А какая пшеница, ты и сам знаешь, — отборная, семенная, с опытной станции привезли. Не пшеничка — золото. Велено нам ее размножать и, значит, не только себя, а еще и соседей обеспечить семенами на тот год. Задачка с иксом, да еще и с игреком. Икс — приживется ли она у нас вообще? Никогда прежде в наших местах пшеницу не сеяли. А игрек — если приживется, то выдержит ли здешнюю почвенную кислоту и выстоит ли перед весенней распутицей, перед водой, значит?

Заговорили об агротехнике выращивания пшеницы. Анохин, как выяснилось, в теории знал ее отлично, и практически с осени было сделано все, чтобы пшеница уродилась: правильно обработали землю, хорошо удобрили, в лучшие сроки посеяли.

— И главное, — басил бригадир, — уход за ней поручили девчатам-комсомолкам. Страсть как рвались они на это дело. Я, понятно, ответственности с себя не снимаю, ни-ни. Нельзя. У захонских как летось было? Распределили посевы по звеньям — бригадир и рад, на печку... А что вышло? В одних звеньях что-то такое уродилось, скажем прямо — подходяще уродилось. В других — провал вышел. С кого спрос? Со звеньевых? А почему это со звеньевых, бригадир же есть! Он, конечно, есть, да с печи ему не слезть. Нет, я ответственность свою знаю. Но и без помощников, считаю, жить нельзя. Вот и взял в помощницы Асютку Звонкую с подружкой ее — девчушка такая у нас есть славненькая, Люсенька Баскова. Крепко стараются. Ах ты, шкодник! .. — воскликнул Анохин, опуская на пол Витюшку и стряхивая с колен влагу. — Мать, давай-ка ему запасные портчонки... Что ни день этак плаваю с ними, Петр Дементьевич. Да это что за плавание! С пшеницей бы не уплыть, вот забота.

Пообедали, попили чайку с горячими пирогами, — снова говорили об агротехнике. Лаврентьев собирал в

памяти все, что только знал о выращивании пшеницы. Но Анохин знал не меньше его, и оба они ломали головы над задачей с иксом и игреком.

— В общем, думай не думай — надо ждать весны, она покажет дело, — сказал Анохин.

— Покажет-то покажет, но какое? — Лаврентьев катал по клеенке крошечный, размером в дробину, хлебный шарик. — А что, если история повторится и пшеница вымокнет? Тогда снова ждать весны, следующей?

— Год на год не приходится.

— Не имеем мы права так рассуждать, Ульян Фролович. Мы обязаны сделать все, что только от нас зависит. Как у вас насчет дренажа?

— Делали, делали, Петр Дементьевич. Еще до войны. Когда первый раз севооборот вводили. Фашинник, хворост прокладывали под землей. Затянуло его глиной. Копни теперь — никаких дренажей и помину нет. Да что — теперь! На другое лето наша мелиорация перестала действовать. Прямо скажем, как у Николая Васильевича Гоголя: заколдованное место.

— А гончарные трубы не пробовали прокладывать?

— Гончарные? Гончарные — нет, не дошли. Дорогая штука.

— Сколько бы они ни стоили, придется, полагаю, о них подумать, Ульян Фролович. Единственно надежный и правильный выход.

— Подумать можно. А в общем-то, весны, весны ждать надо.

Лаврентьев не ответил. Он вспоминал лекции одного из своих профессоров, который говорил, что дренирование гончарными трубами — будущее мелиорации в северных и северо-западных областях. Густая сеть труб, проложенных под землей, способна в короткий срок осушить самые зыбкие, самые заболоченные земли и в комплексе с другими агротехническими мерами сделать их не менее плодородными, чем земли юга.

Анохин достал из своих бригадирских папок план полевых угодий, вместе долго их рассматривали, под-

считывали потребное количество труб, изумленно и растерянно глядели друг на друга, когда выяснилось, что этих труб понадобятся десятки километров.

— И все-таки, — сказал Лаврентьев твердо, — другого выхода у нас нет.

Теперь не ответил Анохин, задумчиво почесывая бороду.

Расстались они довольные друг другом. Лаврентьев убедился в том, что в полеводстве у него есть хороший помощник. Анохин же так высказал жене свои мысли об агрономе:

— Проверить хотел его, мать. Загадал: не скиснет в нашей семейной обстановочке — значит, мужик крепкий. Скиснет — плохо дело. Выдержал, гляди! И думает с разлетом, не то что Кудрявцев был.

4

Антон Иванович помнил о своем обещании оборудовать квартиру Лаврентьеву. Как только установилась зима, он дал наряд двум плотникам и Карпу Гурьевичу. Подвезли бревен, досок для полов, и начался ремонт.

— Нажмите, ребятки, — бодрил председатель плотников. — Чтоб к Новому году новоселье агроному устроить. Такова задача.

В клубе было множество комнат. Одни из них когда-то занимала библиотека, другие — драматический кружок, которым руководила Ирина Аркадьевна, в третьих — обосновались пионеры, в четвертых — думали создать агрокабинет, натащили туда снопов ржи и пшеницы, ящиков с колбами и пробирками, тарелок для проращивания семян — черепки и осколки валялись там и по сию пору, — но большинство помещений даже и в довоенные годы пустовало, никак не могли их освоить. Главная помеха была та, что клуб далековато отстоял от села и не каждого туда заманишь, особенно в распутицу да в зимние холода. А в годы войны, от немецких бомб, от случайных постояльцев — от беженцев, от армейских и

дивизионных тылов, совсем развалился и обветшал клуб.

— В такой развалине только сове жить, а не человеку, —высказал свое мнение Карп Гурьевич, когда узнал о затее председателя.

Но Антон Иванович думал иначе. Живут же там Пронины, и неплохо, культурно живут. За развалину только взяться как следует — дворец будет; туда всю интеллигенцию можно поселить: за агрономом врачихи Людмилы Кирилловны очередь придет, потом и учителей — их пятеро. Он сам осмотрел, обошел все здание, нашел две подходящие комнаты, рядом с пронинской квартирой — через капитальную стену.

Заглянув в эти комнаты, и Карп Гурьевич согласился: верно, жилье, пожалуй, получится.

Лаврентьев пробовал протестовать: зачем ему квартира, да еще и из двух комнат.

— Лучше бы, Антон Иванович, дом под колхозное правление построить. А то не правление у нас — хлев. Стыдно для такого большого колхоза.

— Урожай подымем, без канцелярии нас уважать будут, — резонно отвечал Антон Иванович. — А не подымем — хоть аэровокзал сооруди, все равно плохо, никакого тебе уважения.

Антон Иванович так энергично хлопотал о жилье для Лаврентьева потому, что он видел в Лаврентьеве не только агронома с большим — высшим! — образованием, но еще и артиллерийского офицера, командира батареи. Старшина привык на войне считать своей обязанностью заботу о командире.

Ни плотники, ни Карп Гурьевич, ни печник, специально приглашенный из дальнего села, у него не сидели без материалов или подсобной силы. И получилось так, что не к Новому году, а дней за десять до первого января квартира Лаврентьеву была готова. Антон Иванович послал туда женщин для уборки, и когда привел наконец Лаврентьева, комнаты его, правда, полупустые, блистали ослепительной чистотой, и дед Савельич, не жалея дров, топил печи.

— Живите, товарищ агроном, на полное здоровье! — радостно и торжественно заявил Антон Ивано-

вич, пожалуй больше, чем Лаврентьев, довольный результатами своих хлопот. — Еще скажу: и вперед не пожалеете, что приехали к нам в Воскресенское.

Ирина Аркадьевна — это Лаврентьев видел и чувствовал — искренне огорчилась, узнав, что он переселяется от нее за толстую каменную стену.

— Привыкла к вам, знаете, очень привыкла.

До вещей ему дотронуться не дали: «Что вы, что вы, руку повредите!» Дядя Митя перетащил его чемодан, потом принес ореховую тумбочку, на которую Ирина Аркадьевна поставила олеандр. Посмотрела прищуренными глазами, передвинула тумбочку ближе к окну, потом ушла к себе, — и так уходила и приходила раз пятнадцать, и каждый раз приносила с собой какую-нибудь мелочь. Мохнатый половичок к кровати, салфетку на стол, бронзовую пепельницу, графин с водой.

В новой квартире засиделись до полуночи. Снова пришел Антон Иванович, привел с собою Марьяну. Ему не терпелось похвастаться перед женой тем, какое великолепное жилище оборудовал колхоз агроному. В колхозе это была крупнейшая стройка за последний год, и стройка явно городского типа. А председателя — Лаврентьев заметил — привлекало все городское, душа его протестовала против соломенных крыш, непролазной осенней грязи немощеных улиц, дедовских лавок, испокон веков заменявших в крестьянских домах стулья, подслеповатых маленьких окон, керосиновых коптилок.

— Вот, Марьянушка, как надо жить в деревне! — восхищался Антон Иванович. — Паровое бы еще отопление, ванну, и точь-в-точь — московская квартира. Ну чего тебе тут недостает?

— Хозяйки, — лукаво стрельнув глазами, усмехнулась Марьяна.

— Во! Это верно, это верно! — оживился Антон Иванович, подсаживаясь к столу, где Ирина Аркадьевна накрывала к чаю. — Хозяйка — такова ближайшая задача! Люблю гулять на свадьбах. Для такого случая и про кишку бы позабыл — выпил бы стопочку.

— Заждетесь, Антон Иванович, — отшутился Лаврентьев. — Жених незавидный — переросток, да еще и инвалид.

— Глядите на него — переросток! Тридцати человеку нет. Да хочешь, завтра же найду невесту? Хочешь?

— Сватайте, Антон Иванович, сватайте! — Ирина Аркадьевна захлопала в ладоши.

— Докторша Людмила Кирилловна — это не невеста? — Антон Иванович загнул указательный палец.

Лаврентьев молчал. Опять Людмила Кирилловна! Он почувствовал на себе внимательный взгляд Ирины Аркадьевны, начал краснеть и страшно обрадовался, когда Антон Иванович загнул средний палец.

— Учительница Новикова — тоже, скажешь, не годится? Или нет, постой, постой! Вот это — да, вот это невеста! — воодушевленный новой мыслью, Антон Иванович сложил все пальцы разом. — Кланька!.. Вернется — сам раздумывать не станешь.

— Клавдия Кузьминишна? — Ирина Аркадьевна недоуменно подняла брови. Лаврентьев чувствовал, что она потеряла всякий интерес к разговору, как только миновали Людмилу Кирилловну, а упоминание имени сестры Марьяны ее просто-таки встревожило.

— Она, она, Клавдия! — Председатель, не заметив перемены в настроении Прониной, обращался главным образом к ней, как бы за советом. — Точка! Я и расписывать ничего не стану, увидит — в огне сгорит. Грешный человек, полгода решения не мог принять, кого сватать — Марьяну или ее. Ну не серчай, не серчай, — погладил он по плечу жену. — Сестра же она тебе. На куски, думал, порвусь. Обе любы, что хошь, то и делай! К Марьянке сердце перетянуло. И не потому вовсе, что лучше она. Ну, опять прошу, не серчай, — снова погладил он округлое плечо. — С норовом Кланька, с заковыкой. Начальствовать любит — не подходи! Порох и пламень. Толовая шашка. Что не так — бух, бах, — разнесло. А сама собой... н-да!..

Все задумались, разговор как-то иссяк. Попроща-

лись и разошлись. Ирина Аркадьевна перед уходом сказала Лаврентьеву:

— Людмила Кирилловна сегодня заходила, просила передать вам большой привет.

Оставшись один, Лаврентьев, как он это обычно делал утром и вечером, принялся упражнять больную руку. Сгибая в локте, стараясь напрягать бицепс, подымал кверху, опускал до пола; положил на стол, по очереди работал пальцами; на протянутой ладони, сколько только мог, неподвижно держал килограммовую гирьку. Делал он это по привычке, механически, мысли были заняты другим. Его радовало, что с каждым днем он все крепче входил в колхозную семью, что у него уже были друзья. В любой час он мог надеть пальто, шапку и отправиться куда-либо, где ему будут рады, и провести там, в дружеском кругу, приятный вечер. Всегда открыты ему двери дома Антона Ивановича, Прониной, Елизаветы Степановны, Анохина; Карп Гурьевич тоже к нему расположен. Даже с Асей у него установились отношения, близкие к отношениям старшего брата и младшей сестры.

Ася — секретарь комсомольской организации в колхозе, деловитый секретарь. Не все у нее получается, но взяться она готова за все. Она уже заставила Лаврентьева делать ее комсомольцам каждую неделю доклады по текущему моменту, вести кружок передовой агротехники. Не ускользнули из Асиного поля зрения и Людмила Кирилловна с Ириной Аркадьевной. Врача она пригласила проводить занятия в санитарном кружке, а бывшую исполнительницу старинных романсов — руководить хором. Ничего не получалось с драматическим кружком: не было подходящего помещения, где бы оборудовать зрительный зал и сцену.

В протоколах у Аси значилось и такое начинание: взять комсомольское шефство над участком семенной пшеницы.

— Вот, Петр Дементьевич, — сказала она однажды Лаврентьеву, — если вы, агроном, член партии, поможете нам выполнить обязательство, которое

мы взяли — а мы обязались собрать по сто восемьдесят пудов зерна с гектара, — то ручаюсь за девчат, все они вас расцелуют. Их у нас в бригаде, имейте в виду, тридцать шесть!

Ася сказала это так мрачно и таким тоном, будто угрожала.

Лаврентьев только руками развел:

— Будем, Асенька, стараться.

— Медведь тоже старался — дугу гнул, а что вышло?

— Мы не медведи, но и не боги. Горшок обжечь можем, но природу переделать в один год — трудно.

— На юге взялись за такую переделку!

— А на сколько лет она рассчитана? На год? На два?

— Важно, что взялись, — переделают. Мы же и не брались.

Лаврентьев вновь продумывал этот разговор. Он знал, что есть такие колхозы, которые со дня своей организации числятся в отстающих; они постоянно не выполняют государственных заданий, не справляются с планами; районные организации часто вынуждены перекладывать их планы на другие, крепкие, передовые хозяйства. В отсталых колхозах много недовольных. Тут уповают не на общественный труд, а на свои усадьбы, значит — слаба и трудовая дисциплина, значит — один недостаток ведет за собой другой, и так нижется, нижется цепь неудач. Угнетающее бесплодие почв не дает людям размахнуться во всю силу, почувствовать эту силу, поверить в нее. И где то́ главное звено, разорвав которое, колхоз освободился бы от пут отставания?

Колхоз в Воскресенском нельзя было отнести к самым отстающим, совсем нет. Это был коллектив закаленный, выросший в борьбе с неимоверными трудностями и препятствиями, которые ему ежегодно чинила природа. Но и при таком коллективе сто восемьдесят пудов с гектара — не слишком ли многого захотела Ася? Сто восемьдесят пудов и для юга отличный урожай, не то что для лесного болотистого края.

И вновь перед мысленным взором Лаврентьева возник план угодий, который они исчертили недавно вместе с Анохиным, проводя на бумаге линии дренажных труб. Да, он, Лаврентьев, поможет Асе, он будет биться за урожай в сто восемьдесят пудов с гектара, как бился там, на бетонном шоссе под Кенигсбергом, против вражеских танков, с той разницей, что не останется один возле орудия и враг его уже не сомнет в одиночку.

Спать ему еще не хотелось. Он, достав из чемодана, задумал повесить на стену любимый портрет Сталина, такой же самый, как у Карпа Гурьевича в кабинете.

Молотка не было, гвозди пришлось заколачивать в стену кочергой, оставленной возле печки Савельичем; бил себя по пальцам плохо слушавшей его больной руки, злился, и уже было, наверно, часа два ночи, а конца трудной работе не предвиделось. Он отбросил кочергу и закурил

В наступившей тишине стал слышен шорох — кто-то ходил в коридорчике и, словно не в силах найти дверь, шарил по стенам. Чиркнув спичкой, Лаврентьев выглянул в коридорчик — за дверью стояла Людмила Кирилловна.

— Можно к вам, Петр Дементьевич?

— Пожалуйста, пожалуйста, — засуетился он, чувствуя тревожные удары сердца. Помог ей снять заснеженное пальто, пригласил к столу.

— Устраиваетесь? — Она окинула быстрым взглядом стены. — Мило, вижу руку Ирины Аркадьевны. — Села к столу, стала вертеть в пальцах оставленный тут гвоздик. — Вы меня простите, что ворвалась среди ночи. Проходила мимо — к больному вызвали, — у Ирины Аркадьевны темно, а рядом свет. Что такое, думаю? Вспомнила — вы на новоселье переехали. Решила — свет, значит, не спите. Рискнула навестить.

«Какой свет — окна выходят не на дорогу, а в сад, и куда это к больному ходить в открытое поле?» Лаврентьев не сомневался: шла специально к нему, в темноте, по метели, и ему стало совсем не по себе.

5

Встал Лаврентьев поздно. Ночной разговор с Людмилой Кирилловной был для него тягостным, тем более тягостным, что последовал сразу же за чаевничанием, за той шутливой беседой о новоселье и невестах, о планах на будущее.

Говорили они с Людмилой Кирилловной обо всем и, в сущности, ни о чем. Лаврентьев держался своей тактики, которую считал единственно правильной, — не давать Людмиле Кирилловне никакого повода для дальнейшего развития ее чувства к нему. Она участливо спрашивала о его руке, о здоровье, о том, где он проводит вечера, не скучает ли, как нравится ему Воскресенское. Он пожимал плечами, отвечал коротко, односложно. Рука? Что ж, рука в порядке; здоровье — жаловаться нельзя. Воскресенское — не хуже и не лучше других деревень. Вечера все заняты — то агрокружок, то правление заседает, то возня с планами на новый год. Дел много, скучать некогда.

Его уклончивость стала раздражать Людмилу Кирилловну.

— Петр Дементьевич, — она бесстрашно взглянула ему в глаза, — вы как-то очень странно со мной разговариваете, как с ребенком, вопросы которого наскучили и от него хотят отмахнуться. Скажите прямо: мне, мол, недосуг и вовсе неинтересно болтать с вами, — и я уйду.

Он принялся поспешно уверять ее в том, что она ошибается, что он просто устал за день —время-то ведь позднее. Но делал это, наверно, очень неуклюже, неловко. Людмила Кирилловна поднялась со стула, секунду-две смотрела на него темными при керосиновом свете глазами, была, казалось, совершенно спокойна, и вдруг, неожиданно для него, резким движением накинула на вьющиеся волосы платок и выскочила за дверь.

Ошеломленный, он не сразу сообразил, как ему быть. С позабытым ею пальто в руках бежал потом по аллее до самых каменных ворот. Не догнал. Вернулся, повесил пальто на крючок, и первое, что увидел по-

утру, открыв глаза, было оно — это пальто с черным меховым воротником, которое в неясном утреннем свете как бы еще хранило очертания стройной фигуры Людмилы Кирилловны.

Встав с постели, Лаврентьев присел к столу, закурил натощак папиросу, чего обычно никогда не делал. Мысли его были мрачные. Он усомнился в правильности своего поведения. Не лучше ли было взять и высказать Людмиле Кирилловне все, без хитрых уверток, честно и откровенно?

В дверь осторожно постучали. Подумал, что пришла Ирина Аркадьевна — звать завтракать. Не отозвался. Ему не хотелось в таком состоянии встречаться с Ириной Аркадьевной.

Он раздумывал о своем глупом, двусмысленном положении по отношению к Людмиле Кирилловне и вновь услышал стук в дверь. Стучали сильно, властно, по-хозяйски, совсем не так, как Пронина. Поколебался — отворил. В дверях увидел незнакомую женщину, дородную, крупную, с широким русским, несколько простоватым лицом, но с умными внимательными глазами.

Она вошла и, когда Лаврентьев хотел помочь ей снять пальто, отстранилась от него, ответила с добродушной суровостью:

— Сама умею, сиди-ка лучше.

Властная гостья задержала взгляд на пальто Людмилы Кирилловны, рядом с которым повесила свое, оглянулась вокруг, чему-то удивилась и заговорила как-то округло, гладко, с веселыми искорками в глазах.

— С дровней соскочила, первым делом пошла тебя посмотреть, какой ты есть, не востришь ли от нас лыжи. Бывали до тебя тут всякие, ты уж, товарищ Лаврентьев, не обижайся, прости меня, бабу деревенскую. Все мы, бабы-то, одинаковые — что на уме, то и на языке. Ну, будем знакомы, давай любить друг друга да жаловать. Кузовкина Дарья Васильевна — Она крепко пожала ему руку, спросив: — Эта, что ли, болит, или та, левая?

Кузовкина, Дарья Васильевна... Давно ждал ее

Лаврентьев и примерно так себе и представлял по рассказам воскресенцев. Еще до его приезда ее увезли в областной город на какую-то сложную операцию, почти три месяца провела она в больнице, но болезнь нисколько, повидимому, на ней не отразилась. Здоровый цвет лица, крепкая, бодрая, энергичная. Хорошо, по фигуре, сшит черный костюм, на жакете орден Красной Звезды и три медали, белые фетровые боты — она их сняла и поставила возле дверей, — коричневые кожаные перчатки на меху.

— Загляделся, вижу, на тетку, — коротко усмехнулась Дарья Васильевна. — Да, говорят, вроде еще ничего. Беда — свой мужик есть, а то бы и женихи ходили свататься. Приглашай к столу-то. Или помешала? — И снова ее взгляд скользнул по пальто Людмилы Кирилловны.

— Прошу садиться. — Лаврентьев подвинул стул. — Только угощать нечем. Не обжился еще.

— Нескладно без чаю-то утром. Хозяйка нужна. Не она ли на примете? — кивнула Дарья Васильевна в сторону вешалки. — Чего же прячешь? Давай ее сюда, веселей беседа будет.

Лаврентьев видел, что пальто Людмилы Кирилловны знакомо ранней гостье, но как объяснить его появление здесь — не знал. Кто поверит, что Людмила Кирилловна по забывчивости ушла в одном платке, когда на дворе конец декабря, когда мороз градусов в пятнадцать и злая поземка.

— Ну, не хочешь показывать, твое дело, — миролюбиво согласилась с его затруднительным молчанием Дарья Васильевна. — Самой ведомо: сердце не камень, и лишний человек пальцем в него не тычь. Скажу только к слову: глаз у тебя, как ватерпас, хорошего человека увидел. И характер у нее душевный, и врач она золотой. Это, в общем, ладно. Потолкуем о другом. На учет встал?

— Встал.

— Пригляделся к нашему хозяйству?

— Думаю, что вполне.

— Приняли как?

— Хорошо приняли.

— Поверишь, боялась за тебя. Лежала, Антоновы письма читала. Пишет, вроде все и честь по чести: работает, мол, агрономом, устроили его как надо, с народом дружен. Но письма — в них человек и слукавить мастак. Читаю, значит, а сама Кудрявцева вспоминаю: сбежал, память о себе недобрую этим оставил. Как бы, думаю, по нему и о тебе не рассудили, в штыки тогда мужики-бабы возьмут. Обошлось, выходит. Очень довольна. Очень ты нам, товарищ Лаврентьев, нужен. По зарез. С высшим образованием, коммунист, фронтовик. Если все мы дружно за дело возьмемся, сдвинем его с мертвой точки. Неужто не сдвинем? Скажу прямо — я, знаешь, прямоту да простоту уважаю, и не зови ты, сделай милость, меня на «вы», не люблю, — так скажу, в общем, прямо: рада тебе, уж так рада! .. Я вот, допустим, секретарь партийной организации, и я же заведующая животноводством. А животноводство-то идет через пень-колоду. Партия требует: животноводство должно быть на большой высоте, а член этой партии, да еще и не рядовой, не выполняет партийного требования, не может ничем себя показать, в пример выставить. Вот то и плохо. Отсюда и трудность мне. Вроде в двойном виде я перед народом. С одной стороны — призываю, с другой стороны — сама отстаю.

По лицу Дарьи Васильевны прошли складки горечи и заботы, нечто общее с Елизаветой Степановной увидел в ней Лаврентьев. Общим, очевидно, было то, что обеих женщин — и телятницу и заведующую фермой — угнетали длительные неудачи, длительная и упорная бесплодность их большого самозабвенного труда. Значит, и Дарья Васильевна, как председатель, как телятница, как Анохин с Асей, ждет, надеется, что с приходом его, Лаврентьева — «агронома с высшим образованием, коммуниста, фронтовика», — дело в колхозе должно измениться. Какую же ответственность, какую задачу возложили на тебя народ и партия, товарищ Лаврентьев, Петр Дементьевич, как много от тебя требуется и как мало ты умеешь, как мало, если не сказать — ничего, ты еще сделал.

Долго беседовали они, два коммуниста, озабоченные судьбами нескольких сотен людей, жаждущих такой же богатой, культурной жизни, какой живут колхозники Украины, Алтая, Кубани — плодородных, благодатных краев Советской страны. Они сознавали, что от них, от коммунистов, зависело — справится ли колхоз с теми задачами, которые ставит перед ним государство, или попрежнему долгие годы будет плестись в хвосте.

Дарья Васильевна подробно рассказала Лаврентьеву о людях колхоза.

Этот рассказ помог Лаврентьеву составить представление о коллективе, с которым ему придется работать. Он ощущал, как создается это представление. Он знал Антона Ивановича, его жену Марьяну, Елизавету Степановну, Асю, дядю Митю, Анохина, старшего конюха Илью Носова, которого он принял вначале за кузнеца, крикливого Павла Дрёмова, кичащегося орденом и медалями, Савельича, истребляющего спички, столяра Карпа Гурьевича, знал счетовода, доярок, но знал всех в отдельности. Дарья Васильевна расставила этих людей по своим местам, в их взаимосвязях, дополнила другими, которых еще не знал Лаврентьев.

Лаврентьев уже называл Дарью Васильевну на «ты», он, против обыкновения, довольно легко уступил ее просьбе об этом, — легко потому, что Дарья Васильевна отличалась свойством быстро сходиться с людьми, которые ей внушали доверие: с ними она держалась так просто, что дружеское «ты» появлялось само собой.

Они пошли в село, когда короткий зимний день уже заканчивался Лаврентьев побывал у Антона Ивановича, на скотном дворе, в кузне и, чувствуя голод, отправился к Елизавете Степановне — чего-нибудь перекусить. Елизавета Степановна сидела возле печки, кутаясь в одеяло и охая.

— Простыла, Петенька. — Она взглянула на него усталыми глазами и через силу улыбнулась. — Весь день в снегу путалась. Ах, беда какая! Боимся и Антону говорить. Милка у нас пропала.

— Как так?! — Лаврентьев встревожился. Милка была одной из лучших коров в колхозном стаде, со дня на день ожидали ее отела, берегли, холили, в тепле держали, чуть ли не в постель спать укладывали — и вдруг пропала. — Как же так? — повторил он. — Куда могла деться?

— Ума не приложим. Выпустили из родилки на воздух погулять... Каждый день выпускаем — ничего. А тут выпустили — в загородку выпустили, — сломала жерди — и нет ее. До реки с доярками по снегу дошли, там след пропал — поземка метет, занесло. Весь берег облазили... В лесу искали...

— Плохо. — Лаврентьев и об ужине позабыл. — Зря Антону Ивановичу не сказали. Мужчин надо посылать. Искать немедленно.

— Немедленно, немедленно. Обогреюсь, тоже побегу. Ну и беда бедовская!

— Без вас, тетя Лиза, обойдется. Никуда бегать не надо, легли бы лучше под одеяло да малины выпили.

Лаврентьев шел к Антону Ивановичу, шел крупным, твердым шагом раздосадованного человека. Его уже начинали злить колхозные неурядицы. До коих пор можно терпеть такую чертовщину. Мало одного, другое наваливается: средь бела дня корова пропала!..

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

Еще стояла ночь на дворе, еще мерцали зеленые тихие звезды и под ногами сторожей туго скрипел морозный снег, а над селом вместе с печными дымкáми уже всклубились теплые запахи пирогов и копчений. К полудню стали пустеть полки в сельской лавке. Воскресенцы раскупали конфеты, пряники, вина, консервы — все, что приглянется, что покажется нужным для праздничного стола. Товаров с каждым часом становилось меньше, покупатели же прибывали и прибывали. Поспешно закрыв лавку и оставив на дверях

клок бумаги с надписью: «Через 15 минут вернусь», завмаг побежал в сельсовет.

В сельсовете на месте секретаря сидела Ася Звонкая и, подолгу разыскивая каждую букву, что-то печатала на машинке. Нудная эта работа была противна энергичной, стремительной натуре девушки. Ася дергала переводной рычаг, с треском рвала копирку.

Секрегарь Надя Кожевникова, расстелив на другом столе большой лист плотной розовой бумаги, разрисовывала его красными, синими и зелеными красками.

— Вот вам, чтобы не посылать специально. . . — Ася подала завмагу длинный, подобный телеграфному бланку листок. Завмаг даже не взглянул на него, он яростно завертел ручку телефонного аппарата.

— Райпотребсоюз дайте! — кричал в трубку. — Сергеева. Занято? Срочно надо! Молнией! . .

Завмаг нервничал, чертыхался, топтался возле телефона в нетерпении. Он уже и сунутую ему в руки бумажку успел изучить до последней точки. Бумажка оказалась пригласительным билетом на вечер, устраиваемый комсомольцами; полюбовался и на работу Нади Кожевниковой, которая свои разноцветные кляксы искусно сплетала в пеструю буквенную вязь: «Большой новогодний бал». А до Сергеева все еще было не дозвониться. Десятки завмагов «висели» в этот день на проводе райпотребсоюза и требовали, требовали колбас, сельдей, запеканок и наливок, шелковых лент, пиджаков и кофточек, штопоров, патефонных пластинок, рюмок, папирос, чулок, монпансье, горчицы и перцу.

— Ну, черти! Ну не черти ли наш народ! — апеллировал к девушкам завмаг. — Плакались — денег нету, а тут враз на сколько тысяч товару оккупировали. Страшное дело! Выговор огребу, ежели с задачей не справлюсь.

С задачей он справился. До Сергеева, правда, дозвониться так ему и не удалось, но Антон Иванович распорядился, дал машину для поездки в районный центр, на базу.

— Граждане и гражданки! — заверял односельчан повеселевший завмаг, усаживаясь рядом с шофером

Николаем Жуковым в кабинке. — Хоть к ночи, а товаров будет во! — Он провел пальцем по горлу. — Магазин сегодня к вашим услугам вне расписания, вплоть до полного удовлетворения. Ждите! ..

Завмаг был прав, воскресенцы никогда не хвалились избытком денег. Продукцию реализовать трудно: до областного центра за сутки и то не доедешь, в районном городке велик ли базар, а денежная выдача по трудодням росла от года к году гораздо медленней, чем возрастали потребности колхозников. Да, деньжатами здешний народ не разбрасывался, сберегал их для капитальных приобретений: Карп Гурьевич — на приемник, Елизавета Степановна — на меховое, «под котик», пальто, — увидела такое на одной женщине в театре, когда вместе с Дарьей Васильевной ездила на совещание животноводов в область, задумала — и приобрела; или вот Пашка, Павел Дрёмов, — на мотоцикл копит.

Но новогодняя ночь... Она и самых бережливых заставила заглянуть в комоды, в сундуки и в шкатулки, сбегать в сберкассу. Кто из нас не знает, что такое последняя декабрьская и первая январская ночь — таинственный, веселый, радостный порог между двумя годами, кто не готовится к ней заранее — за неделю, за две не сговаривается с друзьями о совместной встрече за праздничным столом! Вслед за Спасской башней на все лады бьют часы на просторах страны, подымаются люди вокруг столов с бокалами в руках, окидывают мысленным взором пройденный путь, заглядывают в будущее — много сделано, но как еще много предстоит сделать! И за то, чтоб свершились желания, кипит, искрится вино — солнечный свет, сброженный в дубовых бочках виноградарями Грузии, Крыма, Армении, Азербайджана...

Нет скупых в эту ночь, нет угрюмых. Нет одиночек — все вместе. За тысячи верст друзья вспоминают друзей, за тысячи верст шлют друг другу привет, пожелания счастья. Бывшие солдаты подымут тост за своих бывших командиров, офицеры — за своих солдат, с которыми где-то в землянке под обрывом Волги или на Пулковском, черном от пороха

холме в такую же ночь чокались холодными кружками из жести. Разгоряченный, взволнованный, выйдет былой воин с золотой звездой за героический труд на груди, выйдет в такую ночь на крылечко своей хаты, взглянет в морозную даль, увидит только ему одному и ведомое, скажет с грустью: «Алеша! . .» Но Алеша не слышит, с золотой звездой героя великой борьбы на простреленной гимнастерке он спит на берегу Днепра или Шпрее. «Вечная тебе память, милый друг, — прошепчет однополчанин. — Не зря, Алеша, нет, не зря пролилась твоя кровь». Вернется к столу — и никто не узнает, что вновь пережил, что передумал в несколько быстро мелькнувших минут их бригадир или председатель.

О чем же думал в этот предновогодний вечер Лаврентьев? Ему казалось, что он как-то выпал из общего потока хлопот и суеты. Антона Ивановича осаждали комсомольцы, требовали кумача, цветной бумаги, стульев, баяниста, лошадей для поездки в соседний совхоз за гостями; Ирина Аркадьевна проводила последнюю спевку; бывшие фронтовики начищали сапоги — из сеней пахло гуталином. Все были заняты, озабочены.

Лаврентьев походил, походил по селу и вернулся к себе; не зажигая лампы, затопил печку и сел на коврик перед нею; охватив колени руками, пристально смотрел в золотое пламя, в жаркие переливы березовых углей. Огни земляночных печурок, бивачных костров возникали перед ним, и в этих огнях — неровно освещенные лица товарищей. Где они, боевые друзья, — не знал. Где Гусейнов, где Антонов, где два брата лейтенанты Ласточкины, Вася и Коля? Как хорошо было с вами! Среди вас он, Лаврентьев, знал свое место, среди вас он не выпал бы сегодня из общего праздничного потока, всеми любимый, уважаемый, всем нужный. . .

Но разве здесь, в закинутом в лесную глушь колхозе, он никому не нужен? Эта мысль уколола Лаврентьева, он невольно сравнил себя с Людмилой Кирилловной. Может быть, и она страдает, потому что тоже чувствует себя одиноко. С той недавней ночи она

о себе больше не напоминала, замкнулась в амбулатории и дома, и о пальто своем, казалось, позабыла, ходила в какой-то куцей меховой жакетке. Он отправил пальто с санитаркой Дусей, — встретил тетю Дусю на улице и попросил отнести. Возможно, Людмила Кирилловна так же сегодня одинока... Лаврентьев почувствовал себя эгоистом, черствым, неотзывчивым человеком. Нельзя же так. Надо пойти, извиниться, сказать какие-то хорошие слова. Непременно надо пойти.

Он оделся, вышел; в селе на луну брехали псы, во всех окнах светились огни, на занавесках стояли рогатые, с детства знакомые тени зажженных елок. Может быть, час-полтора оставалось до торжественного, краткого, короче, чем выстрел, и незримого, лишь по звону часов да по взлету чувств определяемого рубежа двух смежных лет.

Лаврентьев не дошел до крыльца Людмилы Кирилловны. Все эти огни и тени в окнах, голоса девчат, которые в одних платках, наброшенных на плечи, перебегали из дома в дом, полная дымная луна и крепкий морозец изменили ход мыслей, его потянуло к людям. Ноги как-то сами собой прибавили шагу. Подумав, он свернул в проулок, в конце которого, на околице, стоял домик Елизаветы Степановны.

— Вот хорошо-то, Петенька, что пришел! До того хорошо, прямо не скажешь. Сама уже думала за тобой бежать, — встретила его Елизавета Степановна.

Стол у нее был накрыт льняной скатертью, белой и такой новой, что полотно, будто снег, искрилось в свете лампы. На тарелках — аппетитные пласты соленых груздей, копченая рыба, огурчики в уксусе, множество каких-то румяных пирожков и две рюмки, с наперсток ростом. Но ни графина, ни бутылки.

Елизавета Степановна еще о чем-то хлопотала, бегала в кухню, в боковушку. Лаврентьев смотрел на нее и просто не узнавал. В строгом черном платье с белым кружевным воротничком она была так же стройна, как Ася. Волосы взбила, уложила волнами, на затылке свернула в тяжелый тугой узел. Глаза сияют. Чем довольна, чему рада? Завтра, может быть,

вновь складки забот лягут на открытый умный лоб; завтра закручинится о пропавшей стельной корове, которую так до сих пор и не нашли, но это будет завтра — сегодня Елизавета Степановна сияет. Таков этот час, такова ночь.

— Ну, Петенька, — засуетилась она еще больше, когда стрелки часов показали без пяти двенадцать. — Садись к столу, открывать будешь. — Она выдвинула ящик комода, обернулась к Лаврентьеву, взглянула загрустившими вдруг глазами, увидела и в его глазах тревогу и вытащила маленькую бутылочку вишневой настойки.

Пробка выскочила легко, и ровно в двенадцать они чокнулись.

— За счастье, — сказал Лаврентьев, — за ваше, за Асино.

— И за твое, Петенька.

Вишневая настойка... Он вновь подумал о Людмиле Кирилловне, которая одиноко сидит там, в своих неуютных комнатах. Но тотчас Людмилу Кирилловну заслонило воспоминание об иной новогодней ночи, проведенной с Наташей на скамейке возле Александро-Невской лавры.

Елизавета Степановна женским сердцем понимала, что в такой час мысли ее гостя должны, непременно должны лететь куда-то далеко от Воскресенского.

— Не знал, не ведал, поди, ты, Петенька, — заговорила она, — что вот этак придется тебе с шальной бабой чокаться. А вот вышло. Жизнь — наперед ее не загадывай. Хитрая она, прехитрющая. Но не печалься, не чужой ты нам — близкий. И мне и Аське. Твое горе — наше горе, твоя радость — наша радость.

— Спасибо, большое вам спасибо за это, Елизавета Степановна. Близких у меня нет, все в могиле. И мать, и отец, и сестренка, и...

— Полно, полно! — остановила его Елизавета Степановна. — Экий разговор затеяли! Наливай-ка еще.

Лаврентьев придумывал новый тост, когда, громыхнув в сенях оброненным с гвоздя коромыслом, вбежала Ася.

— С ума сойти! — закричала она. — Петр Де-

ментьевич! Весь вечер вас ищем. На квартиру кинулись — нету. В правление — нету. Туда — сюда... Бал начинается. Пойдемте! Мама, одевайся!

— Бал-то комсомольский. — Лаврентьев улыбнулся.

— А вы что — комсомольцем не были?

— Был, долго был.

— И уже состарились? — Ася прищурила глаза.

— Вроде бы...

— Ну, у нас сейчас вроде бы помолодеете. Пошли!..

— Выпей с Петей, когда так, — сказала Елизавета Степановна. — Для такого раза велю.

Бал комсомольцы устроили в школе. Еловые ветки, кумач, гирлянды из цветной бумаги преобразили строгое помещение. В физкультурном зале появилась сцена из свежих досок, выстроились ряды стульев и скамеек. Народу было полно. Какие комсомольцы! И Карп Гурьевич тут восседал, и Савельич, которого едва уговорили скинуть меховой малахай. «Лысину застужу, — запротестовал было дед. — Мозга за мозгу зайдет». — «Уже зашла, скидай, не кобенься. Натоплено», — проворчал Карп Гурьевич.

Когда Лаврентьев и Елизавета Степановна вошли, девчата и парни потеснились, дали место. На сцене пел хор. Дирижировала Ирина Аркадьевна. Не старомодное платье, расшитое сутажом, надела она для такого случая, а белую кофточку с черной прямой юбкой. «Ну и хитрая, — подумал Лаврентьев. — Сразу на пятнадцать лет моложе стала». И, странное дело, на кого бы он ни взглядывал, все ему казались моложе, чем были вчера. Время отсчитало еще один год, а люди помолодели, как бы отбросив или поправив извечные законы времени.

Хор под оглушительные аплодисменты покинул сцену. Парни принялись выкрикивать Люсеньку, Сашу. Но ни та, ни другая не вышли, вышла к рампе Дарья Васильевна, подняла руку, выставила ладонью вперед: «Тише!»

— Теперь, друзья мои, — сказала она в зал, — веселись, танцуй. Кто только сердцем не остарел — всяк

танцуй. — Слышно было, как Савельич притопнул своей автомобильной галошей. — Году одному итог подбили, — продолжала Дарья Васильевна, — в другой вступаем. Неподходящий час для самокритики, — полсловом помяну, что не больно крепко в минувшем году поработали, в новом лучше поработать надо. Ну и все — веселись теперь!

Задвигались в рядах, но опять притихли. За Дарьей Васильевной на сцену выскочила Ася Звонкая.

— Товарищи комсомольцы! — крикнула она. — У нас, полеводов, особое обязательство. Вы знаете какое. Мы-то поработаем, мы-то сделаем все, чтобы его выполнить. Пусть правление, пусть председатель скажет, как они помогать нам будут.

Было видно, как Дарья Васильевна подталкивала председателя в спину:

— Ну иди, иди, не упирайся, ежели народ просит!

Антон Иванович коротко рассказал о планах на новый год, заговорил было о тех мерах, какие совместно с агрономом разработаны для повышения урожая, для одоления болотной кислоты, обесплодившей колхозные земли. Но его перебили.

— Пусть сам агроном расскажет! Агронома давай сюда! Агронома! — закричали из разных концов зала.

Лаврентьев почувствовал, что получается некий праздничный рапорт колхозных руководителей, упираться, как Антон Иванович, не стал.

— Товарищи и друзья, —заговорил он в тишине: значит, действительно его слова ждали. — Мы с вами мало еще знакомы, мы еще не работали вместе по-настоящему, вы меня узнать еще не успели, но я вас, думается, уже узнал. Замечательные люди в Воскресенском! И замечательные они должны совершать дела. Что мешало совершать эти дела? Заболоченность земель. Можем мы справиться с заболоченностью? Обязаны!

Лаврентьев позабыл о том, что колхозники собрались не на производственное совещание, а на встречу Нового года. Он увлекся, рассказывал об анализах почв, о новом севообороте, об известковании, о растениях-азотособирателях.

Люди слушали его с интересом и с удивлением. Пришел он к ним глубокой осенью, когда полей не то что не изучишь, даже и не разглядишь как следует, но, скажи пожалуйста, говорит о них человек так, будто знакомы они ему лет десяток, не меньше.

— А главное, — продолжал Лаврентьев, — возьмемся, товарищи, с вами за мелиорацию. Эту меру правление еще не обсуждало, мера серьезная, требует большой подготовки, прежде чем за нее взяться. Имею в виду дренаж гончарными трубами. Затрата капитальная, но и результаты даст тоже капитальные.

— Финансы потребуются! — выкрикнул кто-то.

— Конечно, потребуются, — ответил Лаврентьев. — Добывать надо. Такова задача, не правда ли, Антон Иванович?

Услыхав из уст Лаврентьева любимое присловье председателя, все дружно засмеялись: «Такова! Такова!»

— Что в силах человеческих, все, думаю, сделаем, — закончил он. — А сил не хватит — партия поможет их найти.

— Вот верно сказал, товарищ Лаврентьев, — Дарья Васильевна пожала руку. Но пожатия руки ей показалось, видимо, мало. Она обняла Лаврентьева и трижды, как на пасху бывало, по старому русскому обычаю, расцеловалась с ним со щеки на щеку, под бурное одобрение, под смех, под аплодисменты всего собрания.

Потом молодежь подхватила скамьи, стулья, сдвинула их к стенам, середина зала опустела. Лаврентьев забился в угол, как некогда на студенческих балах. Он видел: все пошло в пляс под звуки баяна. Дарья Васильевна притопывала с завмагом, Елизавета Степановна резво кружилась с Ильей Носовым, который подстриг свою цыганскую бороду, надел суконный костюм и сразу приобрел горделивую осанку, Ирина Аркадьевна плавно плыла с председателем сельсовета. О молодежи и говорить нечего. Дед Савельич хотел было пересечь зал к выходу, но его затискали, затолкали, и он, бранясь и защищаясь руками от налетающих пар, беспомощно путался на середине.

Рядом с Лаврентьевым присел на свободный стул Антон Иванович.

— Не рано ли, Дементьевич, о трубах с народом заговорил?

— Рано ли, поздно ли — все равно говорить надо. Я о них целый месяц говорю, тянете что-то, товарищи правленцы.

— Понимаешь, Дементьевич, заплыл дренаж перед войной...

— Но то был фашинник. А будут прочные трубы. Сто лет продержаться могут. И вообще, не понимаю, вы же со мной согласились. На попятный теперь, что ли?

— Согласились, это верно. Только боязно: вдруг зря деньги ухлопаем. Да и нету их у нас, денег-то.

— Но в совхозе, как мне известно, не зря ухлопали.

— В совхозе! У них земли повыше наших, посуше. Совхозные пáводка не знают, и деньгу им государство дает. Такое дело...

Антон Иванович ушел. Его место возле Лаврентьева занял колхозник из полеводческой бригады Евстигнеев, принялся расспрашивать о мелиорации. К Евстигнееву присоединился помощник Носова конюх Маштаков. Еще подошли колхозники, сдвинули ближе стулья, образовался тесный кружок.

— Возможное это дело? — спросил Лаврентьев.

— А почему невозможное? — ответил Евстигнеев. — Не такие мы маломощники, чтобы его не поднять. Подымем. Надоели, Петр Дементьевич, недороды. Не то время, чтобы с хлеба на квас перебиваться. Желаем круто идти вперед. Там про финансы кто-то сказал... Добудем финансы. Главное — чтоб цель ясная определилась и выход из прорыва. Цель есть, путь намечен — человек в полный шаг по этому пути к цели пойдет. Известное дело.

Подошел к Лаврентьеву и Карп Гурьевич.

— Скачем тут, Петр Дементьевич, — он утер вспотевшую лысину, хитро глянул из-под бровей, — а дед-мороз по домам с мешком ходит. Помните, поди, такого деда.

— Деда-мороза? Помню. — Лаврентьев никак не

ждал подобного разговора от серьезного, рассудительного старика. В памяти его возникло детство и те простенькие, но дорогие сердцу материнские и отцовские дары, которые он первым январским утром находил у себя под подушкой. — Да, бродит дедка, бродит работяга! — поддакнул он в тон Карпу Гурьевичу.

— Бродит, бродит! — Карп Гурьевич кивнул головой и снова хитро глянул из-под бровей.

— Петр Дементьевич! — крикнула Ася. — Вы сегодня неуловимы. Опять пропали! Ищу, ищу... Приглашайте меня на танец.

— Какой я танцор!..

Он и в самом деле был неважный танцор, Наташа с трудом обучила его нескольким па, и, кроме того, он опасался, как бы его не подвела больная рука. Но Ася и слушать ничего не хотела, втащила в толчею, никакие па тут почти были не нужны, а руку его — это Лаврентьев сразу почувствовал — бережно и предупредительно поддерживала сама девушка. Он с благодарностью взглянул в ее радостные глаза, и ему захотелось танцевать на колхозном балу хоть до утра.

Утро уже было близко. Лаврентьев не стал злоупотреблять вниманием Аси — не обязана же она только с ним и проводить время, — тихонько вместе с Елизаветой Степановной выбрался из зала, подал ей ее великолепную шубу, под руку проводил до дому и зашагал к себе, на все село насвистывая что-то чрезвычайно бодрое. Как за несколько часов может измениться настроение человека! В эти часы произошло крайне важное событие, в эти часы Лаврентьев почувствовал, что в колхозе, недавно еще таком чужом, он принят не только отдельными людьми, а всем большим коллективом, коллективом требовательным, не легко принимающим в свою среду нового человека. И еще почувствовал он, что нужен этим людям не только в будни, но и в праздник.

Ощущение этого глубоко взволновало Лаврентьева, взволновало по-хорошему, радостно. Он шел легко, полной грудью вдыхая морозный воздух. Кругом все казалось ему каким-то величественным и огромным. Величественная ночь — порог Нового года, огромный

свод звездного неба, будто исколотого острой иглой, подчеркнуто отчетливая тишина... И в этой тишине угадывались начала больших, значительных дел; именно больших и значительных, потому что вместе с такими людьми, в семью которых вошел он, Лаврентьев, сегодня, хотелось думать лишь о чем-то очень значительном.

Теплые, светлые мысли возникали о них, об этих людях, сдержанных, дружелюбных, богатых душевными силами. Тепло подумалось и о Людмиле Кирилловне. Где, кстати, она сейчас, как и с кем встретила новогодний праздник? На комсомольском балу ее не было видно.

Если бы Лаврентьев знал, где и с кем проводила праздничную ночь Людмила Кирилловна, он бы, пожалуй, изменил своим суровым правилам и постучался в двери больницы.

Людмила Кирилловна еще днем получила приглашение на бал: билет, отпечатанный Асей, ей принесли комсомолки. Она обрадовалась приглашению; можно будет посидеть среди воскресенцев отнюдь не в качестве врача, шутливо поспорить с Антоном Ивановичем, поговорить с Дарьей Васильевной, с которой Людмила Кирилловна привыкла советоваться по поводу всех своих начинаний, и, наконец, просто потанцевать — вспомнить зеленую юность.

Вечером, закончив дела в амбулатории и в больнице, она занялась сборами. Шипел примус, калился утюг, гладились платья, примеривались перед зеркалом. Окончательный выбор пал на любимое — длинное, синее в белый горошек, отделанное по подолу и у ворота тонкими кружевами. Меж этих кружев на грудь, на матовую кожу лег кулон из топазов. Людмила Кирилловна загляделась в зеркало, — давно она не видела себя такой молодой и привлекательной. С некоторым вызовом подумала о Лаврентьеве: неужели и нынче он будет с ней таким же, как всегда?

Близко к полночи она, нарядная, возбужденная, торопливо шагала в туфельках по снегу, — хотела на минутку забежать в больницу, сказать фельдшеру Зотовой и санитарке Дусе, что часа в три их сменит и они

тоже смогут побыть на колхозном празднике. Своих верных помощниц она застала в женской палате. Там лежали бабушка Павла Дрёмова, Устинья, с опасным нагноением ладони — уколола рыбьей костью, и доярка из совхоза Маша Климкова, с переломом ноги.

Людмила Кирилловна остановилась в дверях. Семилинейная лампа в палате светила тускло, но Устинья или, как ее все звали, баба Устя, бодрая старушонка, ухитрилась заметить и необычную прическу Людмилы Кирилловны, едва прикрытую белой пуховой косынкой, и платье, видное из-под пальто, — запричитала:

— Ах, красавица, ах, королева какая! Да покажись нам, бедолажным, порадуй горемычных.

Старушка была въедливая, напористая. Пришлось и косынку снять и пальто распахнуть. Ахи и охи усилились.

— Под венец бы только! — порешила бабка Устя. Климкова звонко рассмеялась. На смех, на шум, кутаясь в серый байковый халат, пришел из соседней палаты единственный ее обитатель — заскучавший плотник Банкин, которому недавно удалили камень из печени. Встал в дверях.

— Не бойся, не съедим, — подбодрила его бабка. — Заходи, Троша, гулять будем. Новый год-то мимо нас думает проскочить. Не проскочит, за полу ухватим. — Бабка хитро посматривала на всех, старалась бодрить и веселить своих сотоварищей, так не во-время угодивших в больницу. — Что мы, не люди? Микстуркой чокнемся, порошочками закусим.

И не хватило у врача сил уйти на праздник, покинув своих пациентов в сумрачной палате. Людмила Кирилловна сняла пальто, послала тетку Дусю к себе домой за бутылкой вишневой наливки, вместе с Зотовой накрыла круглый стол, разыскала в кухне чашки, вилки.

Как ни странно, и в больнице в эту ночь было весело. Немножко выпили, закусили; Банкин рассказывал смешные истории с ведьмами и домовыми, бабка Устя скрипучим голосом пела частушки средней скромности.

Незаметно бежали часы. За Людмилой Кирилловной дважды приходили из школы девушки, посланные первый раз Асей, второй раз Антоном Ивановичем, но Людмила Кирилловна осталась в больнице. И когда Лаврентьев шагал по улице мимо больницы, в одной из ее палат еще веселились. Он этого даже и предположить не мог. Он был уверен в том, что Людмила Кирилловна одиноко коротает время у себя дома или, скорее всего, уже спит. Переполненный радостными чувствами, взволнованный, он пожалел ее и тут же о ней позабыл. Легкие ноги вынесли его за село, на подъем к усадьбе; дорогу ему внезапно пересек заяц. Лаврентьев свистнул на косого и засмеялся, даже не ведая чему.

Предвкушая крепкий, безмятежный сон, он вошел в коридорчик, нащупал ручку своей двери, замок и что-то еще, постороннее, на ощупь — будто бы лыжи, прислоненные к дверям. Удивился, поспешил повернуть ключ.

Да, это оказались лыжи, великолепные, новые, тщательно отделанные. Лаврентьев положил находку на стол, при свете лампы долго рассматривал по очереди каждую лыжину и, как по почерку, узнавал руку мастера, выстрогавшего их.

Это, конечно, был он, дед-мороз, который успел побродить по деревне. И тридцатилетний человек, боевой командир, ощутил вдруг на глазах нечто очень похожее на то, чего взрослые всегда стыдятся. Но Лаврентьеву не было стыдно.

2

Новогодний подарок Карпа Гурьевича пришелся очень кстати. Спустя несколько дней Лаврентьев получил долгожданное письмо от профессора, который в свое время его оперировал и которому бывший пациент время от времени подробно сообщал, как идет лечение руки. Знаменитый нейрохирург просил извинить за слишком долгую задержку с ответом на очередное такое сообщение — два месяца провел в Чехослова-

кии — и давал Лаврентьеву новые указания. Он писал, что работа над возвращением двигательных способностей поврежденной руки вступила, повидимому, в такую фазу, когда комплекс рекомендованных им упражнений свою роль сыграл, и теперь, если этот комплекс не изменить, он неизбежно превратится в тормоз всему делу. «Теперь надо стараться, — читал Лаврентьев, — ставить себя в такие условия и положения, когда бы вы забывали о руке, когда бы обстановка вынуждала вас действовать ею как здоровой. Что это за положения? Это минуты опасности, минуты азарта, большого увлечения. Если вы охотник, ничего лучшего, чем охота, для достижения нашей с вами цели и желать нельзя. Увлечетесь зайчишкой — вся робость ваша, все опасения за больную руку куда только и денутся!»

Страстным охотником Лаврентьев никогда не был, но старенькой берданкой, оставленной ему в наследство отцом, когда-то владел вполне прилично, зимой приносил матери куропаток, весной и осенью — чирков. Если охота — путь к достижению цели, путь этот необходимо пройти непременно, — очень хотелось покончить с вялой немощностью руки. Но ружье? Новое купить? Лаврентьев еще столько не заработал.

Он дал прочесть письмо Антону Ивановичу, рассказал о своем затруднении.

— Ружье? — Председатель даже и не задумался. — Да хоть три найдем. У Ильи Носова чудо-централочка. Без надобности ему.

Носова нашли на конюшне, — жесткой щеткой старший конюх чистил спину резвой кобылке Звездочке.

— Гляди, Антон, до чего щекотливая стала, — сказал он и легонько ткнул Звездочку пальцем меж ребер. Звездочка визгнула, ударила задними ногами, затрясла кожей, закосила лиловым глазом.

— Не балуй! — не то ей, не то конюху недовольно посоветовал Антон Иванович. — Ружьишком надо агронома обеспечить, Илья. Такова задача.

— Сделай милость, Петр Дементьевич. — Носов повесил щетку на гвоздь. — Хочешь — ко мне вечерком заходи, хочешь — сам принесу. Полная амуниция — и

гильзы, и порох, и дробь. Только уговор — процент с тебя: сто граммов за каждого зайца. Заяц всухомятку — не пища.

— Процент божеский!

Ударили по рукам.

Для первого раза Лаврентьев решил отправиться не за реку, где, говорили, зайцы табунами гоняются, а на верхний суходол, за село. Там зимовали стога викоовсяного сена, и он видел однажды вокруг них множество куропачьих следов.

Тот, кем никогда не владела охотничья страсть, даже и не представляет себе, как сложны для новичка и хлопотны сборы на охоту. В пальто в поле не пойдешь — пришлось занимать у Антона Ивановича суконную куртку. В сапогах тоже не очень ловко топать по морозу — дядя Митя одолжил валенки.

Наконец безветренным морозным вечером Лаврентьев отправился на добычу. Лыжи легко скользили по снегу, за плечами приятно и солидно висела двустволка, пояс с патронташем туго стягивал куртку. Все было пригнано, удобно, на месте, вселяло уверенность в успехе. Кругом — снег, синий, бескрайний снег. Позади, если обернешься, — огоньки села. Впереди — черная линия притихших лесов. Чем не фронт, чем не командирская ночная разведка!

За полчаса добрался до стогов, засел вблизи них, в молодом ельнике, замаскировался ветвями. Надо было дождаться восхода луны, свет ее уже занимался в том месте, где небо смыкалось с землей.

Луна выползла из-за леса медленно; была она огромная — в несколько раз больше той луны, которая стоит в зените, и плоская, как тонкий лист латуни.

С восходом луны — Лаврентьев не ошибся в ожиданиях — возле стогов появились быстрые юркие птицы. Они были от него в каких-нибудь шестидесяти-семидесяти шагах, он видел каждое их движение. Куропатки давно нашли дорогу к этим стогам и давно выклевали зерна в нижних пластах сена. Теперь они прыгали, стараясь достать повыше. Прыжки двух десятков птиц были так смешны и забавны, что Лаврентьев и о ружье позабыл. Куропатки прыгали, дрались,

отгоняли друг друга, — он глядел на них и смеялся в шерстяную варежку. Можно было поднять ружье и, почти не целясь, уложить на месте пяток жирных птиц, но все очарование мирной ночной картины безвозвратно погибло бы от этого выстрела.

Внезапно куропатки шарахнулись в стороны. Из-за стога, ковыляя, появился заяц, большой, степенный русак. Он сел на задние лапки и тоже принялся лущить сладкие стручья. Птицы быстро освоились с незваным сотрапезником, вновь заняли свои места и вновь запрыгали. Заяц есть заяц, даже для куропаток.

Добыча была не из мелких, не чета куропаткам, упускать такую грешно. Лаврентьев поднял ружье, прицелился, но не успел выстрелить — зайца и куропаток точно ветром сдуло. Вслед им мелькнула быстрая рыжая молния — и все живое от стогов унеслось в поле.

Лаврентьев выскочил из елок. По сугробам, под луной, мчался, петляя, кружась, ошалелый русак; за ним, вытягиваясь стрелой, едва касаясь снега, летела лиса.

Не задумываясь, есть ли в этом хоть какой-либо смысл, побежал и Лаврентьев. Он проваливался в снег, спотыкался, падал, вскакивал, снова бежал и, лишь когда был далеко от стогов, вспомнил о лыжах, оставленных в ельнике. Возвращаться — где там!

Заяц напрягал свои сухие заячьи мускулы, он боролся за жизнь. Лисица не жалела ног, она боролась за пищу, следовательно тоже за жизнь. Но во имя чего выбивался из сил человек?

Он бы, наверно, давно потерял из виду и лису и зайца, лег бы на снег пластом и, измученный погоней, лежал так час или два, пока успокоится сердце. Но на его счастье — или несчастье — у зайцев существует особенность мчаться не прямо, а по кругу, за что, собственно, их и называют косыми. Эту особенность Лаврентьев во-время вспомнил и кинулся наперерез зверям. Расчет был правильный, и когда заяц и лисица пронеслись мимо него, Лаврентьев в горячке ударил разом из двух стволов. Или лунный свет обманул — преуменьшил расстояние, или руки отвыкли от оружия, только заяц от выстрела рванулся вперед, а лиса свер-

нула в сторону и, метя хвостом, полетела прямиком через снега.

Лаврентьев на зайца и не взглянул, — ему нужна была лиса, только лиса... Он упорно бежал за ней; она, видимо, устала, а возможно, все-таки две-три дробинки в нее угодили, — время от времени останавливалась, как бы передыхая в ожидании, пока охотник не приблизится на опасную дистанцию, и только тогда пускалась дальше.

Так зверь вывел охотника на дорогу. Разъезженная полозьями саней, шинами грузовиков, дорога заледенела, покрылась ухабами, ноги на ней скользили даже в валенках.

Лаврентьеву не хватило дыхания, он расстегнул ворот куртки, но сил сказать себе: «Стоп! Кончено. Не выдержал единоборства», — не находил. Он серьезно поверил в то, что лисица над ним издевается. Отбежав метров двести, рыжая дрянь присаживалась на ухабе и тоже тяжело дышала, раскрыв пасть и высунув язык. Лаврентьев ясно видел злорадную улыбку старой зайчатницы. Он еще несколько раз стрелял по ней с безнадежных расстояний. Напрасно стрелял, напрасно горячился. Лисица наглела с каждым километром, уж не на двести, а на сто, на восемьдесят метров подпускала охотника, и так могла бы вести его за собой хоть до самого районного городка, если бы ей самой эта игра не наскучила. Тогда она вертикально подняла хвост, как указательный палец, — внимание, мол! — обидно для Лаврентьева потрясла им и метнулась с дороги в ольховые заросли, там след ее простыл, туда было нелегко продраться. Лаврентьев тяжело опустился на ледяной раскат посреди дороги. Такой усталости он еще никогда не испытывал. Это было какое-то предельное перенапряжение человеческих сил. Мыслей не было, только яростная досада на упущенную добычу. Он даже не порадовался тому, что профессор не ошибся в своем совете: нужно было позабыть об изъянах руки — и рука стала действовать, отлично действовать.

Просидев так неизвестно сколько времени, он побрел обратно. Шел, цепляясь ногой за ногу, поскальзываясь и падая, и, когда падал, не спешил вставать,

лежал на боку или на спине, разглядывая звездное небо. В ушах шумело. Патронташ и ружье казались чугунными веригами, тянули к земле.

Когда до дому оставалось совсем немного, Лаврентьев услышал позади себя протяжное: «Поберегись!»

По стуку копыт и визгу полозьев определил, что его настигала санная упряжка. Он не поберегся. «Объедут, дорога широкая», — подумал вяло. Но не объехали, остановились за спиной, лошадь шумно дышала ему в затылок.

— Эй, дядя! Хочешь, чтобы стоптали?

Голос показался Лаврентьеву знакомым. Обернулся. В розвальнях — тулуп нараспашку, шапка заломлена — сидел Павел Дрёмов.

— Товарищ агроном, никак вы! — Павел соскочил с саней, подошел. — С охоты, что ли? Без пуху и пера?

— С какой охоты! Так просто. Пройтись... — через силу ответил Лаврентьев.

— Ну и ну! — Павел явно не верил. «Пройтись!» Едва на ногах человек держится. — Садитесь. Маленечко, да подбросим, — предложил он и шепнул конспиративно: — Прониной дочку везу.

Лаврентьев увидел в санях женщину, закутанную в меховую шубу, в шапке с ушами, завязанной под подбородком. Луна освещала нахлестанное встречным ветром лицо. Нетрудно было узнать на этом лице глаза молодого красноармейца с портрета, который висел в столовой Ирины Аркадьевны, — такие же пухлые губы и упрямые возле них складки.

— Здравствуйте, Катя! — сказал он, не зная ее отчества, хотел присесть, но не получилось — повалился рядом с ней на сено и тут же, в одно мгновение, заснул.

3

Лаврентьев не помнил, как и когда Павел Дрёмов с дядей Митей, будто мертвецки пьяного, подняли его из саней, довели под руки до постели, как дядя Митя возился, снимая с него охотничьи доспехи — пояс с патронташем, куртку Антона Ивановича, свои разношен-

ные валенки, как Ирина Аркадьевна брала руку и нащупывала пульс.

Открыв глаза, он уставился в какую-то голубую точку на обоях и все еще видел сны — огненную лисицу, которая уводила его через поля и леса в неведомую даль.

Свет в комнате стоял расплывчатый и мутный, какой бывает лишь январскими утрами, когда не очень-то спешишь расстаться с теплым одеялом. Лаврентьев повернулся поудобнее и вновь закрыл глаза.

— Петенька! .. — услышал он вдруг сквозь дрему. — Милка-то — нашлась.

Он ничего не мог понять.

— Какая Милка? — спросил, приподымая тяжелую голову. Возле стола сидела повязанная пуховым платком Елизавета Степановна.

— Радость у нас, Петенька! Нашлась. Жива-здорова, и телочка здорова... — говорила она, и он чувствовал, что то, о чем телятница говорит, действительно для нее большая радость. — Третий раз к тебе прибегаю.

— Третий раз?! — Лаврентьев окончательно проснулся. — Как третий раз?

— Да так, Петенька. Утром приходила, в полдень опять...

— В полдень?! Что же сейчас такое?

— А вечер. Видишь, смеркается на дворе.

— Отвернись-ка, тетя Лиза. Вот так штука! Часов пятнадцать, значит, проспал.

Лаврентьев быстро оделся, при каждом движении ощущая в теле истому и злую боль. Сходил в коридорчик, принес из бочки ковш ледяной воды в рукомойник, освежил лицо и шею — стало легче.

— Где же она была? — спросил, утираясь полотенцем.

— За тем и пришла — рассказать. Давно сижу, думала: дождусь, проснется. А ты все спишь и спишь. Эка, умаялся. Не вредно тебе так?

— Полезно. Рассказывайте, Елизавета Степановна.

Корову Милку нашли утром, и нашли не взрослые, которые вторую неделю напрасно обхаживали окрест-

ные леса и болота, ездили в совхоз, в соседние деревни, звонили в милицию и в лесничество, — а ребятишки. День был воскресный, и они, набив карманы хлебными краюхами и ватрушками, в поисках приключений отправились ватагой за реку, к той, всегда для них приманчивой церковке, которая из черных елок казала зеленый куполок. Вскоре с криками, с галдежом примчались обратно в село, кинулись к Антону Ивановичу, к Дарье Васильевне, на скотный двор забежали, в телятник. «Милка, Милка!» — только и слышно было на улице.

Чуть не в полном своем составе, возглавляемые ребятней, отправились животноводы к церковке. Стояла она на высоком пригорке, таком, что даже самые разгульные полые воды едва достигали плитнякового фундамента. Была церковка деревянная, давно заброшенная, и две крестообразно прибитые доски лет уже двадцать гнили на ее обветшалых дверях. Шляпки гвоздей обросли мохнатой ржавчиной. В разбитые окна влетали голуби, они гнездились за киотом и гулко ворковали под шатровыми сводами.

Милка, почуяв, что для нее наступает время телиться, как всякий зверь, отправилась искать укромное местечко. Она нашла сенной сарай. Сарай тоже был ветхий, оставшийся от поповского хозяйства, стоял он позади церковки в елках. Когда-то возле него был и дом попа, но дом сгорел, а сарай сохранился. В него складывали сено для коней, на которых после паводка вспахивали заречные поля огородной бригады. Никто сюда до весны не заглядывал.

Милка, войдя во вкус свободной жизни, прочно обосновалась в сарае со своим потомством, — сена вволю; воды нет, зато снег какой чистый!

Распахнув пошире скрипучую воро́тину, Елизавета Степановна первая увидела беглянку. Пестрая крепконогая телочка шарахнулась от вошедших, спряталась за мать. Мать грозно протрубила, копнула копытом плотный земляной пол.

— Насилу своих признала, такая дикая сделалась, — рассказывала Елизавета Степановна. — Ее своим ходом домой пригнали, а телушку на санях при-

везли. Дарья Васильевна одеялом даже укутала. Пойдем, посмотришь, Петенька.

— Интересно. — Лаврентьев снял с вешалки пальто. — Чрезвычайно интересно.

— Как только не простыла она в сарае-то, — рассуждала дорогой Елизавета Степановна. — Ведь что под открытым небом — и сквозняк там, и снег в щели задувает... Теперь в тепле. Печку в телятнике круглые сутки топить будем. Дорогая телочка, чистых кровей. До чего сохранить ее хочется, Петенька!..

Знатоком животноводства Лаврентьев себя не считал, но чтобы разобраться, какой отличный приплод принесла колхозному стаду наделавшая столько хлопот Милка, в особых знаниях и нужды не было. Теленок резвился, задрав хвостишко, прыгал в стойле, мычал, требуя пищи, бодал головой ладонь, когда его пробовали погладить. Дарья Васильевна уже успела дать ему имя — Снежинка — за то белое пятнышко, которое, подобно снежному лепестку, село над телячьим глазом, и Снежинка одна властвовала в пустом телятнике, потому что с Милки только начинался период зимних отелов.

Лаврентьев стоял перед Снежинкой, раздумывал о том, что почин получился отличный, каково-то будет продолжение. Неужели опять болезни, неужели опять падёж?

Два последующих дня они с Елизаветой Степановной почти не уходили из телятника, пять раз в сутки ставили Снежинке термометр, по настенному градуснику следили за температурой в помещении, даже ночью не давая ей опускаться ниже десяти—двенадцати тепла, часто меняли подстилку в стойле, подогревали теленку молоко.

В эти дни Лаврентьев приходил домой только за тем, чтобы поспать. Придет, заляжет в постель, несколько минут вслушивается в мелодичные приглушенные звуки за стеной — старенькое фортепиано Ирины Аркадьевны ожило с приездом Кати — и уснет крепким сном физически утомленного человека.

Он сознавал, что Ирина Аркадьевна, наверно, обижена — и вправе обижаться — его невниманием; что

ей, безусловно, хочется показать ему Катю, похвастаться своим сокровищем, но не пойдет же она сама приглашать: «Будьте любезны, зайдите взглянуть». Черт возьми, надо бы сходить навестить, надо...

Два дня в телятнике было все благополучно.

На третий день Снежинка стала кашлять, температура у нее поднялась, аппетит пропал, а с ним пропала и резвость, теленок сник, лежал на подстилке, не вставая, в глазах у него появилась жалостливая грусть.

— Ой, беду чую! Ой, чую ее! — хватаясь за сердце, охала Елизавета Степановна. — Ой, что же будет, Петр Дементьевич? — Она обращалась к нему по имени-отчеству, уже не как к близкому в ее доме человеку, а как к специалисту, лицу официальному, от которого ждала помощи, избавления от надвигающейся беды.

Пригласили участкового ветеринарного техника.

— Опять та же песня, — разворчался участковый. — Черт его знает, что у вас тут такое? Сквозняки, что ли, в телятнике? Простужаете животных, товарищи. Воспаление легких у телочки.

После отъезда веттехника, который сделал распоряжения, подобные тем, какие делал и год и два назад, Лаврентьев ушел в домик Елизаветы Степановны и в бывшей комнате Кудрявцева засел за ветеринарные справочники. По всем признакам у Снежинки действительно начиналось воспаление легких. В таком возрасте оно чрезвычайно опасно, почти верная смерть.

Так ответил старый справочник на вопрос Елизаветы Степановны: что будет? На вопрос Лаврентьева: что же делать? — справочник мямлил нечто неопределенное.

Лаврентьев перелистывал учебники по животноводству, труды биологов и растениеводов. Тимирязев, Мичурин, Лысенко... Мудрые мысли и выводы находил он в трудах этих ученых: условия... среда... воспитание... творческий подход к решению любой задачи, метод диалектического материализма. Что такое диалектический материализм, Лаврентьев, конечно, знал, но знал лишь в применении к законам общественного развития. А животноводство? Может быть, он слышал

когда-то на лекциях и о диалектических законах, по которым развиваются живые организмы, но слишком давно слышал, война еще дальше отодвинула студенческую пору, и все забыто. С тем большей жадностью накидывался Лаврентьев на труды основоположников передовой агробиологической науки. Как он до нынешнего дня обходился без них? Книги были полны убедительно ярких примеров правоты и торжества этой устремленной вперед науки. Но ни один из примеров все же не давал прямого ответа Лаврентьеву. «Творчески решать задачи», — требовали книги. Творчески! .. Для этого очень и очень много надо было знать. По-настоящему творить можно лишь тогда, когда изучишь все, что сделано до тебя другими. А собственные познания казались Лаврентьеву удручающе ничтожными, хоть снова иди в институт и заново переучивайся.

Но за один пример он все же уцепился: Иван Владимирович Мичурин, прививая черенки южных сортов на дикую, растущую на севере лозу, выводил холодоустойчивый виноград. Важен подвой — именно эта дикая, неизнеженная лоза. Она фундамент всего, первооснова.

Что же такое домашний скот? Давно ли корова получила теплый дом — хлев со стенами и крышей? — думал Лаврентьев. Сто лет назад — может быть, немногим больше — крестьяне держали ее во дворе, под открытым небом. А стада в степях Казахстана и Монголии? Кто там закутывает теленка в одеяла, кто трясется над ним с градусником в руках? Тепло для коровы — это понятно. Молочной корове оно необходимо, чтобы пища не расходовалась на согревание тела как простое топливо, а в какой только возможно большей мере шла в молоко. Но вот закутывание теленка — разумно ли это?

Новая мысль поразила Лаврентьева. Его счастье, что в силу личных обстоятельств он не погряз в рутине «извечных, столетиями проверенных» представлений о сельском хозяйстве, как это случается с иными агрономами, которые по окончании института или техникума, столкнувшись с практикой, не столько анализи-

руют, не столько вмешиваются в нее, сколько отдаются ее течению. У него еще не было «установившихся представлений», и он с чистой совестью мог экспериментировать.

— Открыть дверь! — с таким приказанием вернулся Лаврентьев в телятник через несколько часов сидения над книгами. — Дать свежий воздух!

— Да что ты, Петенька! — ужаснулась Елизавета Степановна. — Морозюга какой!..

— Ничего, в шубе не холодно. А у него вон какая шуба. — Он погладил по спине теленка. — Шерсть в колечках, что у овцы. Открыть!

— Не позволю! — Глаза Елизаветы Степановны вспыхнули решимостью. Перед ней был не ее Петенька, а безумец какой-то. Она уперлась спиной в дверь, расставила в стороны руки. — Не позволю!

— Ну и глупо.

Лаврентьев дал Снежинке полизать с ладони соль, вызвал у нее жажду. Потом размешал в блюдце с водой два порошка сульфидина, поднес к теплой сухой морде, — Снежинка выпила. Это была пока что чистая эмпирика — так ли, не так надо делать, кто знает, но сульфидин — средство при воспалении легких, и это средство следовало применить.

Видя, что Лаврентьев оставил двери и занят порошками, Елизавета Степановна побежала к Антону Ивановичу.

Она вернулась не только с председателем, но и с Дарьей Васильевной. Все трое дружно ужаснулись: дверь телятника была распахнута, оттуда, клубясь на морозе, валил теплый воздух. Но это еще что! На войлочной подстилке среди двора стояла Снежинка, на ней, как попона, висело пальто Лаврентьева, из-под пальто торчала только голова с шишками будущих рожек, поводила ушами и отфыркивалась от облепившего ноздри седого инея.

Елизавета Степановна закричала какие-то страшные слова, поминая и слово «вредительство», и бросилась к Лаврентьеву. Антон Иванович удержал ее за плечо. Он и сам хмуро смотрел на агронома, стараясь не встречаться с ним глазами.

— Не дело делаешь, Петр Дементьевич, — сказал он, не отпуская от себя продолжавшую кричать Елизавету Степановну. — Не дело.

Дарья Васильевна молчала.

— Я вам сейчас объясню, товарищи. — Улыбка Лаврентьева обычно всех подкупала, подкупала она и Антона Ивановича, и Дарью Васильевну, и Елизавету Степановну. Тут не помогла и улыбка, никто не ответил на нее. — Объясню, — повторил Лаврентьев. — Ну, хватит гулять, хорошенького понемногу. — Он шлепнул Снежинку по заду и погнал в телятник.

В телятнике возмущение Елизаветы Степановны усилилось. Печка была погашена, окно — настежь. Лаврентьев не запротестовал оттого, что телятница немедленно принялась закрывать дверь, окно, растапливать печку; он стал рассказывать о том, что вычитал в книгах. Елизавета Степановна не слушала. Но председателя и секретаря партийной организации соображения Лаврентьева заинтересовали.

— Чем леший не шутит, — кратко высказался Антон Иванович.

Дарья Васильевна молчала.

— Елизавета, брось затоплять. Попробуем по-новому. — Голос председателя прозвучал не слишком-то решительно. Елизавета Степановна продолжала зло щепать лучины.

Антон Иванович потоптался в телятнике, повертел в руках шапку, ушел. Ушла и Дарья Васильевна, так и не высказав своего отношения к происшедшему. Елизавета Степановна как бы онемела. Ни одним словом не ответила она на попытки Лаврентьева завязать разговор. Лаврентьев рассердился и тоже покинул телятник, отправился в лавку за папиросами.

По дороге из лавки его окликнул и зазвал к себе Карп Гурьевич — послушать, как работает приемник, привезли наконец-то новые батареи. Просидели возле зеленого глазка, потолковали. Ребятишки Карпа Гурьевича спросили агронома, как правильно пишется слово «галактика»: спор у них вышел — одно «л» или два. К стыду своему, забыл, но честно в этом признался, обещал посмотреть в словаре.

Затем, выйдя от Карпа Гурьевича, встретил других односельчан, с каждым останавливался, с каждым было о чем потолковать. Все шло как будто бы по-обычному. Но в душе у Лаврентьева копошилась глухая и вместе с тем настойчивая тревога.

Тревога была не напрасной: теленок к вечеру сдох.

Узнал об этом Лаврентьев от Аси. Столкнулись с ней в потемках возле правления.

— Петр Дементьевич! Несчастье-то какое! Мама до того плачет, прямо боюсь за нее.

— Меня винит? — спросил он, не столько думая в эту минуту о Елизавете Степановне, сколько о том — в чем же ошибка, что случилось?

— Н... нет... Почему же вас? — ответила Ася, но так ответила, что не было никакого сомнения: «Да, тебя, тебя одного», — услышал он за этим «нет» гневные слова рыдающей Елизаветы Степановны.

— Может быть, сходим к маме? Или прогонит?

— Не знаю, Петр Дементьевич. Лучше не ходите, пусть успокоится. Но вы, пожалуйста, не огорчайтесь.

— Да разве я огорчаюсь, разве это то слово! — горько улыбнулся Лаврентьев. И, не прощаясь, ушел в темноту.

Он шел домой. Встреч с людьми не желал, на телятник пойти было страшно — увидеть там стеклянные глаза загубленной им Снежинки, которая еще утром так доверчиво лизала его руку...

4

Средний советский труженик, рядовой работник своей страны, как ни мал участок, на котором ты трудишься, много забот твоих, жизни твоей, сил и волнений он требует. И разве он мал? Он кажется таким, лишь когда ты раскрываешь газету с предначертаниями очередного пятилетного плана, когда твое воображение потрясают миллионы тонн чугуна и стали, сотни тысяч комбайнов, автомашин, тракторов, бесконечные ленты текстильных изделий, которыми вдоль и поперек можно опутать земной шар, могучие гидро-

станции, лесные зеленые щиты, возникающие перед горячим суховеем Заволжья. Но когда ты уяснил свое место в армии творцов, призванных воплотить гигантский план в сталь, в бетон, в искусственные моря, в двухсотпудовые урожаи, — ты видишь, что этот маленький твой участок — вся твоя жизнь, и часто бывает — разве нет? — маленькие трудности твои кажутся тебе куда сложнее, чем задачи, стоящие перед всей страной. Это понятно. Ты привык видеть, ты давно убедился в этом, ты твердо знаешь, что как бы ни грандиозен, как бы ни велик был всенародный план, он непременно будет выполнен, потому что он именно всенародный и над выполнением его работают двести миллионов людей, у которых есть испытанный руководитель — партия.

Все это ты знаешь, все это тебе понятно, но вот ты получил участок в огромной стройке и должен действовать на нем самостоятельно. Самостоятельно — глубокий смысл в этом слове. Иной работник рад бы каждый день, каждый час бегать к начальнику, а начальник, в свою очередь, к вышестоящему начальнику, к директору, к председателю, к бригадиру — требовать указаний, указаний и указаний. Но ему скажут: «Товарищ, у вас нет никакой инициативы. Вы что — в Америке, что ли, на заводе Форда? Плохо!» И действительно — плохо. Партия учит тебя и требует от тебя быть инициативным, самостоятельным на своем участке. Даже и двести миллионов людей не в состоянии справиться с великими задачами, если каждый из них будет изо дня в день требовать друг от друга указаний, указаний и указаний. Думай, умей творчески решать задачи, учись их так решать. Учись на примере борьбы большевиков за партию, за советскую власть, за социализм, за все то завоеванное, что получил ты в наследство от старшего поколения. Учись на примере вождей твоих, мудрых и непреклонных перед трудностями.

Нет сомнения, ты понимаешь, что так должно быть, но. . . но ты еще только делаешь первый шаг в коммунизм, на тебе еще тяжкий груз пережитков прошлого — робость, неуверенность в своих силах, затаенное стрем-

ление переложить с себя ответственность на другого, а порой и просто то, что ты еще мало знаешь, мало и плохо учишься и умеешь только «от сих до сих». Вот приходит час, и ты растерялся. Тебе нужна помощь.

Что же случилось с ним, с Лаврентьевым? Да, пришел час, и ему нужна помощь. К кому пойти, куда поехать?

Лаврентьев сидел за столом, уронив голову на локоть. Он переменил неудобное положение, лишь когда услышал стук в дверь. По манере стучать — косточкой согнутого пальца — узнал Ирину Аркадьевну.

Ирина Аркадьевна присела к столу напротив.

— Не буду вам говорить всяческих этих: «Ну полно! Да стоит ли? Какой-то теленок». Но и минорного настроения поддерживать не намерена.

— И вы уже знаете?..

— Не буду на вас сейчас обижаться. — Пронина выпрямилась на стуле. — Однако прошу, Петр Дементьевич, запомнить на будущее: о нашем колхозе я знаю все. — Она сделала энергичное ударение на словах «нашем» и «все». — Да, все. Не записывайте меня в разряд старых салопниц. Я не такая. Вы вот покинули меня в моей радости: жду, жду — не идете. Катюша удивлена — столько хорошего она читала о вас в моих письмах, а вы... Ну, это к слову. Не с мечом пришла — с дружбой. Идемте к нам. Катюша споет, сыграет. Поболтаем, чайку выпьем.

— Извините, не могу, Ирина Аркадьевна, не то настроение. Тоску наведу.

Помолчали. Лаврентьев видел, что Ирина Аркадьевна нервничала. А почему нервничала — понять не мог. Неужели только из-за того, что он не идет смотреть Катю?

— Нет! — Ирина Аркадьевна щелчком отбросила на столе спичечный коробок. — Я с вами, Петр Дементьевич, должна поговорить, серьезно поговорить. Если никого видеть не хотите, устроим чай здесь и посидим вдвоем, побеседуем. Не возражаете?

Она принесла чайник, вазочку с вареньем.

— Зашел разговор обо мне, позвольте его и продолжить, — говорила она, размешивая варенье в чаш-

ке. — Можно? Хорошо. Когда-то очень давно, неподалеку от нашего Воскресенского, на хуторе жила девочка лет одиннадцати-двенадцати и ее брат, годами шестью старше сестры. Брат унаследовал от отца страстную любовь к пчелам и все тайны пасечного дела. Вы догадываетесь, конечно, что я говорю о себе и Дмитрии Антроповиче. Он служил у бывшего владельца этого дома, немца Иоганна Иоганновича Шредера. Я вела домашнее хозяйство. Мать и отец у нас погибли во время паводка, переезжая на лодке реку. Лодка опрокинулась, и спасти их не успели, закрутило в стремнинах. В моем хозяйстве была коза, несколько кур, огородик, в огородике брат держал парочку ульев. Брат целый день в имении, времени свободного у меня много, и я пристрастилась к чтению, брала книги у дочери местного священника. Но какие книги могли быть у поповны! Вокруг меня от этого чтения возникал сентиментальный мирок. Я не жила, а играла в жизнь, в ту самую, которую вычитала из книг.

Лаврентьев внимательно слушал. Рассказ Ирины Аркадьевны уносил его в давние, неведомые ему времена.

— И вот однажды, — продолжала Пронина, — мирок рассыпался. Произошло нечто для меня ужасное. Помещик на взмыленном жеребце зачем-то подскакал к пасеке. Пчелы не любят конского пота, они тысячами накинулись на лошадь, и та буквально через несколько часов околела. Это была любимая лошадь Шредера, он заплатил за нее сумасшедшие деньги. Прямо с конюшни барон прибежал на пасеку и бил, хлестал, топтал моего брата до тех пор, пока сам не свалился в изнеможении. Представьте состояние девочки: брата стегают по лицу, плюют ему в глаза, — он молчит, только отстраняется. Я же все это видела, я как раз в тот день пришла его навестить!..

Я возненавидела помещика, но и к брату потеряла всякое уважение. «Ты трус, — сказала я ему с девчоночьей жестокостью. — Слизняк!» Я не могла больше оставаться под одной кровлей с ним. Я убежала из дому, правдами и неправдами добралась до Петербурга. Там в кухарках у какого-то крупного чиновника

жила моя тетка. Она быстро сбыла меня с рук — в услужение близкой к семье этого чиновника столичной актрисе. Актриса, Мария Мироновна, пела в Мариинском театре. За ее голос я боготворила Марию Мироновну, на мое обожание и она отвечала добром, терпеливо учила меня нотам, азам фортепианной музыки, говорила, что и у меня хорошие вокальные данные, грубоваты только, к сожалению. Я тоже возмечтала выйти когда-нибудь на оперную сцену, и в наши времена, кто знает, и вышла бы, непременно вышла бы, но тогда...

Рассказчица умолкла на минуту.

— Да, — тряхнула она головой. — Не буду злоупотреблять вашим вниманием. Короче говоря, нечего было и думать о том, чтобы такой недоучке, как я, соваться на большую сцену. Все, что мне удалось, — через год или два подписать контракт с одним провинциальным антрепренером — содержателем маленькой оперной труппы. Где мы только не кочевали! Тамбов, Козлов, Самара, Елабуга... Поначалу я все еще думала, что служу настоящему искусству, верила в свое будущее. Несколько раз я пела «Кармен» и требовала, чтобы мне дали спеть Ольгу в «Онегине»... Нет, «Онегин» был неходкий товар у самарских торговцев рыбой... В один прекрасный день я все поняла про себя и про свою судьбу. Но что ж оставалось делать? Мелькали новые города: Ростов, Минеральные Воды, Одесса, Ялта... Я выступала в ресторанах, успех мой ширился, известность росла. Сумасшедшая была жизнь. Я уже и не вспоминала об «Онегине», куда там! Я потеряла подлинное свое имя, отчество, фамилию... Мария Мироновна писала мне изредка: «Оплакиваю вас, дитя мое, молюсь за вашу душу». Она вправе была тревожиться о моей душе, — в каких только компаниях я не перебывала к восемнадцати своим годам... Началась война, меня потянуло на поприще милосердного служения ближнему, как тогда говорили. Вы догадываетесь, что это значит? — пошла в сестры милосердия, не на фронт, правда, а в тыловые лазареты.

Ирина Аркадьевна рассказывала о том, как позна-

комилась в лазарете с дочерью одного полковника, как затем вошла в эту семью и как случайно в дни наступления Юденича на Петроград помогла чекистам раскрыть офицерский заговор.

При ликвидации гнезда заговорщиков она встретила молодого чекиста Виктора Лобанова.

Улыбка скользнула по лицу Ирины Аркадьевны при упоминании этого имени.

— Я взглянула в его преднамеренно суровые глаза. — Она прикрыла лицо ладонью. — Может быть, вам это знакомо, Петр Дементьевич? Взглянула и почувствовала, в одну секунду, в сотую долю секунды почувствовала, что это тот, кому я отдам свое сердце.

Встреча с Лобановым предопределила всю дальнейшую судьбу Ирины Аркадьевны. Она вместе с ним попала в Седьмую армию, участвовала в агитбригадах, выступала перед красноармейцами, и на подмостках — в Гатчине, Луге, Ямбурге, Пскове, и без подмостков — прямо в лесу; были ночные переходы, были борьба, удачи, неудачи, наступления, недели в окопах под дождем и снегом...

Ирина Аркадьевна рассказывала, и Лаврентьев видел по ее рассказу, как шаг за шагом менялось сознание юной певицы, как она становилась иным человеком.

— Лобанов, мой Виктор, не жил, а кипел, клокотал весь. «Увидишь, какая будет жизнь. Увидишь! — повторял он мне. — Только потерпи, вот разобьем гадов...» С ним этой жизни я не дождалась. В самом конце гражданской войны, буквально в последние ее дни, он погиб в Карелии, в бою с белофиннами. Через несколько месяцев родилась его дочь, наша Катюша. Жить было очень трудно. Я поехала сюда, в родные места, к брату. Думала, что временно, оказалось — навсегда. — Ирина Аркадьевна вздохнула. — Но не жалею, хотя и грущу порой о тех осенних днях, когда встретила Катиного отца, — его портрет вы у меня видели. Стараюсь быть полезной людям, учу ребятишек. С братом живем мирно. Хотя и трудный у него характер, все держит в себе. Но трусом, знаете, он не был. В шестнадцатом году летом он оказался одним из вожаков стихийного

восстания здешних крестьян. Сжег барские конюшни, разорил пчельник, на который потратил столько труда, и сам Шредер с женой и сыном едва вырвались из его рук...

Нетронутыми остались чашки с холодным чаем. Ирина Аркадьевна ушла. Лаврентьев шагал по комнате — из угла в угол, из угла в угол, — и от ритмичных медленных шагов позванивало оконное стекло... В мыслях у него смешались и рассказ Ирины Аркадьевны о ее необычной судьбе, и гибель Снежинки, и досада на собственное невежество в вопросах животноводства.

5

Если гора не идет к Магомету, Магомет идет к горе. Лаврентьев всегда путал эту пословицу, ему казалось, что до́лжно говорить наоборот. В том весь и смысл. Он вспомнил старую пословицу, и в таком именно путаном виде, когда наутро увидел Катю. Катя возилась с лыжами среди двора. Заслышав морозный скрип крыльца под его ногами, она обернулась и пошла навстречу к нему.

Кругом, как оленьи рога, стояли яблони, они казались отлитыми из фарфора — так густо облепил их голубоватый иней. В безветренной тиши прозрачными голосами перекликались снегирь со снегирихой, тенькала синица, в репейниках дрались щеглы, сыпали свою болтливую скороговорку сороки. Промчался по нетронутому снегу полевой мышонок, и позади него, как за иглой швейной машины, осталась на белейшем полотне извилистая строчка. Стучал на елке дятел.

Каждое время года имеет свое, ему лишь одному присущее очарование. Не только лето, пора плодоношения, и не одна весна, овеянная ароматами проснувшейся земли, но подчас и не слишком-то приветливая осень, когда тянет приткнуться к натопленной печи, присесть возле нее с раскрытой книжкой, — даже и зима, с морозами, снегами, вьюгами, близка нам и понятна, любима русским человеком.

Лаврентьев любил зиму за чистый блеск снегов, за

тишину, за тот румянец, какого не увидишь летом на щеках людей, за бодрость в теле, не истомленном зноем, за радость, вызываемую солнцем — не частым гостем в январском небе. Но в этот раз, после затянувшихся ночных раздумий, он даже и внимания не обратил на окружавшее его великолепие.

— Здравствуйте! — сказала ему Катя низким, как у Ирины Аркадьевны, голосом. — Я приглашаю вас пройтись на лыжах. Говорят, вы неутомимый ходок.

— Неутомимый — преувеличение. Но люблю это дело и немножко умею.

Катины волосы, ресницы и брови облепил иней, лицо дышало здоровьем, глаза блестели, что никак не вязалось с рассказами Ирины Аркадьевны о болезненной, хрупкой, слабогрудой и чуть ли не золотушной девочке, да к тому же и возрастом девочка отстала от него разве на год, на два.

— Принимаете приглашение?

— Пожалуй, да.

Сколько-нибудь срочных дел у Лаврентьева на это утро не было, он вынес лыжи, найденные ему ребятишками Карпа Гурьевича в ельнике за куропачьими стогами, и вдвоем с Катей они отправились к лесу. Куда от Воскресенского ни иди — все будет к лесу. Лес лежал вокруг села — в пяти-шестикилометровом радиусе, он рос в этом краю на огромных пространствах, расступался только возле редких селений, вырубленный когда-то под пашню. Разница заключалась лишь в том, что за рекой, за луговыми поймами лес был могучий — столетние мачтовые сосны и ели, а здесь, на правобережье — как ни странно, более возвышенном, — за пахотными полями тянулись и тянулись бескрайние чахлые ольшаники, путаные, бездорожные и болотистые, в которых летом нередко терялся скот. Как далеко они тянулись — неведомо, карту области Лаврентьеву видеть еще не приходилось; колхозники говорили, что где-то за ольшаниками течет река Кудесна; Волгой ее не назовешь, но она куда полноводней, чем их воскресенская Лопать.

До леса по насту, присыпанному мягким снежком, бежали быстро, полным ходом, дыхания для разгово-

ров не оставалось. Но когда, ступая в след друг другу, пошли зигзагами вдоль опушки, Катя, не оборачиваясь, заговорила.

— Люблю, Петр Дементьевич, деревню, люблю и в то же время немножко побаиваюсь.

— Почему же?

— Ну, все-таки условия не те, что в городе. А придется работать. В деревню, конечно, пошлют. Последние полгода стажировки — и вот я здесь, у вас, здравствуйте! Мама настаивает, чтобы именно сюда я просилась. Может быть, не в Воскресенское, так хотя бы поблизости. Но мне хотелось бы в какие-нибудь новые места. Да и не разрешат, думаю, сюда.

— Не вижу причин не разрешить.

— Тогда буду вас лечить. Боитесь?

— Я — нет.

— А я — да.

— Чего?

— Говорю же вам — самостоятельности.

Лаврентьев оттолкнулся палками, догнал Катю, пошел рядом с нею.

— Но самостоятельность, Екатерина Викторовна, одинаково нужна и в деревне и в городе. В чем же, не понимаю, различие?

— Во-первых, в городе в случае затруднения есть с кем проконсультироваться и попросить помощи. Во-вторых, деревню надо знать, людей деревни, их обычаи, психологию...

— Ну, это уже чепуха начинается! — прервал ее Лаврентьев. — Абсолютная чепуха. Со своими высказываниями вы страшно опоздали. Вы говорите о деревне Глеба Успенского, Бунина, о дореволюционной, или, в крайнем случае, о деревне до коллективизации, но только не о современной. Возьмите Антона Ивановича, мать и дочь Звонких, Карпа Гурьевича — вы знаете их всех, конечно, — возьмите Дарью Васильевну, кого угодно, — в чем отличие их психологии от психологии жителя города? В чем, прошу вас? .. Молчите? То-то. Я, откровенно признаюсь, его не нахожу. Дело не в городском платье, в которое теперь оделся крестьянин. Дело глубже и серьезней. Дело в том, что крестьянин

стал не тот. Мне даже не выговорить: крестьянка Ася Звонкая, крестьянин Антон Иванович Сурков. Стареет это слово, и даже новое слово «колхозник» в приложении к таким людям уже хотелось бы заменить другим, не в смысле благозвучия — оно и так в силу заслуг наших колхозников перед государством звучит отлично, — а в смысле точности.

— Вы, однако, загибщик! — улыбнулась Катя. Разговор ей нравился.

— Нет, не загибщик. Жизнь идет вперед, и общественные отношения развиваются. Назовите мне сегодняшнюю разницу, прошу вас, между рабочим Уралмаша и колхозником кубанской, к примеру, станицы? .. Хотя тут я, пожалуй, слегка подзагнул, вы можете меня побить разницей между социалистическим и последовательно-социалистическим предприятием. Будем рассуждать проще. Более двадцати лет прошло с начала коллективизации, за четверть века очень многое переменилось. И главное, переменилось отношение крестьянина к земле. Тридцать лет назад, конечно, уже не было смертоубийства на меже, но крестьянин еще ходил за землемером: как бы тот не ошибся на полметра, нарезая ему поле. В земле средний крестьянин видел источник накопления, наживы, он стремился этот источник расширять, увеличивать. Деревенский труженик дрался за дело революции вместе с тружениками города, это так, но когда он выходил на свой клочок земли, он жил только своими узко личными интересами. Элементарно, не так ли? Что сейчас для колхозника земля? В значительной степени то же, что и для рабочего завод. Да, завод. Точка приложения труда на благо коллектива, на благо народа, поле для широкого творчества, на этом поле ныне взрастают герои — герои не какого-либо, а социалистического труда. Социалистического, имейте в виду. Ну вот, по глазам вижу, что теперь вы со мной согласны, Екатерина Викторовна.

— Убедительно. — Катя на ходу смахнула с лица заиндевевшую прядь волос. — Но это социальная сторона дела, главнейшая, правда, важнейшая сторона...

А вот еще — нельзя ее скинуть со счетов — и внешняя сторона: быт.

— Отвечать даже не хочется. Сторона эта ваша чисто временная. Времени требует — и больше ничего. Что вы имеете в виду? Электричество? Канализацию? Не пойму. Не берите за эталон наше Воскресенское. Для того чтобы увидеть правильность избранного пути, всегда надо брать передовое — и по нему судить о нашем завтрашнем дне. Поискать — найдете колхоз с театром, о кино говорить не приходится. Поискать — найдете колхоз с филиалом научно-исследовательского института, колхоз с кандидатом сельскохозяйственных или биологических наук во главе.

— Да, — помолчав, продолжал Лаврентьев, — да, Екатерина Викторовна, деревня изменилась в корне. Тому, прежнему крестьянину, с его двух-трехгектарной полоской, — зачем ему нужна была машина? А теперь колхозник, попробуй МТС обделить его трактором или комбайном, скандал какой учинит! С машиной пришли новые профессии: трактористы, комбайнеры, механики, электротехники — кто угодно. Пришла интеллигенция, и своя выросла. Я, например, крестьянин и, возможно, если бы не коллективизация, сейчас пахал бы плугом землю на своем индивидуальном поле.

— И я, возможно, жала бы овес, — рассмеялась Катя.

— Вы — вряд ли, вы с Ириной Аркадьевной давно оторвались от овса, — в тон ей ответил Лаврентьев.

— А дядя Митя до самой коллективизации имел землю, пчел держал.

— Значит, не овес бы вам пришлось жать, а вертеть ручку медогонки и с медом на базар ездить. Но это шуточки, мы говорили о серьезном. Скажем, наука. Сельское хозяйство без нее уже не мыслится. Вы говорили о трудностях работы специалиста в деревне. Отчасти вынужден и я с вами согласиться. Трудно, да. Но чем трудно? Многое из того, что я знаю, знают и колхозники, вот беда! Яровизация? Знают и умеют ее проводить по всем правилам науки. Использование минеральных туков? Знают. Правильно обработать

почву? Обойдутся и без меня. Организация труда, расстановка людей? Есть свои прекрасные организаторы. Что же остается на мою долю? Сводки для районных организаций составлять? Счетовод щелкает их как семечки.

— Неправы, неправы, Петр Дементьевич! — Катя замахала на него варежкой. — Все, о чем вы говорите, агроном должен обобщать, превращать в единую стройную систему борьбы за урожай. Вот его место — главный инженер!

— Туманно.

— Ничего не туманно. Я, например, не только лечить буду, я буду внедрять профилактику, гигиену, заниматься санитарным просвещением. Я добьюсь, чтобы исчезли тараканы, клопы, я...

— Козе хвост оторву?

— Да, да, и оторву!

Катя говорила запальчиво. Своей запальчивостью она нравилась Лаврентьеву.

— Рвите, — сказал он, — рвите все хвосты, действуйте, благословляю. У вас, уверен, получится. Через двадцать лет мы встретимся на асфальтированной улице Воскресенского, когда гектар здешней земли будет родить по десять тонн пшеницы.

— Через двадцать лет! Утешили. Мы к тому времени будем...

— Далеко не стариками, не преувеличивайте. Сорок восемь, пятьдесят лет — не старость. Так вот, повторяю, встретимся, присядем на скамейке под каштанами — не исключено, что возле фонтана, — и поговорим, вспомним наш разговор. За двадцать лет такое произойдет!.. Предоставляю вам дальше додумывать самой. Ирина Аркадьевна говорит, что вы мечтательница и фантазерка.

— Это она фантазерка, а не я. Она меня такой придумала. Видит во мне моего отца. Она его очень любила. Она и сейчас его любит, через столько лет!.. Теперь такой любви не бывает.

— Екатерина Викторовна! — Лаврентьев посмотрел на нее с укором. — Не могу верить, что слышу это от вас. Вы повторяете чужие пошлости.

— Да, не бывает, не бывает! Вот! — упрямо настаивала Катя.

Лаврентьев вновь взглянул на нее. «Может быть, — подумал он, — любовь обошла ее стороной, обделила; так о любви ли с ней спорить?»

Обратно они шли медленно, молча, шли иной дорогой, по полям, изъезженным полозьями саней, меж конусами черных удобрений. Возле села, подхлестывая лошадь, их нагнал Павел Дрёмов. Он стоял в санях, измазанных навозом, у ног его лежали вилы.

— Товарищ Лаврентьев! — Павел придержал вожжи, поровнялся. — Что скажу... Давно хотел. Не занятие это мне.

— Что? Навоз возить?

— Вообще возчицкое дело. Антон говорит — народу мало. Где мало! И подростки есть, и дедов наберется... Не моя специальность. По специальности бы, а?

— Какая у вас специальность?

— По ремонту танков в походной мастерской работал.

— Слесарь? Токарь?

— Не совсем. Подсобник, но... — Почувствовав, что Лаврентьев может ему возразить: какая же это специальность, Павел поспешил объясниться: — За три года к моторам пригляделся, к инструменту. Маракую.

— Моторов у нас нет, в кузнице штат полон. Понадобится ваша специальность — вспомним.

— Так, значит, и ворочать мне вилами?

— Ворочать. Народу мало, Антон Иванович правду сказал. Кто этим заниматься будет? — Лаврентьев обвел рукой, указывая на поля. — Так рассуждать: специальность — никого и для полевых работ не сыщешь. Один — кузнец, другой — столяр, третий — веревки вить мастер, четвертый — лодки строить, пятый, двенадцатый — еще что-нибудь, даже Савельич, говорят, старый шорник. А навоз лежи на скотном?

— По науке, можно бы и конвейер какой соорудить, подавать его сюда, навоз этот. — Павел заметно злился.

— Со временем и конвейер будет. А пока — вот

так, возить надо, на саночках. Проекты строй, мечтай, но дело свое делай.

— Возьму и брошу, в леспромхоз уйду.

— Посмотрим.

Катя держалась в отдалении. Ее удивила перемена, происшедшая в Лаврентьеве. Только что сам мечтал, фантазировал, заглядывал вперед, в будущее, — и вдруг в одну минуту стал непреклонным, даже губы сжал и напряг скулы, резко осаживает колхозника, который, в сущности, прав, по ее мнению — безусловно прав, добиваясь работы по душе.

Когда разгоряченный Павел хлестнул вожжами лошадь и умчался к селу, она высказала это свое мнение.

— По душе — понятие растяжимое, — ответил Лаврентьев. — Я почти год работал в областном земельном управлении плановиком, это мне было не по душе — сводки, планы, ведомости... Жизни не видишь, в колхозы не пускают... Предлагали пойти на опытную сельскохозяйственную станцию. Научная работа... Диссертация... Ученая степень... По душе, и очень. Отказался, пошел сюда, потому что знал: здесь я нужен, здесь меня ждут.

— Что ж, — помолчав, сделала заключение Катя, — вы коммунист, вам так и полагается.

— Павел тоже кандидат в члены партии.

— Суровая она, партия, слишком суровая.

— В нее вступают добровольно. И тогда вступали добровольно, когда за одну только принадлежность к ней можно было попасть в тюрьму, в ссылку, даже на виселицу. Это вам не навоз возить, Екатерина Викторовна!

Встреча с Катей, разговор с ней были Лаврентьеву на пользу. То, о чем он говорил сегодня, давно жило в его мозгу, но жило само собой, в виде разрозненных, воедино не сведенных понятий, представлений и примеров, никак не приложимых к решению практических задач. Необходимость высказать свои мысли, доказывать свою правоту помогла ему яснее разобраться в отрывочных представлениях о социальных процессах, происходящих в деревне, объяснить теоретически явления практики.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

О том, что он едет в город, Лаврентьев предупредил и Антона Ивановича и Дарью Васильевну, но истинной цели поездки не открыл; сказал просто, что поедет в отдел сельского хозяйства — мало ли текущих вопросов у агронома. Сказать в райком — пойдут расспросы, — в партийный штаб района попусту не ездят.

Колхозная машина ходила в город не часто — за жмыхами для скота. Специально брать подводу — слишком накладно. Лаврентьев созвонился с совхозом, узнал, когда оттуда поедут с молоком, и в условленный час вышел на дорогу. Воскресенского агронома в совхозе уже знали, директор распорядился, чтобы его взяли в кабину. Но Лаврентьев предпочел ехать в кузове вместе с бидонами, покрытыми кляксами замерзшего молока. Он сел на запасную покрышку, прижавшись спиной к кабине, и смотрел, как убегают назад к Воскресенскому дымные от инея придорожные ольхи и рябины, как искрится на ветвях изморозь под январским солнцем, как падают с елок, пылью рассыпаясь в воздухе, снежные пласты, потревоженные движением машины, — смотрел и продумывал предстоящий разговор. Разговор будет острым. Всякий разговор должен быть острым, — вялых, плоских, шаблонных разговоров лучше и не вести, напрасная трата времени. Он скажет, что приехал в Воскресенское для того, чтобы бороться за высокую агротехнику, а высокая агротехника возможна и эффективна лишь в том случае, когда для нее есть надлежащий фон. В Воскресенском этот фон ослаблен заболоченностью, закисленностью почв. Следовательно, нужны коренные меры. Какие? Это ясно — мелиорация. Но мелиоративные работы требуют капитальных затрат, и к тому же неизвестно, дадут ли они должные результаты. Из документов, из рассказов колхозников явствует, что еще за семь лет до войны мелиоративные меры в Воскресенском принимались. Однако, как установил Лаврентьев, вся мелиоративная сеть вышла из строя в тот

же сезон, когда и была создана. Через год-два она исчезла бесследно, забитая песком, илом, плывунами, и подпочвенные воды, не успев даже уйти в недосягаемые для плуга горизонты, снова выступили на поверхность полей. Не повторится ли это вновь, не заставит ли он, Лаврентьев, истратить колхозные средства впустую? Да и вообще откуда взять средства? Пусть над этим задумается и секретарь райкома. Может быть, секретарю райкома известно больше, чем известно колхозникам; может быть, в прошлом мелиораторами была допущена какая-нибудь ошибка.

Двадцать один километр плотной зимней дороги для хорошей машины — пустяк. Через тридцать-сорок минут Лаврентьев выскочил из кузова возле районного Дома Советов, над которым дни и ночи вился на высоком древке алый государственный флаг. Прочитав на двери над табличками «Исполнительный комитет Районного Совета Депутатов Трудящихся» и «Районный комитет Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков)» объявление: «Сегодня вход со двора», написанное фиолетовыми чернилами, Лаврентьев прошел во двор и по крутой деревянной лестнице поднялся на второй этаж. Его удивили безлюдье и тишина во дворе, на лестнице, в коридорах, за плотно прикрытыми дверями рабочих комнат. В приемной секретаря райкома за столом сидел человек с богатейшей черной шевелюрой.

— Товарища Карабанова? Нету, в районе. И вообще райком по воскресеньям выходной. Один дежурный, то есть — я.

Воскресенье... Как упустил это из виду Лаврентьев! В колхозе не очень подчинялись велениям официального календаря, больше глядели на календарь природы.

— Вот беда. — Он присел на стул возле окошка. — Из Воскресенского приехал.

— Второй секретарь в городе. Можно на квартиру сходить, — посочувствовал дежурный. — Вот телефон, позвоните ему.

— Да нет, — отказался Лаврентьев. — Мне товарищ Карабанов нужен, лично.

Почему только Карабанов и никто другой — Лаврентьев сам не знал; может быть, потому, что с Карабановым он уже познакомился, когда прибыл в район, и запомнил его фразу: «Время не воробей, упустил — не поймаешь». А второй секретарь. . . как-то еще встретит! Начинай все сначала, знакомься, рассказывай о себе. Лаврентьев же был туговат на новые знакомства, легко, как иным, они ему не давались.

— Лично так лично, — согласился дежурный, — пару деньков придется тогда обождать. Никита Андреевич как закатится в колхозы, так на недельку, не меньше.

Лаврентьев огорчился. «Не повидаться ли с Серошевским? — подумал он. — А то получается неладно: друг друга не знаем, не общаемся». И в самом деле, осенью главный агроном произнес свое напутственное слово Лаврентьеву, сдвигая на столе пальцы, показывал сложную в этих местах линию бывшего фронта, потом два-три телефонных разговора о сводках — и все общение.

Спросил, как найти Серошевского, поблагодарил, попрощался и вышел на улицу. Главный агроном жил на самой окраине городка. Через ветви окружавшего дом большого сада было видно, что за садом начинается поле. На калитке поблескивала медная дощечка: «Серошевский Сергей Павлович». Пониже, на куске фанеры выведено красным: «Во дворе собака». Звонка не было, Лаврентьев постучал в задребезжавшие доски. В доме не откликнулись, только залаяла зло собака, таская по проволоке железное кольцо и гремя цепью. Обождал, постучал сильнее, а затем — и вовсе не стесняясь.

— Кого надо?

Он поднялся на носки, увидел поверх калитки старуху на крыльце.

— На одну минутку, бабушка!

Старуха зашаркала валенками; подойдя к калитке, снова спросила:

— Кого надо?

— Сергея Павловича.

Валенки удалялись. Было слышно ворчание насчет

того, что и в воскресный день не дают человеку покоя, носит их нелегкая, сидели бы дома, делом занимались. Хлопнула дверь, потом снова скрипнула, отворяясь, и снова вопрос за калиткой:

— А как сказать-то?

Калитка на этот раз приоткрылась. На старухе был ватный капот, валенки обрезаны наподобие глубоких галош; взгляд угрюмый, бесцветный.

— Лаврентьев, скажите. Агроном из Воскресенского.

— Дело-то спешное, или терпит?

— И не спешное, и не терпит. Что это у вас строгости какие? К английскому королю легче попасть.

— А ты бывал у него, у короля-то?

— Бывал, — грубо ответил Лаврентьев. — Давайте, бабуня, докладывайте хозяину. Окоченею с вами торговаться.

— Прыткий!

Опять скрипела, хлопала дверь, брехал пес, тянулось время. Наконец к воротам подошел сам Серошевский.

— Товарищ Лаврентьев! Какая приятная встреча! Прошу прощения, мамаша у нас что аргус — недремлющее око. Воскресенье для нее священный день. Как ни борюсь против этого, ко мне никого не пускает по делу. В гости — пожалуйста, по делу — ни за что. Не догляди — бог знает чего натворит с такой политикой.

Серошевский вел Лаврентьева под руку по дорожке, расчищенной от снега и присыпанной желтым песком.

— Вот наша скромная, провинциальная жизнь, — продолжал говорить он, вводя гостя в свой кабинет. По столу были раскиданы коробки с табаком и гильзами; табачные крошки рассыпаны на бумагах, на книгах; табак заложен в машинку, — видимо, хозяин только что прервал располагающее к философическому созерцанию мира занятие — домашнее производство папирос.

— Прошу! — предложил он готовую папиросу Лаврентьеву, взяв ее большим и безымянным пальцами, осторожно, бережно, как нечто весьма ценное. — И рекомендую. Избегайте примесей, которые всегда есть

в фабричных папиросах. Да и выгодно. Гильзы — два рубля двести пятьдесят штук, табак — сто грамм — тринадцать рублей. Считайте сами... А качество — высший сорт номер три. Простая арифметика. Садитесь вот сюда, в кресло. Старое, дедовское кресло. Уютно, мягко...

Лаврентьев закурил и не сказал, а только подумал, что табачок в домодельной папиросе вряд ли тринадцатирублевый, высший сорт номер три. Отдавал он мочалкой.

Серошевский тоже закурил. Он держал папиросу, далеко отставив мизинец.

Оба молчали. Лаврентьев через пласты дыма разглядывал хозяина. Был тот близорук, щурился за овальными стеклами очков; лицо сморщенное, маленький подбородочек. Как-то странно дергал он краем верхней губы, отчего вместе со щекой все время ползал в сторону и его бесформенный носик. На губах бродила улыбка, схожая с гримасой, и нельзя было понять, что за этой гримасой скрывалось.

— Очень рад, что навестили, — сказал Серошевский вялым голосом. — Сам к вам собирался. Да разве вырвешься! Дела... дела... Как в колхозе? Как вас приняли? Как устроились?

Лаврентьев принялся подробно рассказывать, выкладывал свои сомнения, говорил горячо, требовательно, откровенно, как делал бы это и перед секретарем райкома, встреча с которым, к сожалению, не состоялась. Увлекся, не сомневаясь, что то, о чем он говорит, должно увлекать и главного агронома.

— Да, да, трудно, понимаю... — односложно отвечал Серошевский.

— Но что же делать, что делать, Сергей Павлович? Я ведь к вам пришел как к главному агроному.

— Что делать? Быть поспокойней, товарищ Лаврентьев, не так близко принимать к сердцу каждую мелочь.

— Какие же это мелочи? — Лаврентьев начинал горячиться. — Падёж телят, низкие удои, недороды...

— Да, это, увы, так. Но я лично вашей работой доволен. Претензий к вам не имею.

— Зато я имею! И вообще работы еще никакой нет. Чем вы можете быть довольны?

— Полно, полно, дорогой мой! Не надо волноваться. Взгляните на меня. Я восемнадцать лет в сельском хозяйстве, восемнадцать лет агрономом. Вначале, может быть, как и вы, шумел по всякому поводу. С годами пришел опыт, сознание того, что стену лбом не прошибешь. Надо ждать.

— Чего ждать?

— Пока наука достигнет такого уровня, когда...

— У нас наука очень высоко поднялась, — нетерпеливо перебил Лаврентьев.

— Это еще как сказать. Ведь какие бы величественные слова ни говорили с кафедр Сельскохозяйственной академии, а природа есть природа. Десять процентов зависит от человека, девяносто — от стихий. Природу переделать — смелая мечта. Мечту от ее осуществления нередко отделяют не только годы — целые столетия, эпохи. О ковре-самолете мечтали задолго до нашей эры, осуществили ее только меньше чем полвека назад. Вы не женаты?

— Нет. Какое отношение...

— Прямое. Когда женитесь, поймете, что главное совсем не в том, чтобы, как я уже сказал, биться в стену лбами. Помните у Горация: «Глубокие реки плавно текут, премудрые люди тихо живут»?

— Это не у Горация, а у Пушкина. И сам Пушкин жил отнюдь не тихо.

Серошевский, казалось, нисколько не смутился от того, что Лаврентьев его поправил.

— Не тихо? Да, не тихо. Пушкин — гений, ему по штату положено греметь на весь мир.

— Не понимаю такой философии. — Лаврентьев без приглашения взял еще папиросу.

— Не понимаете? Это от молодости, — благодушно сказал Серошевский. — В молодости мы все сверхэнтузиасты. Идут года, и ценности переоцениваются. Надо работать честно — да, надо быть исполнительным, аккуратным — кто же отрицать это будет! Но стараться прыгнуть выше своей головы...

Лаврентьев слушал пространную речь о философии

жизни — дрянненькую философию, удивляясь тому, с какой привычной легкостью Серошевский пересыпает свои разглагольствования словами «народ», «долг» и в особенности часто — «государство». При этом он думал о том, как тоскливо, наверно, жене и детям жить с этим человеком, подлинную натуру которого он уже начинал угадывать.

Но он ошибался. Жена Серошевского была под стать мужу, расчетливая, мелкая в своих побуждениях женщина. Она преждевременно состарилась, и уже к пятому десятку из-за бесконечных и однообразных забот стала похожей на старуху. У нее была корова, были свиньи, овцы, множество кур, обширнейшие огород и сад, которые давали гору картофеля, огурцов, яблок, ягод. Все это сначала надо было вырастить, а затем сбывать, сбывать и сбывать, — и сбывать хотя бы на полтинник, на двадцать копеек, на пятак дороже, чем сбывают другие. Надо было ездить на базар в соседний район — на своем базаре цены казались невозможно низкими, а то и в областной центр. Значит — пересаживаться с поезда на поезд, ночевать на вокзалах, таскать пудовые багажи, ругаться с билетными контролерами, то превращаясь в тигрицу, то в убитую горем престарелую мать инвалида, героя Отечественной войны.

Лаврентьев так и остался при полной уверенности, что неряшливая старуха, которая морозила его у калитки, — мать Серошевского, тем более что Серошевский называл жену не иначе как мамашей. Он с ней жил — не тужил. Всем был всегда обеспечен, в сундуке и на трех сберегательных счетах, один из которых находился в соседнем районе, другой в областном центре, прикапливались должные суммы «на черный день». Жене такой муж тоже не мешал — почтенный, уважаемый в районе человек, главный агроном, депутат районного Совета.

Жене, словом, нисколько не было ни тоскливо, ни трудно со своим мужем. А детям с отцом? С детьми Серошевский был нежен, много с ними занимался; когда они были маленькими, ходил с ними на лыжах, возил на санках, летом вел в лес по грибы, в поля

за цветами. Что еще нужно детям от отца? Маленькие, они его любили; подрастая, оканчивая школу, уезжали в техникумы, в институты, уходили в самостоятельную жизнь, так и не проникнув, не заглянув в душу отца. Яблочко от яблоньки укатывается далеко, когда яблонька растет на крутых косогорах истории.

Нет, жене не было тоскливо с Сергеем Павловичем Серошевским. Затосковал зато, сидя с ним в кабинете, Лаврентьев, и пожалел о том, что пришел сюда, к этой глухой калитке, что так глупо и доверчиво выложил все, что у него накопилось на душе.

— Мы по-разному мыслим, — сказал он. — Я знаю энтузиастов и мечтателей не двадцати, а шестидесяти лет. В Воскресенском у нас есть столяр, Карп Гурьевич, может быть слыхали?

— Как же! Большой чудак.

— Он не чудак, а человек государственного мышления.

— А, чепуха эти многомудрые деды! — перебил, мелко, по-мышиному дергая губой и носом, Серошевский. — Там, к вашему сведению, есть и другой, еще постарше дед. Он мне однажды задал на собрании вопрос: «А почему, извиняюсь, в Америке автомобиль дешевле, чем у нас кобыла?» Вот это энтузиаст так энтузиаст!

— Савельич, конечно, — усмехнулся Лаврентьев.

— Да, Савельич, — подтвердил Серошевский. — Откуда вы знаете?

— Догадываюсь. И как вы ему ответили? — Лаврентьев чувствовал, что подобный вопрос о ценах на кобыл и автомобили занимает не только Савельича, но и самого Серошевского.

— Как? Да никак. Пожал плечами, посмеялся. Что можно ответить еще?

— Как — что! Да что, например, кобыла кобыле и автомобиль автомобилю рознь. Что у нас, в Советском Союзе, есть кобылы таких кровей, таких качеств, такой красоты, за которых — за одну — сто американских автомобилей отдашь, и то не полная цена будет. И есть такие автомобили... «ЗИС-110» вам приходилось видеть?

— Предположим, да, приходилось. Что же из этого?

— То, что наш «ЗИС» сто американских кобыл перетянет по ценности. Вот хотя бы как надо было ответить для краткости.

— Упустил, — иронически-виновато усмехнулся Серошевский. — Да, упустил. Каюсь. А вы, гляжу, в духе современности об Америке судите. Все американское — к чертям бабушкиным?

— Не все американское, а то, что порождено американским империализмом, — хмуро возразил Лаврентьев. — Вы разве иначе думаете?

В его голосе, должно быть, послышались такие суровые нотки, что Серошевский побледнел, снял очки — вернее, не снял, а как-то смахнул их с носа в сторону — и поднялся.

Лаврентьев ясно видел по его лицу, какие противоречивые чувства сталкивались в нем: и беспокойство — не сказал ли чего лишнего, и привычная самоуверенность, и сознание собственного авторитета.

— В качестве пропагандиста вы великолепны, товарищ Лаврентьев. — Серошевский, овладевая собой, изобразил гримасу-улыбку. — Каковы-то окажетесь в работе, да, в работе, на которой только и проверяется человек? Не обломало бы вам Воскресенское бока.

— Грозитесь?

— Нет. Не надо только воображать, что вы один — передовое, а все другие — отсталое. Не надо злоупотреблять политграмотой. Побольше специальных знаний.

— А я бы и вам рекомендовал посерьезней заняться политграмотой, — застегивая пуговицы пальто, холодно сказал Лаврентьев. — Польза будет.

— Как-нибудь, — занимаюсь.

— Не как-нибудь, по-настоящему попробуйте.

— До свидания, будьте здоровы! — Серошевский выпрямился величественно, несколько театрально и заложил руки за спину. — Мамаша! — крикнул он. — Проводите товарища! — Но, видимо, тут же перетрусил перед вспышкой своего минутного величия, перед этим «проводите товарища», сорвавшимся с языка, по-

тому что уже другим тоном, как бы объясняя предыдущие слова, добавил: — Придержи собаку.

Он даже сам вышел, якобы придержать собаку, которую придерживать было не надо: она бессильно давилась на цепи. Проводил до калитки и, подозрительно крепко пожимая руку Лаврентьева, сказал со смешком:

— Я вас понимаю, погорячились. Но зачем же ссориться? Не ссориться — работать, работать нам вместе, долго работать. Ну, а споры-разговоры — только на обоюдную пользу, гимнастика мозгам. Желаю успеха, позванивайте если что.

Лаврентьев вышел за город на дорогу к Воскресенскому. Смеркалось, летел реденький снежок. Ждать попутных подвод или машин было бесполезно. С базара разъехались, на районных базах выходной. Совхозная машина, наверно, давно вернулась в гараж. Присел на придорожный обледенелый камень, перемотал портянку, притопнул валенками и пошел пешком. Не той казалась дорога, какой была она осенью, когда шагал он под дождем в неизвестность, когда оттягивал плечи чемодан, перекинутый на веревке, когда только начинался незнакомый путь. Двадцать один километр — три часа ходу, пустое дело. Было бы не зря схожено, не зря день потерян. А схожено-то было зря, и день потерян напрасно.

2

Подходя к дому, к столбам из дикого серого камня, оставшимся от барских ворот, Лаврентьев видел впереди, в низине, огни — Воскресенское бодрствовало. Давно ли то было, когда деревни укладывались спать с наступлением сумерек, когда к полуночи лишь парни да девки еще бродили с гармонью по улицам или, заняв чью-либо избу, плясали польки и тустепы, а взрослый трудовой люд уже видел вторые сны. Отошли те времена... Лаврентьев поднес к глазам руку с часами: одиннадцать. Но, как и в городах в этот час, огни светились почти в каждом доме. У каждого на вечер есть

свое дело, оно держит человека за столом перед лампой и не отпускает. Графит красным карандашом листы книги отелов хлопотливая Елизавета Степановна. Первая строка ее записей «телка Снежинка» заканчивается безрадостной пометкой: «пала 10 января», но до конца апреля предстоит заполнить еще шестьдесят семь строк — еще шестьдесят семь стельных коров, еще шестьдесят семь бычков и телочек, — столько еще новых волнений и радостей. Чего будет больше? Хотелось бы не видеть мрачных пометок в последней графе учетной таблицы. И если этого не желать всей душой, если на это не надеяться, то стоит ли вообще-то работать.

Светятся все три окна горенки Антона Ивановича. Томная, рано полнеющая Марьяна ушла к соседке. Антон Иванович затеял деловой разговор с Дарьей Васильевной, и Марьяна знает, что мешать им нельзя, да и слушать про севообороты и сортировку овса скучно. Но председатель и партийный секретарь говорят не о сортировке овса — они спорят о плане на новый год, о плане, которому будет посвящено ближайшее собрание коммунистов. И так опоздали с обсуждением, надо наверстывать упущенное. Поминают они и фамилию агронома. Дарья Васильевна на чем-то настаивает, Антон Иванович протестует. Знал бы Лаврентьев, в связи с чем поминается его имя и на чем настаивает парторг... Но он не знал и, отдыхая с дороги, смотрел на огни в низине, где дымило трубами заснеженное село. Он отыскивал взглядом знакомые окна. Вот, кажется, окно Карпа Гурьевича. Да, оно. Старик, конечно, сидит возле приемника, ждет последних известий из Москвы.

Один раз побывал человек в столице — еще перед войной, на Сельскохозяйственной выставке, — а влюбился в нее, пожалуй, посильней, чем когда-то был влюблен в его родные места заезжий художник, оставивший тут о себе долгую память: портрет отца. «Что наша Лопать! Что наши боры и поймы! Вот тут Россия так Россия», — изумлялся Карп Гурьевич, бродя по московским площадям и бульварам. Побывал в мавзолее, постоял перед Спасской башней, обогнул весь

Кремль: ждал, не проедет ли в машине товарищ Сталин; ходил в музеи, в хранилища картин, в театрах пересмотрел пять постановок; он даже задержался в Москве за свой счет на неделю, отстал от делегации. Надо же было в планетарий попасть, на Московское море съездить, аэровокзал во Внукове посмотреть. Как-то с толпой мальчишек пробился зайцем на стадион «Динамо», — билета не достал. Не галдел там, не улюлюкал, как другие, не толкал соседа кулаком в плечо — сидел степенно, тихо, солидно. Футбол ему понравился: веселая игра.

С тех московских пор слово «Москва» часто поминается Карпом Гурьевичем. «Москва говорит»... «В Москве слышно»... А что в Москве говорят и что в Москве слышно — он убедился и уверовал, — то и в их Воскресенском будет. Такой Москва город, из нее новое по всей стране идет, до любых далеких уголков достигает. Он потому и проводку в своем доме заблаговременно сделал: «Москва сказала — районы сплошной электрификации». Дойдет электрификация до Воскресенского, непременно дойдет.

Что он там нового сегодня выслушает, умный, славный старик, для которого Серошевский не нашел лучшего слова, чем чудак? Неприятное воспоминание о Серошевском сбило ход мыслей Лаврентьева. Он поискал глазами окно Людмилы Кирилловны — розового света не было видно — и пошел по аллее к дому.

Когда отворил свою дверь, к ногам его — то ли из замочной скважины, то ли из дверной щели — выпала свернутая в трубочку бумажка. Он заметил ее при свете спички, поднял, зажег лампу и, не снимая пальто, развернул у стола. «Дорогой Петр Дементьевич! — угловатые буквы Ирины Аркадьевны пошли перед его глазами неровным заборчиком. — С Людмилой Кирилловной большое несчастье. Как бы поздно Вы ни вернулись, непременно и немедленно сходите к ней. Она в больнице. И. А.»

Лаврентьев хотел постучать к своей соседке, узнать у нее, что там такое случилось, но в окнах Прониной было темно, и он снова после дальнего пути вышел на дорогу.

Больница находилась во дворе позади амбулатории, маленькое веселое зданьице, прошлой весной воздвигнутое стараниями Людмилы Кирилловны. Людмила Кирилловна сама выхлопатывала средства, доказывала на исполкоме, что возить больных из Воскресенского в районную больницу — ужасно, особенно зимой, что ей не нужны никакие дополнительные штаты, дайте только на оборудование.

Больничка существовала не более полугода, но и за такой короткий срок многих воскресенцев и рабочих совхоза подняла в ней на ноги Людмила Кирилловна, и вот дождалась, сама попала на больничную койку.

Обычного хода до больницы было минут пятнадцать-двадцать. Лаврентьев дошел за десять. Его встретила тетка Дуся, типичная санитарка, из тех, что одновременно и грубы и по-своему заботливы. Чтобы в палатах было чисто, они готовы с полночи разбудить больных шарканьем швабры. Обедать пора — тоже разбудят, не считаясь с тем, что человек, может быть, только сейчас уснул и сон ему дороже любых яств. Тетки Дуси есть в каждой больнице. Они дородны, в летах, у них обширнейший, но без определенных форм, бюст; они ходят тяжелыми шагами, ступая на пятки, ворчат и на больных, и на врачей, и особенно на посетителей.

— Ночь на дворе, какие посещения! — заворчала тетка Дуся, отворив дверь Лаврентьеву. Но заворчала лишь в силу характера и для порядка, — знала, что его ждут, и провела в палату.

В палате Лаврентьев прежде всего увидел Ирину Аркадьевну. Пронина сидела возле постели на табурете и, поднеся к лампе, разглядывала термометр.

— Сорок один и три, — сказала она, и сказала так, будто Лаврентьев не только что вошел, а давно был тут и ожидал этих ее слов. — Что же будет? Все повышается...

Лаврентьев тоже взял в руки термометр: да, сорок один и три. Взглянул на постель. Людмила Кирилловна лежала на спине, с закрытыми глазами, тяжело, часто и хрипло дышала, по временам сильно кашляла.

— Что с ней?

— Ничего не знаю, — Пронина вздохнула. — Вернулась под утро уже больная. Ни с кем не разговаривая, слегла — и вот... без сознания. Единственные слова: просила позвать вас.

— Но хотя бы что за болезнь? — Позабыв, что у него в руках термометр, Лаврентьев вертел его, как карандаш.

— Фельдшерица установила воспаление легких, крупозное, с обеих сторон. Каждые три часа дает по грамму сульфидина.

— Надо немедленно везти в город! — сказал он, чувствуя, что на смену беспокойству за его мнимую вину в сердце к нему заползает страх за жизнь Людмилы Кирилловны.

— Обождем до утра.

Лаврентьев обернулся, позади него стояла фельдшер Зотова, некрасивая старая дева с черной мохнатой родинкой под глазом, из-за которой казалось, что Зотова всегда хитро подмигивает. У Зотовой был большой опыт. Людмила Кирилловна ей безгранично доверяла.

— Утром посмотрим, — повторила Зотова. — Куда сейчас везти! Опасно. Окончательно застудим.

— Как это произошло?

— Простудилась, ездила к леснику. У него девочка заболела. Тоже лежит у нас, в инфекционном. Дифтерит.

Зотова всю ночь металась от Людмилы Кирилловны к дочери лесника в инфекционное отделение, в которое вел отдельный вход, непрерывно мыла руки, меняла халаты, несла то порошки — сюда, то шприц с противодифтеритной сывороткой — туда. Тетка Дуся дежурила возле девочки, Пронина — возле Людмилы Кирилловны. Лаврентьев, сморенный дорожной усталостью, прилег и задремал в комнатке тетки Дуси на ее жесткой «дежурной» кровати. Его разбудил какой-то грохот. Приехал лесник и топал в сенях, стряхивая снег с валенок.

Лесник долго и подробно рассказывал о том, что случилось прошлой ночью.

А случилось вот что. Когда Людмила Кирилловна

уже легла спать, к ней постучался этот лесник из Заречья:

— Дочка больна... Душит ее. Боюсь — глоточная.

— В вашем сельсовете есть же врач, Лозинский.

— От него только что. В город уехавши.

— Хорошо. Едемте. — Людмила Кирилловна схватила пальто и врачебный чемоданчик. — У вас своя лошадь?

— Своя, своя. Вот уж благодарствую так благодарствую... Мигом домчу, резвая лошадка.

В пути обрадованный лесник говорил не умолкая. Говорил о том, что окажись Лозинский на месте, все равно бы к ней поехал. О ней, о воскресенской врачихе, слух далеко идет. Легкая на руку, счастливая...

Розвальни мягко катились по лесной дороге. Ни селения вокруг, ни огонька — глухой край, край лесорубов. Людмила Кирилловна полулежала в душистом мелком сене, смотрела на звезды. О чем она думала? Не о том ли, откуда у нее, у молодого врача, такая слава, что к ней едут из дальних сельсоветов? Или о том, почему же все-таки нет счастья? И, может быть, страстная эта мольба о любви и о счастье звучала так: «Петр Дементьевич, милый Петр Дементьевич! Люблю же я вас, и, чем больше вы от меня бежите, тем больше люблю. Не знаю, за что, не знаю, — разве любовь разбирает, за что. Просто так, люблю и люблю. Ну присмотритесь ко мне получше, не бегите... Мы будем вместе работать, я буду вам верной, преданной подругой, Петр Дементьевич. У нас так много общих интересов и общих желаний. Не отталкивайте». Молчали в выси притихшие звезды, молчал кругом лес, только говорил и говорил без умолку лесник, но Людмила Кирилловна не слышала ни одного его слова.

Вдруг сани толчком остановились; хрустнули, вылетая из заверток, оглобли, лошадь повалилась на дорогу и тяжело застонала. Лесник бросился к ней, возился минуту или две и тоже застонал от досады и горя.

— Оступилась. Видать, ногу в бабке свихнула. Ох, чего теперь и делать-то? Куда подаваться?

— Не пойдет? — Людмила Кирилловна выскочила из саней. Она в эту минуту не о лошади думала и даже не о Петре Дементьевиче, а только о девочке, которая мечется в жару где-то там, в дальней лесной сторожке.

— Не, и думать нечего, — охал лесник. — Обратно в Воскресенское, что ли? ..

— Где тут деревня?

— Да Воскресенское ближе всех. Девять верст. До Луговой — тринадцать, до Бережка — все пятнадцать будут. До моей избы — одиннадцать. До. . .

— Мы не географию собрались изучать, — оборвала его Людмила Кирилловна. — Вы как хотите, а я пойду пешком. Рассказывайте дорогу.

— Мыслимо ли дело — одиннадцать верст! . .

— Сию минуту рассказывай! — топнула она ногой.

Дорога до сторожки была прямая. По колеям, никуда не сворачивая, Людмила Кирилловна пошла, почти побежала. Лесник прошел было за ней с полкилометра, безнадежно отстал, потерял ее во мраке, потоптался в нерешимости, вернулся к саням, принялся подымать лошадь, — авось, хоть на трех ногах, да пойдет, не замерзать же казенной скотине.

Людмила Кирилловна шагала стремительно, ноги не скользили — хорошо, что сообразила валенки надеть, — грудь навстречу ветру. Становилось жарко — распахнула пальто, размотала шарфик; пришлось расстегнуть и пуговки на вороте платья — ветер освежал. Вскоре стало холодно — снова застегивала пуговки, снова заматывала шарф, запахивала пальто. Потом было снова жарко, снова холодно. . . До сторожки, несмотря на быструю ходьбу, добралась простывшая до костей.

В жилище лесника, над столом, на ржавой проволоке, ярко горела лампа с громадным, как таз, жестяным абажуром. Перед столом, утирая пальцем слезы с лица, стояла худая высокая женщина — лесничиха.

— Ох-ти, хти! — кинулась она навстречу Людмиле Кирилловне, подвела ее к больной.

Девочка лежала в самодельной деревянной кроватке и судорожно глотала слюну.

Был раскрыт чемоданчик, возле лампы разогревались ампулы, шприц, спирт в плоском флаконе из-под духов. Людмила Кирилловна торопилась сделать впрыскивание сыворотки — торопилась, потому что чувствовала, как ее все сильнее охватывает озноб и вот-вот начнут непроизвольно дергаться руки, и тогда все пропало. Но она успела сделать то, что было необходимо.

— Надо в больницу! — сказала лесничихе, складывая чемоданчик. — Где взять транспорт?

— А Федор?

— Федор ваш, — Людмила Кирилловна догадалась, что это лесник, — на дороге остался, лошадь ногу повредила.

— Ох-ти, хти! Конь-то второй есть, да сани непутевые. Лесничему запрягаем, когда приезжает.

— Запрягайте немедленно! Умеете? А то я сама...

— Умею, умею, разумница моя, мигом. Только, говорю, непутевые они, санки эти. Ох-ти, хти...

Лесничиха выбежала во двор. Людмила Кирилловна заходила по избе, останавливаясь, прислушиваясь к дыханию девочки.

Наконец санки были запряжены. Лесничиха села сзади с завернутой в одеяла девочкой на руках, Людмила Кирилловна взобралась на облучок, дернула вожжами, крикнула: «Н-но! Пошла!» Застоявшаяся лошадь не нуждалась в понуканиях, лихо взяла с места, и в жестяной передок санок застучали комья снега с ее копыт.

Где-то на дороге встретили лесника. Он вел ковылявшего на трех ногах коня. Лесничиха заерзала, хотела, видимо, поговорить с мужем, но Людмила Кирилловна еще сильней подхлестнула вожжами.

В больницу она вошла шатаясь, отдала необходимые распоряжения Зотовой и повалилась на койку в пустой палате. Сердце усиленно стучало, каждый удар его сопровождался резкой болью в груди.

К полудню Людмила Кирилловна уже бредила. Она только на минуту пришла в сознание, когда ее

руку взяла Пронина, оповещенная о беде теткой Дусей.

— Ирина Аркадьевна, милая... Узнайте, пожалуйста, что там с девочкой, с дочкой лесника... Очень беспокоюсь. У нее опасная форма...

3

Елизавета Степановна упорно избегала встреч с Лаврентьевым. Вначале ей казалось, что она поступает так из-за Снежинки. Петенька показал себя в этой истории не как свой человек, не как близкий добрый друг, а как упрямец, которому не дороги ни колхозные, ни государственные, ни ее, телятницы Звонкой, интересы. Лишь бы настоять на своем, дальше — и трава не расти. Она даже поссорилась с дочерью, до того негодовала на Лаврентьева. Ася вздумала защищать агронома, вздумала доказывать, что он прав в своих попытках отыскать новый метод выхаживания телят.

Ася говорила с прямотой и горячностью двадцатилетней девушки, заливаясь румянцем от сознания того, что волей-неволей вынуждена грубить родной матери, и чтобы не жестикулировать — она боролась со скверной, по ее мнению, привычкой, — закладывала руки за спину, немножко бычилась и становилась похожей на покойного отца.

— По-новому — это значит взять и поморозить животных! — волновалась, тоже заливаясь краской, Елизавета Степановна. — Ишь вы какие все щедрые за общественный счет фокусы проделывать! Молчи уж, молчи... Посмотрим, как вы эдаким манером с Петром Дементьевичем своим над пшеницей нафокусничаете.

— За нас, мамаша, не беспокойся. За старину цепляться не будем. Нет! Не будем!

Ася, как фехтовальщик, парировала наскоки матери, немедленно переходившей от обороны к нападению, едва лишь возникали подобные разговоры, а они возникали ежедневно, и Елизавета Степановна продол-

жала думать, что Лаврентьев сотворил величайшее безобразие, которого она ему никогда не простит. Но встреч с ним избегала еще и по другой, более серьезной причине.

Вслед за беглой Милкой вскоре отелились две коровы сразу. Два пестрых бычка вновь внесли шумную жизнь в опустевший телятник, и когда они появились, веселые, требовательные, крепконогие, подобно Снежинке, Елизавета Степановна задумалась: такой серьезный человек — и не мальчишка, и воевал, и высшее образование имеет, — неужели он делал тут все сдуру?

Так и не решив, сдуру или с ума Лаврентьев морозил Снежинку, и отнюдь не разделяя сердцем диких его начинаний, практически она незаметно для себя стала на путь претворения в жизнь этих начинаний. То фрамуги в окнах на весь день раскроет, то двери часдва держит настежь, то печку загасит раньше времени. Но скрывала это, ото всех скрывала, а пуще всего от Лаврентьева. На телятник он, к счастью, заходил редко и то норовил угадать в такое время, когда ее там не было. А если Дарья Васильевна или Антон Иванович заглянут, Елизавета Степановна, кляня ветер и скверные задвижки, кинется затворять фрамуги, дверь, начнет ворчать по поводу сырых дров, которые только шипят, а жару от них — что от ледяшки.

И телята росли, не болели; в солнечные дни, пятясь от яркого света, выходили во двор, носились с откинутыми кренделем хвостами по снегу; подражая отцу, круторогому красавцу из совхоза, шли друг на друга грудью, свирепо гнули к земле головы, с треском сталкивались лбами.

Телились коровы, новые бычки и телочки населяли выбеленные стойла телятника, на них тоже распространялся «холодный» метод воспитания, дело — не сглазить бы! — шло хорошо, и чем лучше оно шло, тем чаще Елизавету Степановну мучила совесть, тем настойчивей возникало желание пойти к Петеньке с повинной, просить у него прощения и за недостойные крики, и за то ужасное слово — повторить даже страшно! — «вредительство», и, главное, за то, что и его-то

она держит в неведении, оставляет в сомнениях о состоянии дел в телятнике. Но... иной раз не так-то легко это сделать — признать свою неправоту.

— Погорячился Петр Дементьевич, — стали поговаривать в колхозе, видя успехи телятницы Звонкой. — Зря загубил телка. Наука-то боком вышла.

Возникшее было доброе отношение колхозников к агроному стало колебаться. Лаврентьев это почувствовал, и особенно при одной из встреч с Павлом Дрёмовым. С Павлом виделись часто, но после того резкого разговора на поле, когда Дрёмов требовал дать ему работу по специальности, Дрёмов при встречах угрюмо молчал. В лесное хозяйство не ушел, продолжал возить навоз, но молчал. А тут вдруг воспрянул духом.

— Что, Дементьич? — панибратски и на «ты» окликнул он Лаврентьева, перехватив его возле кузницы. — И на старушку бывает прорушка. Звонкая-то фитилек тебе дала. Преподносить всякие назидания легко, терпеть их трудно.

— Не понимаю, из-за чего вы так развеселились, товарищ Дрёмов? — спокойно ответил Лаврентьев, в душе глубоко уязвленный тем, что благодаря Елизавете Степановне, именно тихой, скромной Елизавете Степановне, стало возможным такое залихватское обращение к нему Павла Дрёмова.

— А чего не веселиться! Погодка — во! Весна скоро. — Павел хитро и злорадно щурил глаза, сплевывая в сторону, в снег. — С навозом покончим, пахать пойдем. Нам что! Мы и с вилами, мы и с плугом, с косой-жнейкой не пропадем. Плох-плох Пашка Дрёмов, а, извиняюсь, показатели какие? Что ни день — двести сорок, двести пятьдесят процентов. Отнимешь это у меня? Ну?!

— Не собираюсь отнимать. Хорошо работаете.

— То-то и оно!

Павел чувствовал себя победителем, на Лаврентьева смотрел, как на побежденного, сверху вниз, и подчеркнуто сожалеючи.

— Вот гвоздь! Выходит, я прав, — говорил он, похлестывая снег кнутом. — По специальности каждый должен работать. Ты, к примеру, агроном — полями,

значит, занимайся, в животноводство не лезь, зоотехниково это дело... Зоотехник у нас на участке — старичок знающий. Не от себя Елизавета действует, по его инструкции. Понял?

— Понял. И еще понял, товарищ Дрёмов, что вы храбрец только тогда, когда у противника слабину увидите. Ладно, согласен, что-то не то с теленком вышло... Но почему вы лишь теперь так резво заговорили?

— Я и с первого раза резво говорил.

— Это насчет Урала? Помню. Но дальше держались довольно прилично, без всяких «ты» и плевков мне под ноги. На брудершафт мы с вами теперь выпили, что ли?

— Пить не пили. — Павел ожесточался, а следовательно и терял позиции якобы сочувствующего постороннего наблюдателя. — Да, не пили... А вот по части храбреца прошу не загибать. — Обида дошла до него с запозданием. — Не знаю, как вы, а Дрёмов в атаки ходил, даром что при мастерской значился, — в штурмах участвовал. У него награды не за драчевку и тиски — за то, что вот этими самыми руками, — он стиснул кулаки, протянул их к Лаврентьеву, — гадов давил!..

— Честь и слава. А тон ваш развязный ни чести вам, ни славы не делает. Вы же кандидат в члены партии. Вы этого не забываете?

— Вроде бы нет, товарищ Лаврентьев, Петр Дементьевич, агроном! Возле правления доска показателей висит — справьтесь. За каждый день видно, кто я есть.

— Партийность в цифрах и процентах не изобразишь.

— В делах изобразишь, цифры о делах говорят.

Дрёмов оказался умней, острее на язык, чем можно было подумать с первого взгляда, и общими фразами от него было не отделаться. Лаврентьев почувствовал бесполезность дальнейшего разговора, повернулся и пошел, услыхав позади звук очередного плевка.

Как уж не раз случалось, поддержку ему в этот день оказала Ася. Бродя после разговора с Дрёмовым

по колхозным службам, он искал ее, не очень настойчиво, но искал именно Асю, не зная даже толком — зачем. И только Карп Гурьевич, с перекинутой через плечо сумкой — рубанки, долота, рейсмусы, — шагавший к инвентарному сараю, надоумил:

— Где девчата, там и она. А девчата в шестом амбаре, зерно сортируют. Что не заходишь, Петр Дементьевич? Москву бы послушали.

— Спасибо, зайду, Карп Гурьевич.

Семенной амбар гудел так, как гудят машинные недра парохода. Стучала шатунами и ситами веялка, рокотал барабаном триер, девичьи голоса сливались в общий перезвон. Девчата вертели ручку веялки, перелопачивали зерно, спорили — триер заедало. Увидев в дверях Лаврентьева, одна из них — Саша Чайкина, знаменитая солистка из хора Ирины Аркадьевны, — крикнула:

— Товарищ агроном! Когда мотор поставите? Руки в волдырях.

— Девичьи ручки-то — нежные. Пожалейте! — крикнула Маруся Шилова, сверкнула черными глазами, тряхнула челкой.

Все рассмеялись, расшумелись, работу бросили, столпились вокруг Лаврентьева. Из-за вороха зерна вылезла Ася.

— Здравствуйте, Петр Дементьевич! — она подала руку — знакомое теплое пожатие. От Аси всегда веяло на Лаврентьева теплом и скрытой нежностью. Он улыбнулся.

— Трудовой процесс в разгаре.

— В разгаре, — подтвердила Ася. — Нуждаемся в указаниях.

— Я тоже в них нуждаюсь.

Опять, неизвестно отчего, неудержимый смех. Лаврентьев растерянно пожал плечами: что он сказал смешного? Смех усилился.

— Асенька, не понимаю...

— Да ведь молодость же, Петр Дементьевич! От всего радостно. А радостно — значит, и смех.

— Как птички: взошло солнце — поют, нет солнца — все равно поют.

Девчата окончательно зашлись в своем проявлении радости; у Аси тоже прыгали щеки, взлетали брови и еле сдерживались губы.

— Выйдемте, Петр Дементьевич, — взяла она его под руку, — а то вся работа пропадет. Обождем там — отдышатся.

Вышли на снег. Ася ходила по тропинке, Лаврентьев рядом протаптывал валенками новую.

— Мы собрали уйму золы, у нас супер есть, калийка, азотка — что хотите. Желания поработать — отбавляй. Но боимся, очень боимся мы с Анохиным, Петр Дементьевич, — говорила девушка, поправляя под подбородком платок. — Пшеница — культура в наших местах новая. А земля — не знаем, годится ли? А обязательство в газете напечатали. Всходы, вы сами осенью видали, получились хорошие. А дальше как пойдет? Осень сухая была, это у нас случается. Весна — всегда мокро, так мокро! .. Снега растают — на полях целые озера сделаются. Разве если трубы на наш участок проведете... Мы за вас держаться будем, Петр Дементьевич.

Как бы подтверждая, насколько крепко полеводки намерены держаться за агронома, Ася уцепилась за его рукав, почти повисла на нем, и тотчас испуганно, поспешно отстранилась:

— Простите... забыла...

— Вы о руке? Не бойтесь, прошло. Вот! .. — Он подошел к оставленным в снегу тяжелым розвальням, впрягся в них и быстро потащил. — Садитесь, прокачу!

— А что! .. — Ася задумалась на минуту и присела на грядку саней. — Катите. Дело к масленой.

Утихший было смех в амбаре вспыхнул с новой силой. В дверях толпились девчата.

— А ну — сюда! Все садитесь! — крикнул им Лаврентьев.

С визгом, криком повалились они в розвальни. Лаврентьев напряг все тело, но сдвинув сани едва на шаг, бросил оглобли.

— Снег глубокий, — оправдывался он смущенно. — На дороге бы...

— Вот ведьмы! Агронома обротáли! — послышался голос. Шел Антон Иванович. Он впрягся в сани с Лаврентьевым, и девчата, завизжав еще сильней, поехали.

— Антон Иванович, Антон Иванович! — тревожным голосом, стараясь его заговорщицки приглушить, воскликнула Саша Чайкина. — Марьяна!.. Марьяна Кузьминишна!..

— Ну-ну, не балуй! — Председатель на всякий случай оглянулся по сторонам.

— Верно, Антон Иванович! — поддержала Чайкину Люсенька Баскова, девушка до того беленькая, что казалось, ее при рождении всю осыпали пшеничной мукой. — Беды бы не было, а? Вы человек женатый, не то что Петр Дементьевич.

— Тоже на днях женим, — бросая оглобли, подмигнул Антон Иванович.

— Верно? Правда? — закричали девушки. Обступили председателя, смотрели то на него, то на Лаврентьева. Чужой жених исстари вызывает у девушек любопытства и интереса, пожалуй, больше, чем свой собственный. А тут еще такой жених — агроном Петр Дементьевич. Шутку приняли за истину.

— Кто же она, Антон Иванович? Скажите! Ну, Антон Иванович?

— Женского полу, одно достоверно. Хватит приставать. Свадьба будет, сами увидите — кто. За делом к вам пришел. Производственное совещание партийный руководитель поручил мне с вами провести. Такова задача. Рассаживайтесь!

Сидели в амбаре на ворохах зерна. Девчата донимали председателя вопросами. Как с тяглом? Будут ли убирать машиной или вручную? А воду как с полей спускать? Задумалось правление над этим?

Антон Иванович вертелся, отвечал, снимал шапку, утирал лоб платком, вышитым Марьяной.

Платок этот вызвал неожиданный вопрос:

— Марьяна будет работать в поле?

— Почему нет? — удивился Антон Иванович.

— Потому. Она и в девках не больно охоча была до работы. Теперь вовсе не заставишь за грабли или за тяпку взяться. Председательша.

Лаврентьев слушал, не ввязываясь в беседу. Он любовался девчатами — куда и смех делся: серьезные, почему-то строгие лица, навостренные глаза, готовность спорить, ссориться, отстаивать свое. Их все интересовало, все их касалось. С такими можно работать, с такими не пропадешь, — правильно это сказал Анохин.

Зимний день заканчивался, работать в амбаре было уже темно. Пошли по домам. На перекрестке Ася распрощалась с девчатами, с Антоном Ивановичем; попрощался и Лаврентьев, решив проводить Асю. Они отошли довольно далеко, когда услышали оклик Антона Ивановича:

— Дементьич! О партсобрании не забыл? Вечером приду, еще тезисы посмотрим.

О партсобрании знали и Лаврентьев и Ася, принятая прошлой весной вместе с Павлом Дрёмовым кандидатом в члены партии.

— План будем обсуждать? — спросила она, когда пошли дальше.

— План.

Заговорили о плане, потом еще о чем-то и не заметили, что стоят среди улицы.

— Что Елизавета Степановна поделывает? — задал обычный при встречах с Асей вопрос Лаврентьев.

— Не пойму ее. Замкнулась, будто тяжесть в сердце носит. Зайдемте. Отчего не рискнуть?

— В другой раз. До свидания, Асенька.

— Петр Дементьевич. — Она задержала его руку. — Одно словечко. Не рассердитесь?

— На вас? Пожалуй, нет. А за что?

— За нескромность. На Людмиле Кирилловне женитесь?

— Что такое! — Лаврентьев отшатнулся. — Откуда вы это взяли?

— Да вот и Антон Иванович... и все так говорят.

— Кто все?

— Колхозники. Вот, говорят, поправится Людмила Кирилловна — и свадьба.

— Чушь, чушь, чушь! — Лаврентьев даже ногой топнул. — И о свадьбах этих и о поправке незачем болтать — человек при смерти.

— Так плохо? Почему же в город не отвезли?

— Опасно. Наоборот, из города врачей возят. Антон Иванович каждый день машину дает.

— Неправда, значит, Петр Дементьевич? Ну и хорошо.

— Почему же хорошо? — непонимающе взглянул на нее Лаврентьев.

— Потому что жениться — перемениться. Антон Иванович каким был веселым, когда с войны вернулся, разговорчивым. Перемена в нем началась, едва ухаживать за сестрами Рыжовыми стал, за Клавдией да за Марьяной, а женился — видите, весь в заботах, лишней минуты не посидит.

— Да заботы не от жены у него, от председательской должности, Асенька! Трудная должность!

— Марьяны вы не знаете. Ревнивая, привередливая.

— Неужели? Вот не думал. И сестра ее...

— Клавдия? Та другая. Та особенная. Хотя тоже с капризами, но с иными, чем у Марьяны...

— Асенька, — перебил ее Лаврентьев, — вы себе противоречите. Перемены, значит, начинаются еще до свадьбы. Вы замечаете во мне перемену?

— Нет, нет, перестанем об этом. До свидания, Петр Дементьевич. До свидания. Если обещаете всегда быть таким же, то женитесь. — Ася весело смеялась.

Лаврентьев шел к столяру послушать московскую передачу и тоже усмехался в сумерках. До чего смешные и требовательные девчонки — даже жениться не дадут. Ну и девчонки!..

4

С тех пор как в Воскресенском не стало клуба, собрания колхозников происходили в школе. Школа была новая, построенная перед самой войной, бревенчатая, с большими высокими окнами; вокруг нее за последние годы разросся молодой сад; как большинство сельских школ, стояла она за околицей, в поле.

В школе устраивались и вечера самодеятельности, танцы, лекции; собирались тут и коммунисты. Но собирались не в зале, где было слишком просторно для пятнадцати человек, а в каком-либо из классов.

Каждый раз, когда Лаврентьев входил в комнату с черными партами, когда разглядывал цветные литографии на стенах, изображавшие флору различных частей света, карту полушарий, доску с белесыми следами размазанного мела, горшки с геранями на подоконниках; когда, сидя на тесной для него парте, вдыхал специфический школьный воздух — смесь запахов дезинфекции и протопленных печей, — он не мог не вспомнить свои школьные годы, свою школу, своих учителей и своих товарищей.

Школьные годы занимают длинный и богатый впечатлениями период жизни человека. Они оставляют о себе долгую и светлую память. Мы до старости помним тех, с кем играли на переменах в перышки, делились завтраком, решали вместе арифметические столбики — легкие, добрые столбики, на смену которым пришли затем мучительно трудные операции извлечения корней, — помним, но разбредясь по всей стране, теряем друг друга из виду, и часто — навсегда. Только мелькнет иной раз в газете фамилия — Малаховский, генерал артиллерии. Задумаешься: а не Валька ли это, большеголовый, длиннорукий силач Валька? Он ведь и в самом деле увлекался пиротехникой, взрывал на школьном дворе какие-то «лягушки» из пороха и оберточной бумаги и, не выучив немецкого, чтобы сорвать этот ненавистный ему урок, накладывал в чернильницы карбида, отчего по классу распространялось дьявольское зловоние. Или из театральной афиши узнаешь, что Верочка Осокина, писклявая девушка с похожими на рожки бантиками над ушами, стала артисткой, что ее фамилию печатают крупно, значит, уже известная. Но вот Малаховский, вот Осокина... А где же Катя Цветкова, степенная толстуха, так объяснявшая разницу между термометрами Цельсия и Реомюра: «Реомюр разделил свой бок на восемьдесят частей, а Цельсий на сто». Где Аркадий Перевощиков, который, вызывая всеобщую зависть мальчишек, мог

пробежать на руках весь школьный коридор? И где, наконец, Тося Андреева, к ногам которой вы в пятнадцать лет положили свое встревоженное первой любовью и, как вам казалось, жестоко разбитое сердце? Вы с ней гуляли по Семинарскому саду, держась друг от друга на добрую сажень, и говорили о всяческих весьма значительных вещах. О космосе: как это он не имеет границ. Удивительно. Об Икаре: хотелось бы взлететь к солнцу. Об ученом коте Тосиной бабушки: он умел мурлыкать краковяк из оперы «Иван Сусанин», наслушался граммофона. Да, да, умел, умел, умел...

Говорили обо всем, но только не о том, о чем бы вам хотелось. Об этом вы лишь вздыхали и безмолвно твердили друг другу глазами. Где же вы, Тося Андреева? Есть ли еще у вас моя фотография — мальчишка в кепочке, впервые повязавший полосатый галстук? А я вашу храню до сих пор — вы на ней попрежнему такая же гордая, полная достоинства от сознания славы самой красивой девочки во всей нашей части города, на всех двенадцати улицах за Федоровским ручьем...

Вспоминая школьных друзей, Лаврентьев вошел в теплый класс одним из первых. Он застал там лишь Дарью Васильевну, которая, разложив на учительском столике папки, перебирала возле лампы старые протоколы, да директора школы Нину Владимировну Гусарову — тоже, видимо, когда-то самую красивую девочку на своей улице. Но Нина Владимировна поседела в тот день, когда от бомбы погибли ее дети, близнецы-двухлетки, и осколочный шрам исказил черты лица, придав им злое выражение, что никак не шло к мягкому характеру Нины Владимировны.

— Готов? — спросила Дарья Васильевна.

— Так точно, товарищ начальник! — ответил Лаврентьев и, чтобы не мешать секретарю, которая вновь занялась протоколами, вполголоса заговорил с Ниной Владимировной о школьных делах. Он был хороший докладчик — это и в институте и в армии отмечали, — и знал, что перед самым докладом уже не надо о нем думать, напротив — надо отвлечься от поспешно скла-

дывающихся в уме новых фраз и формулировок. Они только запутают дело.

Вскоре пришли Антон Иванович и Ася, потом Павел Дрёмов с шофером Николаем Жуковым, Анохин, завмаг, и когда Дарья Васильевна, окинув взором класс, сказала: «Кворум полный», на партах перед ней сидели все коммунисты Воскресенского, за исключением Клавдии Рыжовой. «На курсах», — Дарья Васильевна поставила карандашом против ее фамилии минус. Она вынула из кармана жакета целлулоидный футлярчик с очками, положила его на стол. Никто никогда не видал Дарью Васильевну в очках, но футлярчик этот знали все колхозники, и был он для них загадкой и предметом всяческих шуток. Рядом с футлярчиком легли на стол часы, Дарья Васильевна подправила фитиль в лампе, встала:

— Разрешите, товарищи, общее собрание коммунистов колхоза считать открытым. Кто будет председателем, кто секретарем?

Председателем избрали ее, а секретарем, как всегда, Нину Владимировну.

— На повестке дня у нас, — продолжала Дарья Васильевна, — один вопрос: колхозный план. Дополнений, возражений нет? Слово товарищу Лаврентьеву.

— План, товарищи, который мы сегодня будем обсуждать, — перелистывая блокнот, заговорил Лаврентьев, — касается не только текущего года. Он шире, значительно шире. Это трехлетний план. Трехлетний план роста и развития колхозного хозяйства. История его такова. Мы собрались как-то вечером — Дарья Васильевна, Антон Иванович, я, Анохин был, — разговорились о том о сем. У каждого нашлась своя мечта. Получилось интересно: с одной стороны, и мечты эти были не слишком фантастическими; с другой стороны, время у нас такое, что оно даже и самые фантастические мечтания позволяет претворить в жизнь. Что же это за мечты? Посмотрим.

Лавреньтев говорил об электрификации, о высоковольтной линии, которую можно подвести из леспромхоза — каких-нибудь двадцать километров. Сначала думали — из совхоза, но не выходит, там движок едва

совхозные нужды покрывает. Говорил о мощеной дороге до города, об автопоилках, о клубе, новом здании правления, об автомашинах, о высоких урожаях, о мерах повышения продуктивности животноводства, об осушении полей, о колхозном радиоузле... Он широко взмахивал рукой, длиннокрылые тени пролетали по стенам, по экваториальным лесам и полярным айсбергам, по географическим картам, как будто не об одном Воскресенском шла речь, а обо всем земном шаре. Большевики Воскресенского сидели сосредоточенные, тесной кучкой — мозг, совесть и воля колхоза. Они сознавали, что новый план возложит на них новые обязанности, но были готовы пойти навстречу этим трудностям с горячим сердцем, потому что там, за рубежом этих трудных дел, занималась заря новой жизни, она разгоралась все ярче, и свет ее как бы сквозь стены проникал в сумеречный класс, озаряя лица людей огнем вдохновения. Чем шире замыслы, чем значимей дела, тем сильнее желание за них взяться, но тем больше и ответственности. Пусть так. Лишь бы творить, лишь бы бороться, лишь бы выбраться, выйти из воскресенского прозябания. И когда Лаврентьев кончил, ему чуть ли не хором задали вопрос:

— А как с заболоченностью? Какие меры будут против этого? Простая мелиорация не помогает.

Люди знали, даже Нина Владимировна, непосредственно не связанная с сельским хозяйством, знала, что корень местных бед — в заболачиваемости. Преодолеть эту трудность — дальше все одолимо.

— С заболоченностью? — переспросил Лаврентьев. — Об этом я хочу поговорить отдельно. Об этом уже знают и Антон Иванович, и Дарья Васильевна, и Анохин — многие знают. Но сегодня я ставлю вопрос официально. Как агроном предлагаю единственно верное средство — дренаж гончарными трубами. Нам, правда, понадобится этих труб несколько десятков километров. Что ж, разобьем поля на участки и дренируем их не в один год, а в три, в четыре года. Пример — соседний с нами совхоз. Они дренировали свои угодья в течение пяти лет. Результаты прекрасные.

Начался долгий разговор. Никто против дренажа

как будто бы не возражал, все высказывались за него, но высказывались без особого жара. Лаврентьев понимал, что воскресенцев охлаждает неудачный опыт прошлого — не увидели они результатов от мелиорации и не верили в нее. А кроме того, дренаж требовал громадных денежных затрат, а где взять эти деньги? Еще урезать выдачу на трудодень? Совсем будет плохо. И так-то мужчин в колхозе, особенно молодых, осталось мало. Чего доброго, и остатние сбегут.

Коммунисты выступали в прениях один за другим. Как ни обстоятелен был доклад Лаврентьева, как ни обширен проект плана, его дополняли и дополняли. «Не линию от леспромхоза — плотину бы заложить на Лопати; по всей стране колхозы свои электростанции строят, — разверните любую газету», — высказала пожелание Нина Владимировна. «Помните, научный сотрудник приезжал прошлой весной насчет организации у нас сортоиспытательного участка, — почему застопорилось дело? Считаю необходимым выяснить и добиться, чтобы именно у нас организовали этот участок», — требовала Ася.

— Говорить о деле так уж говорить! — рявкнул редкостным своим басом Анохин. — Залетаем на облака, а что рядом, того не видим. Семенной материал... Черт-те что! До сих пор овес рядовой. А что такое рядовой? Хлам! Куда смотрим...

Это была вся его речь, но ее поняли: недопустимо терпеть в посевах несортовые семена.

Даже Павел Дрёмов высказался. Но высказался, как всегда, туманно, о том-де, что каждый должен работать по специальности, и тогда все само собой наладится. Любишь специальность — любишь и работу, а любишь работу — и понукать тебя не надо.

В результате долгих прений план вырос, и так вырос, что, пожалуй, и трехлетние рамки стали бы для него тесноваты. Решили вынести дальнейшее обсуждение на общее собрание колхозников.

— Товарищи, — заговорил снова Лаврентьев. — Меня прения все-таки не удовлетворили. Вы о мелиорации по сути дела ничего не сказали. А если не будет решен вопрос с мелиорацией, отрубите мне голову, весь

наш план повиснет в воздухе. Ну как же так — выходит, что мы пасуем перед болотом! Стыд! Оглянитесь вокруг... Заволжье, и то встает на ноги. А суховеи страшней болот. Неужели мы...

— Петр Дементьевич, — перебил его Антон Иванович. — Что касается меня, то я, ей-богу, от мелиорации не отказываюсь. Я за нее. Исподволь, из года в год будем прокладывать твои трубы. Но понимаешь, какая штука... Вот, скажем, загубим денег, накупим труб, закопаем их, а они вроде как телка Снежинка...

— При чем тут Снежинка?

— Да не Снежинка при чем, а эксперимент. Получится опять эксперимент. Снежинка, говорю, что! Снежинка — тьфу!

— И Снежинка не тьфу! — заговорила Дарья Васильевна. — Снежинка тоже вопрос. Я особо хотела его поднять. Не понравилось мне, скажу прямо, как нахозяйствовал на телятнике товарищ Лаврентьев. Суть, понятно, не в телке. Суть в партийном подходе к делу. То, что агроном по-новому хотел поставить выращивание телят — это партийно? Да, партийно. Приветствуем. Не партийно другое — по-кустарному за это взялся, вот плохо! Никому ничего, бух-трах, на мороз телка́, и баста. Времена кустарщины прошли, товарищ Лаврентьев. Все новое подготовки требует, большой подготовки, и по научной части и по организационной. Этих, которые, засучив рукава, грудью прут, пузом — извиняюсь за слово — хотят взять, теперь не больно уважают в народе. А ты как поступил? Вот этак — пузом налег. Буслай-богатырь! Про нас забыл, про товарищей твоих, про коммунистов. Ум хорошо, пятнадцать, думаю, не хуже. Минуточку, минуточку, прошу не перебивать. Я тебя целый час слушала, сло́ва не обронила. Послушай и ты нескладную речь. Отдаем тебе должное: с образованием человек, не пустомеля — не серчай, — толковый, не ошибусь, работник. Но и на нас не надо смотреть как на недоростков. А ты в одиночку в себе что-то носишь.

Лаврентьев кипел от возмущения. Он сам недавно доказывал Кате Прониной, что не видит принципиальной разницы между городским и сельским жителем, не

только слова: «мужики» и «бабы», но даже и слово «крестьяне» для него устарело. А тут ему в лицо тычут якобы замеченное за ним пренебрежение к колхозному активу. Ерунда! Вздор! Непозволительный вздор!

— Думаешь, не наше это дело? Качаешь головой? — продолжала свое Дарья Васильевна. — Вот тебе, коли так... — Она порылась в папке, достала, развернула журнал. — Ты отступился, а мы нет. Мы нашли статейку, интересную статейку. Про совхоз один, под Костромой, где который уж год телят выращивают холодным методом.

— Дайте! — Таща за собой парту, Лаврентьев потянулся к столу. Хотел схватить журнал из рук Дарьи Васильевны.

— Не горячись, — Дарья Васильевна положила журнал на стол. — Дослушай. Потом прочтешь, время будет. Какой мой вывод? Мысль у тебя была правильная, осуществление ее из рук вон плохое. Сквозняки после жары устроил... Прогулку какую-то больному животному... В пальто кутал... Ну не смех ли! Зарапортовался, Петр Дементьевич, непосильную задачу на себя взял — в одиночку дела ворочать.

— Как специалист, я...

— Понятно, — перебила Дарья Васильевна. — Инициатива... Вроде бы — полная самостоятельность и полный ответ. Кто против этого! Только прежде с партией надо посоветоваться. Не помеха — всяческая поддержка тебе будет. Ну, теперь твое слово, что скажешь? Да, минутку погоди... Возражать будешь, учти: мы не против нового метода, мы за него обеими руками голосуем. В том, костромском, совхозе он дал невиданный результат — за несколько лет ни один теленок не пал. Мы вот завтра-послезавтра созовем производственное совещание животноводов, статейку обсудим, зоотехника пригласим и наново работать будем. Учти это.

— Выходит, Дементьич, что метод этот вовсе и не новый. — Антон Иванович деликатно кашлянул. — Участковый зоотехник знает о нем, да только, говорит, не очень в него верит, — дескать, у кого получается, а у кого и нет. Эксперимент.

— У нас теперь получится, — с уверенностью сказала Дарья Васильевна.

Лаврентьев, который все время, пока говорила Дарья Васильевна, готовил резкие, неотразимые возражения и чувствовал себя как перед боем, при последних ее словах вдруг увидел, что некому возражать и не с кем бороться, — перед ним не было противника. Была только досада на то, что он плохо знает животноводство и вот в результате его отчитали, и отчитали как мальчишку.

— Мне говорить нечего, — ответил он на предложение выступить с объяснениями. — Ошибся, — и взял с председательского стола журнал.

— Больно коротко. Откуда ошибка, скажи.

— Не учел. — Он перелистывал замусоленные страницы.

— Нас не учел, товарищей своих. Эх, Петр Дементьевич, Петр Дементьевич!..

Сказала это Дарья Васильевна таким тоном, так грустно, что Лаврентьев насупился. Дарья Васильевна была, видимо, немало взволнована. Она надела очки, неожиданно став похожей на профессора, но тут же их сняла, — никто и не заметил ее жеста.

— Суждения будут?

Суждений ни у кого, кроме Павла Дрёмова, не оказалось.

— Чего человека морочить! Осознал. — Павел вынул папиросу из пачки, лежавшей перед ним на парте, помусолил в губах, положил обратно — курить на партийных собраниях Дарья Васильевна не позволяла.

— Не через край ли просто будет — поговорить да разойтись? — возразила ему Дарья Васильевна. — Я свое суждение высказала, теперь предложение вношу: предупредить товарища Лаврентьева, чтобы потесней, подружней работал с партийной организацией.

— Не вижу нужды предупреждать, — сказал Антон Иванович. — Несогласен. На одни весы человека и телку кладем.

— Не телку — отношение к коллективу, — рассердилась Дарья Васильевна. — Не передергивай, не упрощай.

— И я несогласна, — поддержала Антона Ивановича Нина Владимировна, поглаживая шрам на щеке. — Не плохими — добрыми чувствами руководствовался Петр Дементьевич.

— Плохие — другой бы разговор был. Построже меру пришлось бы потребовать, — не сдавалась Дарья Васильевна. — Голосую, значит, два предложения. Кто за мое, за предупреждение?

Только одна она и подняла руку; усмехнулась и со свойственной ей прямотой сказала просто:

— Промахнулся партийный руководитель! Не учел настроения масс.

Она окинула взором коммунистов. Кандидаты в члены партии — Ася и Павел Дрёмов — права голосовать не имели, но вид у них был такой задиристый, что Дарья Васильевна не сомневалась: дай им это право, они бы поддержали Антона Ивановича. Поэтому она обратилась ко всем троим:

— Ишь вы какие! Любое, самое маленькое предупреждение, и то вам круто. Звонкая — ладно, от молодости у нее. А ты, Павел, и особенно ты, Антон, — глядите. Ты, Антоша, и сам иной раз своевольничаешь. Да и работку не блестящую показываешь. Поначалу жарче брался. Как бы и до тебя очередь не дошла.

— Дойдет — ответим.

— Подождем, — миролюбиво согласилась Дарья Васильевна. — Все, что ли? До полуночи прозаседали. — Она взглянула на часы. — Закрываем?

— Одно слово! — Лаврентьев поднял руку. — Мне кажется, что напрасно товарищи так горячо за меня вступились. Против выговора я бы, конечно, возражал, протестовал бы. Думается, не заслужил его. Но серьезного внушения достоин и сам голосую за него. Повторяю: кое-чего не учел. Учту.

Домой он шел медленно, заложив руки за спину, как на прогулке. В душе его жил протест против сегодняшнего неожиданного разбирательства. Но душа душой — ум подсказывал другое. В самом деле, в одиночку он бился. И, главное, непонятно, почему? Чуть ли не с пеной на губах доказывал Кате, какие перемены произошли в деревне, и сам же отнесся к воскресен-

цам как к представителям старой деревни, среди которых он, агроном, — мессия. А он — что? Винт. Важный, но все же только винтик в большой машине.

— Товарищ Винт, — сказал он вслух, благо пусто было на улице, — вам подкрутили гайку...

Справа, за дощатой оградой, мелькал огонек в больнице. Огонек перемещался от одного окна к другому: с лампой в руках по коридору шла тетка Дуся.

5

Лаврентьев поднялся на крыльцо. Он хотел справиться у санитарки о здоровье Людмилы Кирилловны. На цыпочках прошел в дежурную комнату.

— Тетя Дуся, тетя Дуся! — позвал вполголоса.

Из-за шкафа появилась дородная санитарка.

— Ну, что, полуношник?

— Как дела?

— А так. Зотова Мария Ивановна говорит, на поправку пошло. Выдержала Людмила Кирилловна. Организм, говорит, крепкий. И из райздрава этот был, с золотым зубом-то... Тоже говорит, сомнений нету.

— Привет передайте. Скажите: заходил, мол.

— Передам. Иди, не шуми тут. Беды наделаешь.

— Дусенька!— послышался тихий голос за дверью. — Пусти Петра Дементьевича. Петр Дементьевич!

— Какой Дементьевич? — Приоткрыв дверь, тетка Дуся просунула голову в палату и выставленным назад кулаком погрозила Лаврентьеву: уходи, дескать. — Дрова Федот принес.

— Не ври, не ври. Я слышала. Петр Дементьевич, если не зайдете, сама встану.

Тетка Дуся развела руками, Лаврентьев вошел в палату. Впервые за десять дней он видел Людмилу Кирилловну в сознании. Исхудалая, желтая, она ему улыбалась.

— Не думала, что зайдете. Бессонница у меня, тоскливо. Днем хоть Ирина Аркадьевна, женщины заходят, а ночью — одна.

Говорить ей было трудно. Она держалась за грудь и покашливала.

— Не имею права вас тревожить. — Лаврентьев тоже кашлянул, из солидарности наверно. — Врачебные правила запрещают. Пойду, простите.

— Нет-нет, не уходите. Садитесь. Вот сюда, сюда на стул. Мы будем не спеша, тихо разговаривать. Это даже и по врачебным правилам можно. У меня, правда, еще высокая температура, жар...

Она дернулась на постели, Лаврентьев забеспокоился. Он жалел, что поддался порыву и зашел сюда. Можно было дома у Прониной узнать о здоровье Людмилы Кирилловны.

— Петр Дементьевич, у меня плохо на душе...

— Но почему же?

— Почему? Одним словом не выскажешь. Если вам не трудно, дайте, пожалуйста, водички.

Лаврентьев подал стакан, Людмила Кирилловна отпила половину, быстро облизнула губы, — они у нее сохли.

— Мне очень хочется рассказать вам о себе, может быть, тогда вы поймете, почему мне плохо. Я вышла замуж шестнадцати лет за человека, которому шел сорок первый. Художник. Он приехал в наш город, ходил по улицам с альбомом, зарисовывал древние церкви, развалины кремля, башни. И однажды увидал меня. Неделю сидела я перед ним на садовой скамейке, и он писал портрет девочки в голубом. Он так много знал, так интересно умел рассказывать, его рисунки казались мне гениальными, а сам он — бескорыстным жрецом высокого искусства... Потом — плакала мама... потом — мы уехали с ним в Харьков, — он был из Харькова. Я жила, не чуя под собой земли, я над ней парила. Как же — подруга гения! Через полгода подруга гения осталась одна, гению с ней, глупой, болтливой, восторженной и ужасно наивной, стало неинтересно. Гений ушел к более опытной, более близкой ему, тоже, как и он, жрице искусства. Я вернулась к маме и ревела, ревела полтора года... Дайте еще водички.

Снова отпив глоток, она продолжала:

— Началась война, я не задумываясь ушла на фронт. Окончила курсы медсестер — и ушла. На фронте я уже не плакала, не было времени плакать. Работала. А в гениев веру потеряла навсегда. Обжегшись на молоке, знаете ли, дуют и на воду. Я разуверилась и в любви, и мне казалось, тоже навсегда...

Людмила Кирилловна, протянув руку, взяла со столика крошечный флакончик духов и стала вертеть его пробку. Сложные чувства боролись в Лаврентьеве. В словах Людмилы Кирилловны не прозвучала ни одна фальшивая нотка, она говорила искренне, раскрыв сердце; он чувствовал, что рассказанное ею — правда, что это все так. Но... перед глазами вставал альбом: снимки Людмилы Кирилловны — в южных волнах, в пальмовых аллеях, рядом с блондинами и брюнетами, насупленными и улыбающимися.

Людмила Кирилловна отвернула лицо к стене, выбросив поверх одеяла иссушенные болезнью белые руки.

— Плохо как... плохо...

Лаврентьев поднялся, чтобы позвать тетку Дусю или Зотову, но его поймали за руку и удержали горячие пальцы Людмилы Кирилловны:

— Сидите!..

Лаврентьеву было очень тоскливо от всего этого разговора, от всей больничной обстановки; затем он поставил себя на место Людмилы Кирилловны, больной и одинокой, и тогда пришло сострадание. Он положил ее руку к себе на ладонь и другой ладонью погладил.

— Ну что вы, Людмила Кирилловна? Зачем волноваться? Я не знал, какой трудной жизнью вы жили. Спасибо вам за откровенность. У вас есть чему учиться. Вы — человек энергичный, стойкий, самоотверженный. У вас такие обширные и прекрасные планы, — о них я помню с нашей первой встречи. Убежден, что...

— Вы хитрый, — перебила Людмила Кирилловна, взглянув на него усталыми глазами, и отняла руку. — Вы хотите сыграть на моем самолюбии.

— Ни на чем я не играю, просто убежден, что

планы ваши будут выполнены. В работе своей вы найдете и силы, и удовлетворение, и смысл жизни. Знаете же сами это.

— Да, хитрый. Когда вы так говорите, мне начинает казаться, что я действительно чуть ли не борец за народное благо. А какой из меня борец? Я слабая, очень слабая. Мне вот хочется, чтобы сейчас рядом со мной была мама, поила бы меня морсом, заплетала косички...

Людмила Кирилловна говорила это с закрытыми глазами, ресницы ее мелко вздрагивали, по кривившимся губам скользила непонятная — то ли горькая, то ли счастливая — улыбка. Она снова бредила.

Чувство сострадания в Лаврентьеве сменилось нежностью. Черт возьми, если бы он мог, он бы охотно заменил ей в эту минуту ее маму, он бы и морсу наварил и заплел воображаемые косички. Нет, как там ни толкуют некоторые, он не такой уж черствый и неотзывчивый человек.

В те же ночные часы, на противоположной окраине села, в домике Звонких, происходила другая сцена. Возвратясь с партийного собрания, Ася рассказала матери о том, что Лаврентьеву за злосчастную выдумку со Снежинкой хотели сделать предупреждение.

— Ах, боже мой, боже мой! Выговор задумали объявить... Как же быть-то мне, глупая моя умница? Ну дай совет, Асютынька. Петр Дементьевич!.. Ах, грех на мне. Побегу, побегу к нему, слышь. Где плат? Где поддевка? К Антону побегу, к нему побегу, к Дарье...

— Да что такое, мама? Что с тобой? — растерялась Ася.

— Дура я — форсистая да заносчивая. Ума небольшого, хитрости великой. Человека под нож чуть не подвела. Какого человека! Где же плат-то?!

— Никуда не пущу. — Ася схватила ее за плечи, прижала к себе. — Пока не скажешь, что с тобой. Мамка ты смешная, по ночам бегать...

— Ну вот — на! Казни... Вся перед тобой. — Елизавета Степановна опустилась на стул, положила руки

на узоры скатерти. — Десятого теленка по его, по Петра Дементьевича, способу ращу. Ни в одном червоточинки, хвори какой не найдешь. Поняла?

— Это верно? — Асины крутые брови пошли вверх.

— Мать во лжи подозреваешь? Верно. И все тишком, тишком от людей, от Петра Дементьевича — главное. Форс перед ним гну — сами, мол, с усами. И не один форс — стыд глаза точит глядеть на него, прийти да сказать: прости, Петенька, нагалдела, а ты-то прав оказался.

— Так и надо было сделать сразу.

— Баба я, доченька, баба. Участковый приедет, ахает, зоотехник-то наш, думает: вот инструкцию хорошую дал... По его, мол, инструкции действую. А я по Петенькиной... Пойду, а? Дочка?

— Пойдешь, — строго сказала Ася. — И к Петру Дементьевичу, ко всем пойдешь. Только завтра. Не знаю, что тебе там будет — на вид ли, порицание... А от меня, считай, самый строгий выговор. Не скрытничай, не строй фокусов. Как не стыдно!..

— Стыдно, стыдно, срами меня. Стыд — что! За Петеньку горько. Ах, непутевая, неукладная, чего натворила!..

ГЛАВА ПЯТАЯ

1

Когда Владимир Ильич Ленин говорил, что социализм — это учет, в те, ставшие ныне далекими времена подавляющее большинство советских людей и не подозревало, насколько глубоко ленинское положение войдет в их плоть и кровь, в их труд — во всю жизнь. Учет сделанного, учет того, что надо сделать, учет возможностей, учет противодействующих сил — без него мы не мыслим поступательного движения вперед, не мыслим ни социализма, ни самого коммунизма — конечной цели великой борьбы народов... Магистральным руслом социалистического учета стал для нас план — от грандиозных, объемлющих жизнь

всей страны планов пятилетий, которые приводят в смущение надменных дельцов Лондона и Вашингтона, до планов токаря или комбайнера.

И самое удивительное в наших планах то, что, едва их составив, советские люди тут же задумываются — а как сократить срок выполнения этих планов, как превысить намеченное, как обогнать время. Время, время! Драгоценный фактор, ты ползешь слишком медленно в сравнении с дерзновенным полетом мечты свободного человека, и слишком быстро летишь, когда человек принимается за дело. На пять лет рассчитан каждый очередной план развития родины — каждому из нас хочется, чтобы выполнен он был за четыре года.

Карп Гурьевич, время от времени ездивший в район по личным и колхозным делам, в последний раз возвратился оттуда озабоченный. Пожав руку шоферу совхозной машины, он не стал даже заходить к себе, отправился разыскивать председателя. Антон Иванович сидел дома и, к удивлению Карпа Гурьевича, чертил карандашом на листе александрийской бумаги. Увидав в дверях гостя, Антон Иванович быстро закрыл свой чертеж газетой и забарабанил по столу пальцами. В глазах его было такое выражение, будто он не на Карпа Гурьевича смотрит, а в какую-то манящую даль.

— Разбудил тебя, — сказал, присаживаясь, Карп Гурьевич, сам хорошо знакомый с таким душевным состоянием. — Дело есть, Антон. Как на него посмотришь?.. Движок нашел.

— Движок? А зачем он нам?

— Зачем?.. Когда, ты мыслишь, мы линию из леспромхоза подведем?

— Той зимой, не раньше. Ну, в крайности — осенью.

— Во! А поилки автоматические на когда запланированы?

— На нынешнюю весну.

— Расчет на ветряк?

— Понятно.

— Не больно надежно, Антон. Я над этим ветряком голову поломал. Ненадежно. Места наши — лес-

ные, безветренные. Понял? Будь иначе — ты меня знаешь, — давно бы у нас ветряк крутился. Движок нашел, говорю. Сильный движок, на все его хватит — и на поилки, и на свет в домах, и на фонари по улицам.

— Тоже — дома, тоже — улицы! — буркнул председатель и, приподняв уголок газеты, заглянул под нее. — Хлам и мусор.

Карп Гурьевич его не понял.

— Хлам-то вроде бы и хлам. Старый движок — верно. Но механик там один объяснил, что восстановить можно, за милую душу работать будет. Полторы тысячи всего и дела.

— Полторы тысячи! — Антон Иванович присвистнул. — Кто же дерет такие деньги?

— Новый он все пятнадцать стоит. Не о деньгах думай — о пользе. Деньги — хочешь, свои выложу.

— Не хочу, мы не погорельцы. В общем так: я не против, я за. Где движок?

— На лесопилке, в бурьяне. Я к директору сходил — берите, говорит, пожалуйста, зря на балансе висит.

— Как бы и у нас не повиснул. Кто ремонтировать будет?

— Берусь.

— Ты же столяр. Что в железе смыслишь?

— Берусь, говорю.

— Давай сзывать правление, решим. Деньги общественные, общественная на них и воля.

Общественная воля решила: покупать движок. Особенно ратовала за это Дарья Васильевна.

— Вот спасибо тебе, Карпуша! — сказала она Карпу Гурьевичу. — Выручил. А я-то ночей не сплю, все думаю, как эту линию тянуть через леса. Просеку рубить... столбы ставить... Долгая песня, труда сколько. Там, глядишь, новые неурядицы. Провод порвется, ищи — где? А без свету — опять терпения нет. Везде сплошная электрификация, сплошная радиофикация. Одни мы темные. Что барсуки в лесной норе. И раздумывать нечего, покупаем — и только.

Событие было великой важности, ни один колхоз-

ник не остался к нему равнодушным, даже Савельич не сказал ни слова против движка, только скептически пожевал губами.

То, что у них будет электрический свет, подымало воскресенцев в собственных глазах. Большинство из них не совсем реально представляло себе, что практически принесет колхозу электричество, но сам этот факт — в Воскресенском динамомашина — ставил жителей лесного села в один ряд с колхозниками передовых областей страны: не лыком шиты!

Как только Павел Дрёмов узнал о движке, он пришел к председателю, бросил шапку на стол, встал в хрестоматийную позу Бонапарта, засунув пальцы за отворот куртки, и не сказал, а гаркнул во все горло:

— Точка! Хватит! Хватит слушать: все работы почетны. Пусть другие навозом развлекаются. Я специалист по ремонту!

— Чего ты орешь? — поднял на него спокойный взгляд Антон Иванович. — Мне агроном так и сказал: Дрёмова на ремонт.

— Агроном?

— Ага.

— А... ну ладно. — Сразу притихший, Павел побежал к Карпу Гурьевичу.

У Карпа Гурьевича во дворе стояло странное сооружение, похожее на железнодорожный вагон прошлого века, обшитое узким тесом, с железной округлой крышей; маленькие оконца с переплетами крест-нá-крест. В нем хранился лишний в доме хлам, жили куры, которых развела приемная дочка Карпа Гурьевича Леночка. Сооружение обросло кустами бузины, на проржавевшей крыше торчали пучки сухого овса. А когда-то оно наделало в селе шуму не меньше, чем деревянный бычок и подводный понтон. Задумав жениться на красавице своей Стеше, Карп Гурьевич, Карпуха тогда, задумался и о жилье. В отцовскую избу молодуху вести не хотелось, мечтания были о своей отдельной жизни, а средств поднять новую избу не предвиделось. Да и по молодости лет стремления были иные — не сидеть на месте, пойти побродить по белу свету. За землю молодой столяр не держался.

Выход ему подсказал проезжий цирк, который остановился на усадьбе Шредера. У циркачей был пестрый, разрисованный масками, обклеенный афишами фургон. Был он легкий, на рессорах, тянули его две мелкорослые лошадки с подстриженными коротко хвостами. Карп Гурьевич поглядел на него и принялся строить такой же. Кони — как-нибудь; сперва фургон, благо руки свои. Но одно дело — проехать от городка к городку, от селения к селению, подвезти загадочный цирковой скарб. Другое дело — ездить и постоянно жить в фургоне, зимой ли, осенью, в вёдро или ненастье. Нужны прочные, не пропускающие холода стены, нужна печка, нужны кровать, стол — словом, все, что есть в избе и без чего человеческая жизнь не мыслится. День за днем, неделя за неделей улучшал, совершенствовал свое будущее передвижное жилище молодой Карпуха. Отец только вздыхал, ходил вокруг него. Но и не порицал сына — сам был фантазер. «Ладно, — рассуждал он. — Коней нет — будет жить в фургоне, как в избе. Кони заведутся — неужто их никогда не приобрести! — поедет счастья искать». Старый друг отца — колесных дел мастер — соорудил для фургона могучие дубовые колеса со спицами в медвежью лапу толщиной и в высоту — по грудь человеку.

Наступил день испытания. Любопытствующих баб в фургон набилось, ахают там, охают, диву даются. Затопили печку. Мужики, которые поисправней, тоже любопытства ради, привели пару коней. Впрягли. Натужились кони, натянули жилы, уперлись ногами в землю — только вздохнули по-лошадиному, не стронулся Карпухин дом с места. Еще двух коней впрягли, качнулся фургон, под бабий визг проехал сажень — кони в мыле.

Надвязывали постромки, входя в азарт, воскресенцы, сами за колеса хватались. И выяснилось в конце концов, что лишь восемь лошадей способны были тащить невиданную избу, да и то скоро выбились из сил.

Загоревали оба, и сын и отец, поставили фургон во дворе на высокие чурбаки, колеса продали лесопромышленнику — бревна возить — и деньги с горя про-

пили. Так и доживал свой век в бузине один из многих плодов Карпухиной молодой фантазии.

Вспомнил Карп Гурьевич о фургоне, когда из города привезли на машине заржавленный старый движок. И Павел одобрил: лучшего помещения для мастерской не найдешь. Выселили кур, выбросили хлам, верстак с тисками поставили. Принялись разбирать двигатель на части. Павел не соврал — хоть и поверхностные, но понятия о моторах у него были. А кроме того, в библиотеке Карпа Гурьевича нашлась объемистая книга — «Двигатели внутреннего сгорания». Сидели над ней вдвоем, ничего не смыслили в формулах, ссорились из-за них и все надежды возлагали на чертежи. В чтении чертежей руководящая роль была за Карпом Гурьевичем.

Лаврентьев, заходя в мастерскую, досадовал на то, что ничем не может помочь мастерам. В институте читался курс механизации сельского хозяйства, говорилось там и о двигателях, но куце все это говорилось и куце читалось, без практических занятий, — так называемое «общее знакомство», которое никому ничего не дает.

Самозванные мастера вручную шлифовали поршневые кольца, притирали клапаны. Антон Иванович забегал, спрашивал:

— К двадцать третьему будет? — Он хотел, чтобы к празднику Советской Армии движок застучал и зажглась хотя бы одна лампочка. Задумываясь вначале о полутора тысячах, председатель готов был теперь и пятнадцать израсходовать, лишь бы не остановиться на полпути, лишь бы заработало сердце колхоза, как он образно окрестил двигатель. Он сам ездил в город — на лесопилку, в Сельхозснаб, толкался в райисполкоме, достал небольшую динамомашину, правдами и неправдами закупал медную проволоку, изоляторы, заблаговременно выхлопотал лимит на горючее; плотники у него отесывали столбы, мазали их комли вязкой, пахучей смолой.

— Неужто к двадцать третьему не будет? — тревожился он.

— Постараемся, Антон Иванович. Из кожи вон, —

отвечал Павел, смахивая пот со лба: в мастерской жарко топилась печка — Карп Гурьевич не терпел холода.

Сам Карп Гурьевич отмалчивался, сопел носом, орудуя непривычной для его рук драчевой пилой.

— Петр Дементьевич! — часто восклицала в эти дни Ирина Аркадьевна. — Как это великолепно — свет! Я люблю деревню, привыкла, сроднилась с ней, но как всегда угнетал мрак! .. Ах, как он угнетал, особенно в первые годы моей жизни здесь. Не в детские, конечно, годы, а после возвращения из столиц и театров. Сидишь во мраке — думаешь о прошлом, о безвозвратно потерянном.

Катя давно уехала, Ирину Аркадьевну ничто не держало дома. И она делила свое свободное время между посещениями Людмилы Кирилловны и беседами с Лаврентьевым. Лаврентьев, после того как узнал историю Прониной, переменил свое отношение к ней, стеснения при встречах не чувствовал. Он делал скидку на некоторые старомодности в манерах и в словах Ирины Аркадьевны и видел теперь в ней вполне советского человека, которого горячо интересует жизнь страны. Хоть краем, бочком, но она прикоснулась к истокам этой жизни в далекие, неведомые поколению тридцатилетних годы, своими глазами видела ее зарождение, разговаривала, жила в общих землянках, ела из одного котелка с солдатами революции.

Ирина Аркадьевна умела рассказывать о людях, окружавших ее Виктора. Почти каждый вечер заходила она к Лаврентьеву посидеть часок-другой и однажды стала невольной свидетельницей его встречи с Елизаветой Степановной.

Елизавета Степановна пришла с мороза раскрасневшаяся и оторопела в дверях: никак не ожидала, что, кроме нее, будет тут кто-то третий, с глазу на глаз хотела поговорить с Петенькой. С Дарьей Васильевной поговорила, с Антоном Ивановичем, теперь Петенькино слово ей понадобилось. Антон Иванович не был строг. «Ничего, обойдется», — сказал он. А Дарья Васильевна накинулась: «Вкривь и вкось идет у нас дело, Елизавета. Друг друга подводим. Чего таилась, зачем

скрытничала?.. Нехорошо. За Лаврентьева не хлопочи, человек он крепкий. О себе подумай».

Елизавета Степановна целый день думала. Пришла, — готова была в ноги Петеньке поклониться: прости, мол, навредничала. На грех тут эта Пронина случилась. Но отступать было поздно.

— Петр Дементьевич, я по делу...

— Знаю, по какому. Не стоит, Елизавета Степановна, расстраиваться. — Он улыбнулся, видя, в каком замешательстве старшая Звонкая, как крутит и рвет она концы своего платка. — Присаживайтесь. Спасибо вам...

— Да разве думала я, что выйдет так нескладно, — еще пуще зарделась она, по-своему истолковав его благодарность. — И Антона прошу и Дарью: мне выговор дайте, а не агроному: моя вина. Смеются, да и только.

— При чем тут выговор! Выговора никакого не было и нету. Откуда вы взяли выговор? — удивился Лаврентьев. — Я — о телятах, о холодном методе. На практике его подтвердили. Вот за что спасибо.

К жалостливому готовилась разговору Елизавета Степановна, со слезами, трогательными вздохами, — поворачивалось же на производственное совещание, в котором даже Ирина Аркадьевна смогла принять посильное участие.

— Человеческий организм, если его изнежить в тепле, и то теряет стойкость. Что же говорить об организме животного, — сказала Пронина, поправляя белоснежные кружева на рукавах. — Удивительно, как мудро, Петр Дементьевич. Это, вы говорите, по-мичурински? Но Мичурин ведь растениями занимался.

— Он занимался законами управления природой, Ирина Аркадьевна, — общими и для животного организма и для растений.

Лаврентьев задумался над тем, что надо бы колхозникам — всем без исключения — прочесть лекцию о Мичурине и его трудах, и не одну, а целый курс лекций. В практических делах люди колхоза сильны, не слабее, пожалуй, своего агронома, но только путем материалистической диалектики, учит земле-

дельца марксизм-ленинизм, можно приобрести точные представления о законах природы. Диалектически мыслить, диалектически решать задачи практики... Как для этого надо много знать! — не в первый раз сказал себе Лаврентьев. Знать, знать, знать... — об этом не он один думает, это он слышит каждый день от окружающих его людей. Карп Гурьевич с Павлом хотят знать теорию двигателей внутреннего сгорания, Анохин с Асей Звонкой — теорию и практику передовиков-хлеборобов, Асина мать — передовое животноводство; Антон Иванович говорит, что ощущает в себе организационную слабину, на курсах бы хоть каких подковаться; Дарья Васильевна постоянно роется в пособиях по партийному строительству; даже от Людмилы Кирилловны слышал он жалобу на недостаток знаний. «Хорошо бы, — сказала она еще при первой встрече, — теперь, после практики, побывать в институте усовершенствования врачей. Наука идет вперед, а я от нее отстаю». Всех тянет на курсы, в школы, в институты.

Клавдия Рыжова, как рассказывают, сама — и не в первый раз — выхлопотала себе поездку в область, когда узнала о новых курсах семеноводов. Провожая ее, помощник дяди Мити Костя Кукушкин заявил: «Если и меня не пошлют — сбегу к вам, тетя Клава». Но он не сбежал, потому что в совхозе открылась школа пчеловодов, и Костя ходит туда два раза в неделю; звал с собою дядю Митю. «А кто там главный? — допрашивал дядя Митя. — Елизаров? Семен? Нет, Костенька, не Семену меня учить. Вместе с ним у Шредера в мальчиках крутились, — сколько он, столько и я знаю. Да еще и потягаемся — кто больше». — «Елизаров три пчеловодческих школы прошел!» — не сдавался Костя. «Отскочи и умолкни», — сердился дядя Митя. Пожалуй, он один и считал себя превзошедшим все, по своей линии, науки, если еще Савельича не считать.

Но Савельич был великий хитрец. Отмахиваясь от новых колхозных начинаний, ехидно поджимая губы, он не с тупым оружием выступал, не с дубиной, а с тонким шильцем, которое вострил постоянно. Каждый день он много лет подряд приходил в сельсовет, пере-

читывал, пересматривал все газеты и журналы и оставлял у себя в памяти только то, что ему было нужно. А нужно было ему нечто особенное, что бы давало пищу вопросам, подобным тому, который когда-то завел в тупик агронома Серошевского. На выборах Савельич голосовал против Дарьи Васильевны — сам этим хвалился, — когда ее выбирали в депутаты районного Совета: баба — смех! — над мужиками будет верховодить. В колхозе поверховодила, хватит.

Он был всегда и всем недоволен, считал, что везде и всюду только и думают, как бы его ущемить. Когда в селе лет двадцать назад возникал колхоз, Савельич зарезал корову, успел продать лошадь, передавил всех кур, пришел на организационное собрание с медным безменом и пачкой бумажек, туго перевязанных шпагатом. «Вот что прошу принять в общественное хозяйство, — прикинул на безмене свою пачку. — Квитанции за сданный советскому государству хлеб. Полфунта бумаги. Сколько же хлеба сдано! Смекаете?» Воскресенцы тогда возмутились, Савельича не приняли в колхоз. Три года ходил в единоличниках, пока не переменилось колхозное решение.

Некоторые его побаивались. Любую кляузу мог написать в район, в область, в Москву — прокурору ли, в газету, в исполком, в партийные организации. Людей гонял по этим кляузам, целые комиссии. Когда его уличали во лжи и клевете, быстро соглашался: «Прошибся, ах, оказия! Только, извиняюсь, за шкирку меня брать — нет закона. Как говорится? Пять процентов правды есть — пиши, недостатки не замазывай». — «Да и пяти-то процентов нет, Савельич». — «А это ваше дело, ваше дело цифирь вести. Я малограмотный». — «Учись». — «Рад бы, спроздал, мозга сохнет, науку не принимает».

Да, пожалуй, только дядя Митя да Савельич не стремились к знаниям, к ученью — каждый по своим причинам. Ну еще, может быть, Марьяна Кузьминишна, пухленькая супруга Антона Ивановича, мастерица судаков коптить, полотенца, платочки вышивать, стучать коклюшками — плести кружева. Но не эти трое и не пятнадцать-двадцать еще каких-либо их еди-

промышленников представляли собой колхозный коллектив. Остальные колхозники хотели знать и знать. Вот проблема, размышлял Лаврентьев, глядя на узорчатый плат Елизаветы Степановны, — серьезнейшая проблема — широкое просвещение людей села. Нужен бы в каждой области свой колхозный университет с филиалами в районах и крупных селах. Было бы здорово!..

— Да оно и так, Петенька, здорово, — с удивлением услышал он голос Елизаветы Степановны. — Десять телков, все покудова живы-веселы. Ни один год так не бывало.

— Вслух размечтались. — Ирина Аркадьевна коснулась его руки.

— Это плохо. Признак...

— Увлечения. Это неплохо. Совсем неплохо. Наше время такое. Катюшка моя тоже часто разговаривает сама с собой.

2

Двигатель к двадцать третьему февраля пустить не смогли. К великому огорчению Антона Ивановича, «сердце колхоза» так и лежало в дряхлом фургоне грудой разбросанных частей. Пока не затеяли этого дела с электрификацией, колхозники, в большинстве, мирились с керосиновыми лампами. Но когда до осуществления намеченной перемены оставался, казалось, один шаг, многими овладело нетерпение, людей раздражала волокита с движком. Не только Антон Иванович — бригадир Анохин стал заглядывать в мастерскую, старший конюх Илья Носов, Дарья Васильевна, девчата, парни. Выслушивали пространные рассуждения Павла по поводу цилиндров и поршней, шатунов, всасывания и сжатия, и кто сочувственно качал головой, а кто выражал и негодование на медленную работу мастеров.

Об Антоне Ивановиче говорить нечего. Он, видя, что к празднику света не будет, расстроился и закупил полтора десятка двадцатипятилинейных пузатых ламп: «В потемках праздновать такую дату нынче не позволю. Хватит!»

После войны годовщина Советской Армии приобрела в народе особое значение, стала одним из наиболее торжественных дней в праздничном календаре. Трудно найти человека, которого, так или иначе, война не связала бы с армией. В Воскресенском почти все мужчины прошли через фронты; в каждом доме тут за два с половиной года близких боев перебывали сотни воинов — и солдат и офицеров; во многие семьи не вернулись отцы, мужья или братья. Как не вспомнить былое, как не сказать горячее слово о том, что если понадобится, снова будут распахнуты для бойцов гостеприимные двери, снова бригадиры, пахари, конюхи и косцы по первому зову родины, с ложкой за голенищем, с парой чистого белья и куском мыла в заплечном мешке, отправятся в город к железнодорожным эшелонам.

Чтобы сказать это слово, воскресенцы в назначенный час, как и всегда, собрались в школьном зале, ярко освещенном лампами. По поручению партийной организации доклад должен был делать Лаврентьев. Он сидел в первом ряду между Дарьей Васильевной и бригадиром Анохиным. На сцену, где стоял стол, покрытый красной материей, и десяток стульев, поднялся Антон Иванович.

— Торжественное собрание членов нашего колхоза, посвященное славной годовщине Советской Армии, считаю открытым, — сказал он.

Встала Ася.

— Товарищи! Предлагаю выбрать в президиум наиболее отличившихся в боях за родину наших односельчан. Предлагаю — Антона Ивановича Суркова, Илью Петровича Носова, Павла Константиновича Дрёмова... — При каждом новом имени зал дружно аплодировал.

— Петра Дементьевича Лаврентьева, Ульяна Фроловича Анохина, Дарью Васильевну Кузовкину...

Лаврентьев машинально перелистывал блокнот, ожидая, когда ему предоставят слово.

Загремели стулья, члены президиума из зала пошли на сцену. Мужчины в кителях, выцветших фронтовых гимнастерках, при всех орденах и медалях; гвар-

дейские значки, нашивки за ранения — красные и золотые ленточки...

Дарья Васильевна — в черном новом костюме, который надевала только в торжественных случаях. Справа на груди у нее багрянела пятиконечная звезда, слева блестели медали за трудовое отличие в мирные времена и за героический труд в Отечественной войне.

Лаврентьеву предоставили слово, он вышел к трибуне, отделанной под светлый дуб Карпом Гурьевичем. Пока шел через сцену, видел расширившиеся, удивленные, восторженные глаза Павла Дрёмова в президиуме, повернулся лицом к залу — услышал тотчас вспыхнувший, тоже восторженный гул и шепот двух сотен людей; гул нарастал и разразился такими отчаянными аплодисментами, что замигали и зачадили лампы Антона Ивановича. Аплодировали и позади, в президиуме. Лаврентьев ничего не мог понять, тоже стал растерянно аплодировать. Ему и в голову не приходило принять это бурное изъявление восторга на свой счет. Он совсем забыл, что, как и все фронтовики, для торжественного дня нарядился в старенький китель, на котором были прикреплены его награды. Никогда прежде он их не показывал, никому о них не говорил, вместе с кителем они хранились в чемодане. В зале много было людей с орденами, воскресенцы достойно прошли через годы войны, но и они ахнули, увидав грудь Лаврентьева. Кто мог подумать — у агронома семь орденов! И каких! Три ордена Красного Знамени и четыре ордена Отечественной войны обеих степеней. С такими наградами встретишь седого полковника — командира дивизии, генерала, солдатом начинавшего воинский путь где-нибудь под Перекопом или в астраханских степях, воздушного асса, славного героя отечества. Значит, перед воскресенцами и был такой герой, этот обманщик Лаврентьев. Ловко обвел всех вокруг пальца... Они считали его обманщиком, хитрецом, восторгались им, бушевали, а он стоял растерянный, на душе было радостно и вместе с тем беспокойно: приветствуют минувшие заслуги, приветствуют бывшего офицера советской артиллерии. А где же агроном Лаврентьев? Агроном Лаврентьев — ма-

ленький винтик в большой машине, которому время от времени надо подкручивать гайки, о чем-то его предупреждать, за что-то отчитывать и меньше всего приветствовать. Трудно жить былыми заслугами, хочется новых, а как их добыть? . .

Об этом Лаврентьев упомянул в своем докладе. Ему большого труда стоило не сбиваться под напором нахлынувших воспоминаний, не превратить доклад в пересказ событий, через которые шел путь развития Советской Армии. Он задумал рассказать о доблести и героизме советских людей и на фронте и в тылу, и в дни войны и в дни мира, подчеркнуть главную мысль, что народ и армия едины, что каждый советский солдат в любую минуту может стать пахарем и каждый советский пахарь — солдатом. Слушали больше часа, и никто не задремал, даже из стариков — любителей всхрапнуть на колхозных собраниях, даже Савельич не кривил губ и не мусолил погасшую цыгарку. Лаврентьев видел внимательные, устремленные на него глаза и бодрил себя мыслью: «Нет, товарищи, не спешите с выводами. Не только капитан Лаврентьев, но и агроном Лаврентьев что-нибудь да сделает на пользу вам и народу. Во всяком случае, он к этому стремится всеми помыслами».

Закончив доклад, он сел на свободный стул в президиуме, крайний к кулисе, за которой стояла Ирина Аркадьевна.

К трибуне выходили бойцы, вспоминали минувшие битвы. Громыхал басом Анохин, в зале смеялись над тем, как он за рекой Сунгари, в гаоляне, ловил самурая. Самурай прыгал, ползал ужом, кувыркался не хуже циркового клоуна. Анохин не прыгал и не кувыркался, шел на противника, подобно танку, тяжелой, уверенной в себе глыбой и наконец прижал злого, взбешенного человечка к стене покинутой маньчжурской фанзы. Человечек выхватил меч — священный закон требовал от него совершить над собой харакири. Закон, однако, был нарушен — самурай поднял руки перед дулом автомата Анохина. «Она у меня и сейчас, эта саблюка, ребята лучину колют, кто желающий посмотреть — приходите». Но самурайскую саблюку,

разукрашенную тысячью хитрых узоров, и так все воскресенцы давным-давно перевидали.

Лаврентьев тоже смеялся. Анохин умел как-то здорово, в лицах, рассказывать. Не подумаешь этого о нем, зная, как малословен и мрачен бригадир на заседаниях правления. Веселая улыбка вдруг исчезла с лица Лаврентьева: внимание его привлекла рыжеволосая молодая женщина. Она сидела в первом ряду, на том месте, где до доклада сидел он сам. Когда пришла? Откуда взялась? Чем больше смотрел на незнакомку Лаврентьев, тем труднее ему было отвести от нее взгляд. Что такое было в ней привлекающее? Как будто бы ничего особенного. Рыжие, но не яркорыжие, а цвета спелой пшеницы, высоко взбитые волосы; как у всех рыжеволосых — белое лицо; зеленые глаза... Но мало ли рыжих, мало ли белолицых и зеленоглазых. И бровей таких, уползающих к вискам, сколько хочешь на свете. Нет, не яркие краски привлекли внимание Лаврентьева — взгляд. Этот взгляд был устремлен на Анохина. Все смеялись рассказу бригадира — на лице рыжеволосой не дрогнул ни один мускул.

— Кто такая? Откуда? — спросил Лаврентьев, склоняясь в сторону Ирины Аркадьевны и указывая глазами на первый ряд.

— Это? Знаменитая Клавдия Рыжова. Не признали свою невесту. Ай-ай! .. — засмеялась она. — Помните — Антон Иванович? ..

Лаврентьев помнил разговор о невестах, но не мог понять, отчего так самозабвенно Антон Иванович расхваливал эту женщину и откуда у него до женитьбы шли колебания: Марьяна или Клавдия. Марьяна — миленькая, славненькая. Клавдия? .. Какая-то холодная, надменная. «Вернется — сам раздумывать не станешь», — уверял Антон Иванович. Не о чем, собственно говоря, и раздумывать. Ничего привлекательного в этой Клавдии нет.

Рассуждал так с собой Лаврентьев и смотрел, смотрел на Клавдию, смотрел до тех пор, пока Клавдия не почувствовала, что ее разглядывают, и не повернула лицо в сторону Лаврентьева. Глаза их встретились.

Лаврентьев не выдержал холодного безразличия в пристальном взгляде Рыжовой, сделал вид, что его заинтересовала какая-то бумажка на столе, и снова опустил глаза. Ему казалось, что рыжеволосая все еще смотрит на него. Он вертелся, перешептывался с Носовым, говорил какие-то пустяки Антону Ивановичу, наклоняясь к нему за спиной Дарьи Васильевны, лишь бы только не смотреть в зал. Но в такой борьбе человека с самим собой чаще всего побеждает слабая его сторона. Не одолел себя и Лаврентьев, все-таки взглянул, быстро, исподлобья. Клавдии на месте не было. Она стояла в конце зала у дверей, разговаривала с Елизаветой Степановной. Лаврентьев пытался убедить себя, что ему стало легче с ее уходом, и не мог. Ему хотелось, чтобы Клавдия попрежнему сидела здесь, перед ним, и даже пусть бы тревожила его своим упорным и холодным взглядом.

— Свояченица приехала? — шепнул он Антону Ивановичу, не совсем уверенный, таким ли словом определяется степень родства председателя с сестрой его жены.

— Ага. Перед самым вечером. Ночь не спавши. Злая. Меня уже успела отсобачить. У вас, говорит, тут и агрономы, и председатели, и бригадиры, а крыс развели в хранилищах. Семенники жрут. Даст она нам жару, Петр Дементьевич. Самим, заместо котов, крыс ловить придется. Говорил тебе — солдат в юбке...

«Совсем другое ты говорил», — подумал Лаврентьев, не разделяя веселого настроения председателя.

Торжественное заседание закончилось пением гимна. Затем Антон Иванович объявил перерыв, и Пронина, выйдя из-за кулисы, сделала сообщение:

— Через пятнадцать минут, товарищи, коллектив драматической самодеятельности просит вас просмотреть нашу новую постановку. В главных ролях Александра Звонкая, Николай Жуков и Люся Баскова.

Известие было принято шумно. Драмкружок не действовал уже много лет, о нем позабыли — существует ли, и вдруг — новая постановка! Как ни хорошо кино, а и театра хочется: свои артисты, живые голоса. Асютка за бесприданницу переживает, Николай Жу-

ков, шофер, золотой цепкой на жилете поигрывает — приказчик!

— Качать Звонкую! Баскова где? Николай! Даешь сюда Ирину Аркадьевну! — воодушевилась молодежь.

— Друзья, друзья! Что вы, что вы! Мои годы... — отбивалась, отшучивалась Ирина Аркадьевна.

Лаврентьев тем временем протискивался к дверям. Что его туда тянуло? Клавдия? Но она уже исчезла. И на улице ее не было. Там стояли на морозце, курили, разговаривали.

— Да-а, значит. Тут я как шарахну гранатой...

— Лежим на снегу, небо в звездах, студено, а не шелохнись: противник в сорока метрах...

— День идем, два... третий. Кругом лес да болота, хоть головой о дерево бейся, но приказ выполни. Как выполнишь? Заплутались...

Кто там говорит в февральской тишине? Чьи голоса?

Подошел Павел Дрёмов, бросил в снег папиросу, затоптал.

— Петр Дементьевич, не серчайте, прошу, — начал он с обиняков.

— Не пойму.

— Сам не пойму — с чего? Характер, говорят, такой.

— Да о чем вы, Павел?

— Ну вот на дыбки всегда вздымаюсь, как что не по мне, не по шерстке выходит.

— У многих такой характер.

— Мне на многих чихать, Петр Дементьевич, — Дрёмов закурил новую папиросу. — Я о себе... Как увидал ваши ордена, совестно стало. Эх, думаю, своим одним хвалился. У человека вся грудь в них — молчит, попусту не звякает. Конечно, насчет Урала я давно узнал, что прошибся, и про офицерское звание узнал, и про ранение. Про ордена — ахнул сегодня.

— По-вашему, выходит так, Дрёмов: нет у человека орденов — думай и говори о нем что в голову взбредет. Есть ордена...

— Свой дорого достался. Может, поэтому я так, Петр Дементьевич...

— Дорого?

— Дорого. Когда обложили Кенигсберг, наткнулись мы на ихние форты...

— Вы под самым Кенигсбергом были?

— И под самым и в самом. Ботанический сад, Северный вокзал, полицейское управление... Я там каждую улицу знаю.

— Я тоже под Кенигсбергом воевал.

— Ну?! С одного фронта, выходит. Земляки. За́мок-то, королевский, помните...

— За́мка не помню. В город не вошел, ранило. А форты знаю, давал им огоньку.

— Что ж я тогда рассказываю? Форт, в общем, брал. «Кениг Фридрих Вильгельм» назывался. Жуткий. Подземелья, рвы с гнилой водой, над рвами решетка с шильями... Пулеметы садят. А я добровольно в штурмовую группу вызвался. Руки чесались противника пощупать. Надоело в мастерской. Ну и пощупал. Получилось. На главном куполе минут пятнадцать под этаким огнем проелозил... Завалил амбразуру, наблюдатели там сидели... пульт управления... Землей завалил, шинель свою запихал в смотровую щель, вещевой мешок. Мины вокруг шлепают, черт-те что идет. Даже и не гляжу, свое дело делаю, в горячке весь. Командир дивизии как узнал, кто ослепил наблюдателей, так сразу и приказал: «Представить к Отечественной первой степени». Потом я осмотрелся — и гимнастерка у меня и штаны — в клочья от осколков. Каблук долой снесло. А в самом — мелочь, что дробинки, штук пять!.. Одно слово, не рассказчик я, — махнул вдруг рукой Дрёмов. Ему показалось, что Лаврентьев его не слушает. — Вот Анохин бы расписал. Да дело не в рассказах, Петр Дементьевич. Нехорошо как-то мне перед вами, нескладно.

— Обойдется, Павел. Работать нам вместе, вместе заботы делить... Есть?

— Есть, товарищ капитан!

— Кто тут капитан? А, Петр Дементьевич! — вынырнул из темноты Анохин. — Уважил нас орденами.

— И вы об орденах.

— Как же! Слова из песни не выкинешь. Такой аг-

роном нам подходит. Двинули, товарищи, в залу,— зовут!

Спектакль шел своим чередом. В старомодном длинном платье Ася казалась Лаврентьеву еще милей, еще привлекательней, чем в будничных одеждах. Вначале он ей подмигивал, кивал головой, улыбался, то есть делал то же, что и его соседи. Но Ася не замечала ни подбадривающих кивков, ни улыбок. Она ушла в иной мир, она пела на сцене под гитару Жукова, она плакала, ненавидела, горько билась головой о стол. И постепенно зрители переставали видеть Звонкую, перед ними была жертва злой обывательской среды, их захватывала чужая жизнь, и они вместе с Асей стали и ненавидеть и сжимать кулаки.

Лаврентьев поймал себя на том, что, переживая перипетии старинной драмы, думает о Клавдии Рыжовой: как бы эта злюка вела себя на месте героини? События бы пошли, пожалуй, по-другому. Эта так легко не сдастся, не отступит перед грубой волей, жизнь ее не очень-то согнет.

Он не мог понять, почему, но Клавдия явно напоминала ему его Наташу. Он говорил себе, что это вздор: ничего общего ни во внешности, ни, тем более, в отношении к окружающим,— он немножко был знаком с ее отношениями с односельчанами по рассказам колхозников. Но вот — вздор, а стоит подумать о Клавдии, сразу же в памяти возникает Наташа. Клавдия, как и Наташа когда-то, завладела душой Лаврентьева с первого взгляда. Он этого еще не сознавал, он еще считал, что рыжеволосая ему неприятна, что он вызывает ее образ перед собой лишь затем, чтобы снова и снова убедиться в неприязни к ней, снова увидеть ее недостатки. Но... но вызывал и вызывал его, этот образ.

3

Блеснули ордена Лаврентьева на вечере, блеснули — и больше о них никто не вспоминал, кроме воскресенских ребятишек, которые, когда он проходил по улице, шептали вслед: «Три боевых Знамени... Три

боевых!..» Ордена — для праздников, в будни — работа. Чем ближе к весне, тем больше прибывало дел. Агронома тянули во все стороны. Анохин с комсомолками тянут: давайте, Петр Дементьевич, составим подробный агротехнический план по пшенице. Кузнецы: пора инвентарь распределять по бригадам, вокруг кузни грудками и рядками — отремонтированные плуги, бороны, культиваторы, сеялки. Илья Носов: надо прибавить норму овсеца коням, в теле чтобы подвести их к весеннему севу; похлопочите, товарищ Лаврентьев, перед правлением. Кладовщик приходит, требует произвести проверку закромов — не завелся ли клещ или еще какая тварь в зерне. Потом опять явится Анохин — зовет на консультацию, так ли стеллажи устроил для яровизации картофеля. Из МТС приехали агроном и бригадир тракторной бригады, вместе просидели три дня над планом колхозных угодий, разметили участки под машинную обработку. Садоводы гадают, каких бы сортов саженцы заказать в питомнике,— подскажи, Петр Дементьевич. Дарья Васильевна печется: выйдет или не выйдет загонная пастьба скота, в прежние годы срывалась, не понять даже — по каким причинам: то ли трава не растет, то ли пастухи халатничают; а потом бы хорошо кочки на выгонах срезать да белый клевер подсеять... Из района тоже каждый день названивают, едут проверщики, уполномоченные...

Обстановка — как бывало перед большим боем: за оборудованием огневых следи, выбирай места для наблюдательных пунктов, распоряжайся налаживанием связи, беседуй с личным составом, веди разведку переднего края противника; трещат полевые аппараты, пищит рация — дивизион, штаб полка вызывают комбатра; мчатся связные.

Лаврентьеву такое сходство подготовки к весне с подготовкой к бою было по душе. Оно бодрило, взвинчивало чувства и нервы, держало в напряжении. Чуть свет — на ноги, гимнастика, завтрак — и в колхоз. Отгремит день с беготней от амбаров к инвентарному сараю, от конюшни к правлению, от избы, где в тарелках и блюдечках проращиваются семена для проверки

на всхожесть, к скотным дворам, отойдут летучие заседания, занятия агрокружка, долгие беседы с Антоном Ивановичем и Дарьей Васильевной — глядишь, небо уже в звездах: двенадцать, а то и час ночи, пора в постель. Сон приходит каменный; как ляжешь на правый бок, так на правом и проснешься, и снова — на ноги, гимнастика... в колхоз. Всем ты нужен, все тебя зовут, требуют.

Только Клавдия Рыжова за две недели ни разу не пришла к агроному, не позвала, ни о чем его не спросила. Антон Иванович ошибся со своим заявлением: «Даст она нам с тобой жару». Ему одному, председателю, доставалось от семеноводки. Она сознавала прочное свое положение в колхозе и командовала правлением. Рыжовой ни в чем не могли отказать. Как откажешь, — такие дает доходы! Рыжовские семена овощей идут на вес золота. Египетская свекла, красносельская брюква, капуста сортов «Слава» и «Номер первый», мелкие, как мак, но ценнейшие, чуть ли не по полтиннику за грамм, зернышки цветных капуст — кто в районе и во всей области не знает, что лучше Клавдии Рыжовой, по качеству, по сортности, ни один семеновод их вырастить не может. «Кланя, Клавочка, Клавдия Кузьминишна!..» — заискивает перед ней Антон Иванович. Она пользуется этим, требует лишних минеральных и органических удобрений, лишних людей к себе на семеноводство, лишнего тягла; у нее все в излишке, всего избыток. А продолжает требовать и требовать, и ей дают и дают. У других неуправки, нехватки, «узкие места» — у Рыжовой дело идет гладко, как корабль в заштилевшем океане. Спокойно, без спешки и волнений, набила парники, высеяла сортовую рассаду, перебрала семенники в хранилищах, в отдельный сарай заперла под замок удобрения. Никаких бурь, море спокойное, Клавдия — капитаном на мостике, облокотилась о поручень, уверенная в себе, видит уже осень, всегда приносящую ей привычный успех. Тайны семеноводства давно ею постигнуты и изведаны; постигнуты и секреты влияния на умы и сердца односельчан.

Откуда взялось все это у двадцатишестилетней жен-

щины? Так сложилась жизнь, так она воспитала Клавдию. Клавдия никогда не слыхала о древней индийской пословице: «Посеешь поступок — пожнешь привычку, посеешь привычку — пожнешь характер, посеешь характер — пожнешь судьбу», но характер ее формировался именно по таким ступеням, начиная от первых детских поступков.

Отец Клавдии, лесоруб, погиб под вековой елью, мать бросила детей и сбежала в город с агентом какой-то заготовительной конторы. На попечении девочки осталась сестренка, которой едва минуло восемь. От чьих-либо забот, сочувствий и попечений, — а их предлагали со всех сторон — оскорбленная бегством матери Клавдия гордо отказалась. «Мне тринадцать лет», — с достоинством заявила она всем, даже Карпу Гурьевичу, когда тот сказал, что готов взять к себе в дом и ее и Марьянку. Дело было летнее, Клавдия работала в колхозе, что-то там в меру своих сил зарабатывала. Осенью как ни в чем не бывало пошла в школу и сестренку снарядила в первый класс. Возвращались обе после уроков, начинали хозяйничать, обед готовить, избу прибирали. Старшая всегда была недовольна тем, что и как делает в доме младшая, и мало-помалу оттеснила ее и от печки, и от мытья полов, и даже от чистки картофеля. «Сиди уж, коли руки у тебя такие нескладные. Сама сделаю», — говорила на каждом шагу. Марьянкина жизнь зимой проходила за уроками да возле окошка, на замороженных стеклах которого она дыханием и пальчиком проделывала круглые гляделки, летом — с мальчишками и девчонками на улице.

Когда соседки захаживали в дом к Рыжовым, «присмотреть за сиротками», они убеждались, что присматривать ни за кем не надо — в доме полный порядок, обеды, ужины у сироток есть; одежонка только ветшает, надо бы помочь. Но Клавдия отвергала всякую помощь. Орудуя ржавыми ножницами, искалывая пальцы иголкой, она кроила из отцовского и материнского старья, шила себе и Марьянке неуклюжие, кривоплечие кофты, куртки, юбчонки, прикапливала деньжат от продажи яиц учительницам — держала десяток куриц и драчливого петуха, который бегал за пятками

прохожих, — покупала галоши вместо ботинок; девочки шлепали в них весной и осенью, по снегу, обернув ноги шинельным сукном. Колхоз и школа много раз пытались прийти на помощь. Клавдия отказывалась: «Мать не заботится — чужие не обязаны. Не хочу».

Едва подросла Марьянка — строгая сестра и ее отправила на колхозные работы, в бригаду к огородницам, полоть грядки. Но от Марьянки толк был маленький, работала она плохо — разленилась дома за спиной сестры, вместе с травой выдергивала и морковку, ковырялась не спеша, сидела в борозде, разглядывала птичек, бабочек, мечтала. Попрежнему тяготы жизни несла на своих худеньких плечиках Клавдия. Она окончила семилетку, хотела идти дальше, но не удалось — помешала война. Клавдия все силы вложила в колхозный труд. Работала, работала и работала. Мужчин осталось мало, в те времена правлением руководила Дарья Васильевна, и председательница говорила: «Кланька у нас пятерых мужиков заменяет». Это не было слишком большим преувеличением. Старшая Рыжова пахала, сеяла, работала на конной жнейке, могла и косой махать на лугах — и так махать, что за ней не поспеешь. Девушка не высказывала своих мыслей перед людьми, но ей до боли в сердце хотелось хорошей жизни. Сначала это шло от желания доказать матери, которую она, в одиночку борясь за существование, возненавидела, — доказать, что, как бы мать ни вела себя, они с Марьянкой не пропадут; а потом и от простых девичьих потребностей — не быть замарашкой, не быть предметом жалостливых вздохов и сочувствий. Во время войны эти желания слились с необходимостью работать по-фронтовому. Кругом были бойцы и офицеры, во имя победы оставившие свой дом, своих родных и близких. «И я ничего не пожалею во имя победы», — горделиво говорила себе Клавдия.

После войны она первой среди односельчан достигла хорошей жизни. У нее и у Марьянки появились шелковые платья, туфли на высоких каблуках, драповые пальто. А когда ее поставили руководить семеноводческим звеном вместо умершей бабушки Агафьи, Рыжовы окончательно поднялись на ноги, — денег и

продуктов Клавдия получала так много, что ей завидовали и полеводы, и доярки, и правленцы. Каждую зиму она уезжала на курсы и становилась все искусней и искусней в своем деле. Работа приносила ей много радостей и еще больше сулила их впереди. Но жизнь личная... Ее не было, не получалась она, не давалась в руки, обходила девушку окольными тропами. Характер начинал себя показывать. Выросла властная, несговорчивая, слишком самостоятельная. Ни один из парней не казался ей парой. «Серый ты, Костя, и вялый. Скучно с тобой», — запросто говорила она тому, кто пытался за ней ухаживать. Или: «Брось, Митя. Не выйдет. Не люблю, когда надо мной верховодят, а у тебя замашки старого боярина. Посадить бы девку в терем да держать там, от людей прятать. Гуляй с другими». Никто бы не сказал о Клавдии: красивая, — Марьянка куда красивей была, а тянула Клавдия к себе чуть не каждого. Антон Иванович, возвратясь из армии и сменив Дарью Васильевну на председательском посту, каблуки сбил. Ходил за Клавдией по пятам, неизменно слыша одно и то же: «На должность председателевой жены меня не тянет». — «Да я, хочешь, в бригадиры пойду, в рядовые... Кланька?» — «Вот то и плохо...» — «Что плохо? Что?» — «Все. Линии у вас нет твердой, Антон Иванович. Качает вас на волнах». И говорила она это таким безучастным, таким безразличным тоном, что Антон Иванович чувствовал — не в линии дело, не в волнах, просто ненужен он ей и неинтересен. Другое дело — Марьянка. Томными смотрит ему в лицо глазами, ласковыми, открытыми... Глаза эти и победили его сердце, истосковавшееся за военные годы по ласке. Увел он сестру от Клавдии, полюбил Марьянку жадной любовью и теперь со страхом иной раз думал: «Вот пронесло беду. Что было б, не дай Клавдия ему отставку! Поживи с таким чертом — небо с овчинку покажется...»

Пытался ухаживать за Клавдией и агроном Кудрявцев. Сам отступил, не дожидаясь отставки; перешел на дружеские с ней отношения. «Высокие чувства вам недоступны, Клавдия Кузьминишна, — говорил он ей в шутку. — Не о вас ли в сказке сказано: слепили дед

да баба себе дочку из снега? Глядите, придет весна — как бы лужа только не осталась от вашего холодного величия...» Клавдия задумывалась: где она, эта весна? Для всех ли приходит? Четверть века на свете — и ничего, кроме работы и работы, у нее нет. Не поздно ли думать о весне? Зеленые глаза темнели, прямые брови шли вкось к вискам, губы сжимались, скрывая голубоватый ряд мелких ровных зубов, белое лицо бледнело до мраморного цвета и еще резче становились на этой белизне веснушки, присущие всем рыжеволосым. Неприятные думы о личном еще круче заставляли Клавдию браться за общественное, еще больше требовать от правления, еще энергичней работать.

Лаврентьева раздражала эта не знавшая границ требовательность Рыжовой, раздражала и уступчивость правленцев перед ней.

— Семеноводство наше перерастает в какой-то флюс, и, мне думается, в зловредный, — говорил он Антону Ивановичу. — Оно ущемляет другие отрасли хозяйства.

— Доход-то какой, Петр Дементьевич, от этих семян! — мялся председатель. — Деньги, деньги...

— Только о деньгах думать — скользкий путь.

— Только о деньгах, верно, скользкий. Но если деньги как средство для достижения цели...

— Какой цели?

— Полного переустройства... Зажиточности.

— Покупать, значит, хлеб? Покупать сено? Так, что ли? Я против, и категорически против, товарищ председатель. Всему свое место.

— Что ж, Петр Дементьевич, попробуй, поставь ее на должное место. Нашему бы теляти... — Антон Иванович усмехнулся дружелюбно и не без сожаления; напрасно-де, приятель, осаживать Клавдию. Большой разбег взяла, большую власть. — Попробуй, в общем.

— И попробую.

Магомет не идет к горе, гора идет к Магомету, — как всегда перепутал пословицу Лаврентьев и отправился на парники. Под мартовским солнцем поблескивали умытые талым снегом рамы, сквозь стекло были видны молодые всходы, как зеленые строчки на

черном. Теплый воздух дрожал над штабелем утрамбованного навоза, пахло конюшней, мокрой соломой. Женщины, одну за другой приподымая рамы, поливали всходы из леек; сверкающие тонкие струи воды казались пучками алюминиевой проволоки, туго били в рыхлую землю.

Клавдия в желтых, по ноге, сапогах с кокетливыми кисточками на голенищах, в синем, туго затянутом на талии поясом халате поверх пальто, в серой, из каракуля, шапке наподобие папахи, стояла среди этого весеннего оазиса, окруженного снегами, и из-под ладони смотрела на солнце.

— Клавдия Кузьминишна! — окликнул Лаврентьев, подходя, и, когда она обернулась к нему, увидел, как быстро расширяются у нее зрачки, только что от солнечного света сжатые в булавочную точку.

Клавдия смотрела на него пристально, в упор и недружелюбно. Она много наслышалась о новом агрономе, наслышалась о том, что он падок до нововведений, во все сует свой нос, — говорили, конечно, иначе, но Клавдии так было угодно истолковывать одобрительные о нем слова колхозников, — и все эти две недели ждала его появления в своем семеноводческом хозяйстве, готовилась встретить достойно.

— Слушаю вас, — сказала она, бледнея от волнения: наконец-то пришел.

— Как дела идут?

— Как полагается им идти.

— А как полагается?

— По графику.

— Выдерживается график?

— Для чего он и составлялся!..

— Колючая вы.

— Возможно.

«Вот так разговорчик!» — подумал Лаврентьев и завел узко специальный разговор о семеноводстве. Он не случайно две недели избегал встреч с Рыжовой. Хотя и урывками, но за этот срок ему удалось прочесть и просмотреть десятка полтора книг, касающихся Клавдиной специальности. Он чувствовал, что безоружному перед ней предстать было нельзя, и теперь

с удовольствием убеждался в своей правоте и мудрой предусмотрительности. Клавдия очень много знала, но кое-что и ей было неизвестно. Лаврентьев со скромной, неброской щедростью демонстрировал перед семеноводкой свои знания. Это ее встревожило. Перед ней не Кудрявцев, для которого овощеводческое дело вообще не существовало, а тем более семеноводство, и который ей полностью доверялся. Надо быть осторожней, точней в словах и поступках, а как тут будешь осторожней?

— Я подсчитал, — говорил Лаврентьев, — потребности вашего звена. Придется часть удобрений у вас отобрать, полеводки наши нуждаются.

— Отобрать? — Давно с Клавдией так не разговаривали. — А кто позволит?

— Через правление проведем.

— А!.. — Это было легче. С правлением-то она сумеет поладить. — Проводите, товарищ агроном.

— Кроме того, четырех женщин вам следует уступить полеводческой бригаде, Клавдия Кузьминишна, — продолжал Лаврентьев.

— Проведете — уступлю. Еще что уступить?

— Рассчитывать советую на одну лошадь, а не на две.

— Так. Дальше?

— Самим идти в лес и заготовлять колья для семенников. Мужчины заняты на вывозке удобрений.

— Все?

— Да все.

— До свидания.

— Я еще не ухожу. Хочу посмотреть, как выполняется график. Пойдемте, показывайте хозяйство.

Он заглядывал под рамы, выдергивал некоторые ростки, смотрел, не завелась ли «черная ножка», правильно ли полита земля; с первого знакомства надо было показать Рыжовой, что он — агроном, главный инженер, а не статистик и регистратор.

Она видела, что Лаврентьев не регистратор, убеждалась в этом и неистовствовала в глубине души: «Мне, Рыжовой, недоверие! Надо мной, Рыжовой, контроль! Да знает ли он, что с ней, Рыжовой, сам пред-

седатель облисполкома товарищ Санников за руку здоровается! Знает ли?! Ну посмотрим, ну посмотрим — кто кого!» Ей не терпелось прийти на заседание правления. Там-то она покажет, кто такая Рыжова! Здесь, на парниках, ничего не получалось. Кричать, браниться — это ниже ее достоинства. Хранить обычное недосягаемое величие — не действует на странного человека, не замечает он, да и только, этого величия, ведет себя с нею как равный. Возмутительно!

Ожидаемое заседание совсем обескуражило Клавдию. Как она ни протестовала, Лаврентьев только цифрами, только точными подсчетами сумел доказать правленцам необходимость передачи и удобрений, и людей, и тягла из семеноводческого звена полеводам, в тех именно количествах, о которых он уже говорил Рыжовой.

— Хорошо, по средствам и работать будем. Сколько получили, столько и дадим, — сказала она, когда было вынесено решение.

— Работать будешь попрежнему, и даже лучше, — остановила ее Дарья Васильевна. — Семян дашь не меньше, а больше...

— Такова задача, — подтвердил смущенный и в то же время довольный Антон Иванович. Довольный тем, что на Клавдию найдена управа. «Нашла коса на камень». Он хитро взглянул в сторону спокойного, уверенного в своей правоте Лаврентьева.

— Ты коммунистка, — добавила Дарья Васильевна. — Не забывай об этом, Кланюшка.

— Не забываю. Делом, кажется, доказываю, что не забываю. Но и не пешка.

— Вот-вот, о чем и разговор: не пешка, — не теряла материнского тона Дарья Васильевна. — Пешке мы бы такое дело не доверили. Пешка и со ста конями, и с целой горой удобрений, и с пятью ротами баб его бы провалила. Будь ты, милая, пешкой, ничего бы у тебя не урезали, еще бы прибавили. Смекаешь или нет?

Дарья Васильевна знала, с кем и как разговаривать, на кого и чем влиять. Бесценное умение руководителя! Муж ее, десятник на лесоразработках, в силу

должности своей редко выбиравшийся из леса, находил время, чтобы приехать посоветоваться с Дашей, услышать от нее ободряющее слово, когда у него случались затруднения в работе. Как Даша скажет, так и будет, — десятнику это было давно известно. Женился он на ней, ясноглазой простенькой девушке, лет двадцать пять назад, жил — горя не ведал: ласковая, добрая, домоседка. И вот, когда пришли колхозы, словно подменили ее, Дашу. Домоседки не стало. Вырвалась сначала в колхозные счетоводы, благо грамоту знала, потом на огородах работала, еще год ли, два спустя в доярки пошла и прочно обосновалась в животноводстве. Почему с такой охотой вырвалась на люди? Не очень любила домашнюю возню: одна да одна целый день, тоскливо. А натура живая, общительная, душа к народу просится. Колхозный труд, коллективный, как нельзя лучше удовлетворял Дашину потребность в общении. Дома от этого хуже не стало, еще веселей: сойдутся вечером, он и она, кучу новостей друг другу расскажут; смеются — посмешней старались изобразить все виденное и слышанное за день; за других думают, вопросы решают. И уже тогда десятник стал замечать, как ловко эти вопросы решает Дарья Васильевна — что судья праведный. «Тебе бы только в заседатели», — говорил он. «И пойду», — отшучивалась она.

Годы шли. Как передовую колхозницу, Дарью Васильевну приняли в партию, поставили заведовать животноводческой фермой. Избрали затем депутатом в районный Совет. В первые недели войны райсовет поручил своему депутату трудное, боевое дело: вывести скот из дальних совхозов. Трудное и боевое потому, что противник наступал в этих местах быстро, армия еще не подошла встретить его в лесных дефиле. Дарья Васильевна гнала коров через трущобы, через болота, минуя шоссе и проселки, уже контролируемые вражескими танкистами. Не ясноглазой девушкой и даже не зрелой любящей женщиной была она в эти грозные дни — командиром, волевым и бесстрашным. Прихватывала по пути людей из колхозов и поселков, приказывала гнать за собой колхозный скот, вывозить добро,

уходить пешком, коли нет коня и телеги. Этот лесной поход окончательно сформировал натуру Дарьи Васильевны, настойчивую, требовательную и в то же время мягкую и глубоко человечную.

С уходом мужчин на фронт в колхозе единогласно порешили поставить ее председателем: кого же больше? Рядом, в десяти километрах от Воскресенского, проходил передний край, гремели бои, ухали пушки — в Воскресенском колхоз не прекращал своего существования, худо ли, хорошо, работал, жил, помогал армии, государству, себе не давал свалиться с ног. Колхозники знают, как это трудно было делать в прифронтовой полосе, где постоянная смена частей, где обстрелы, бомбежки, пулеметный огонь с самолетов, где не знаешь, о чем и думать — о труде и о жизни или о смерти. Дарья Васильевна думала о труде и о жизни и этому учила своих колхозниц.

После войны — новая должность: будь одновременно и животноводом и секретарем партийной организации. Секретарь райкома партии Никита Андреевич Карабанов на собрании сказал коммунистам, что в наши дни партийный организатор в колхозе не меньшая фигура, чем председатель. Следовательно — что? Лучшего из лучших надо избрать на этот пост. Оглянулись: она, Дарья Васильевна, лучшая из лучших. Слово «фигура» ее обидело немножко, она об этом сказала Карабанову после собрания. «А ведь верно — нехорошо, — согласился он. — Спасибо тебе, товарищ Кузовкина. Подправила. Человек так человек. При чем тут фигура! Не шахматная игра — жизнь!»

Она умела так высказывать правду, и горькую иной раз, чтобы человеку не обидно было, а чтобы он согласился с ней, понял бы сам, где правда, где кривда. Так и с Клавдией она говорила: не пешка, мол, всем известно, поэтому и спрос с тебя большой и надежды на тебя большие. Но Клавдия, уязвленная тем, что вышло не по ее, а по агрономову — впервые так вышло, — не пожелала ответить на это: «Смекаешь или нет?» Нечего ей смекать. Сорвалась с табурета, хлопнула дверью так, что дрогнула правленческая изба, посыпалось земляное крошево из щелей потолка и распахну-

лось незаделанное окошко. Антон Иванович, втянувший голову в плечи, выждал — не обрушится ли потолок, почесал за ухом.

— Давно говорю, — нарушил наступившее молчание Лаврентьев, — надо новое здание строить. Задавит нас в этом когда-нибудь.

— Такова задача, — согласился было председатель. — Ладно... — И тут же свернул: — Подумаем.

4

Секретарь районного комитета партии в один и тот же колхоз приезжал нечасто, раз в три месяца, а то и реже. У него была своя система, и он был уверен — правильная, потому что вполне себя оправдывала, давала партийному руководителю полное представление о состоянии дел в районе. Карабанов категорически отвергал автомобильные форсмарши через десяток, полтора десятка селений в день, когда потом все мешается в голове и не помнишь, о чем просил Сурков из Воскресенского, на что жаловался Лазарев из Горок, чего хотела та сероглазая женщина из Поречья. Ни дела никакого не сделал, ни настроения людей не изучил, ни с положением в колхозах толком не ознакомился. В Поречье хитрый мужик Бабаев свел секретаря на ближний лучший участок и объявил, что у него вся пшеница такая; а надо было бы и в третью бригаду сходить — как там? В третьей — самые неблагоприятные условия, болота рядом. Вот и сиди гадай, снова ли мчаться по району, или считать, что побывал на местах, во все вник.

«Побывал на местах» — туманная формула, против нее восставало все существо Карабанова. Он поступал иначе. Он приезжал в колхоз дня на три, на пять, на неделю. Входил здесь в ритм колхозной жизни, не нарушая его, не сбивая своим присутствием. Вставал вместе с колхозниками по утрам, вместе с ними ложился. Ночевал по очереди то у секретаря партийной организации, то у председателя, то у бригадира, в семье доярки, пахаря, огородницы или пастуха. Самые откро-

венные и содержательные беседы получались не в правлении, а тут, за вечерним чаем, один на один. Чего человек не скажет на людях, то без утайки выложит с глазу на глаз.

Непременным правилом было у Карабанова прочесть колхозникам лекцию, сделать доклад — на международную тему, на внутреннюю или теоретическую, и так его построить, чтобы возникли у слушателей вопросы, начались бы споры и высказывания. Пройдет пять-шесть дней, и секретарь знает жизнь колхоза, помыслы людей лучше, чем самый дотошный ревизор.

Он без тревоги отрывался от райкомовского стола и райкомовских телефонов. Там, в районном центре, остался второй секретарь, там есть райисполком — как можно им не доверять, как можно думать, что лишь на нем, на первом секретаре, только и способна, будто на центральной и единственной оси, вращаться вся жизнь района? Другие руководители разве ничего не стоят, разве плохо идет у них дело, когда он на месяц уезжает в отпуск на юг? Отлично идет, так же, как и при нем. Товарищам лишь больше, чем обычно, приходится проявлять самостоятельности и инициативы, и это всем на пользу.

Система себя оправдывала. Многодневное пребывание в колхозе давало секретарю райкома глубокое знание колхозного актива, колхозных планов, колхозного хозяйства, такое глубокое, что в дальнейшем достаточно было телефонного разговора или подробной сводки — и перед Карабановым вновь во всей широте возникала детально изученная картина, он легко мог определить, какие в ней произошли изменения — в лучшую ли сторону, в худшую, движется ли колхоз вперед или топчется на месте, ярче стали краски или потускнели.

В Воскресенское секретарь райкома приехал только в апреле. Как ни коротка была та первая встреча, когда Карабанов, рассматривая партбилет Лаврентьева, говорил: «Время не воробей, упустил — не поймаешь», он сразу узнал агронома.

— Здравствуйте, товарищ Лаврентьев, — поздоровался крепко, за руку.

Был он невысок ростом, пониже Лаврентьева, но плотен, легок на ногу, весел, бодр. Лаврентьеву сразу понравился этот человек. Он держал себя в колхозе не как некий начальник, а как старый друг и товарищ, никого не распекал, не разносил, только разбирался в делах, только давал советы, умные советы, не последовать которым было невозможно. В докладе его о современном Китае Лаврентьев не заметил особого красноречия, зато сколько было новых фактов.

По вечерам каждый старался затащить Карабанова к себе. Он ночевал у Антона Ивановича, у Карпа Гурьевича, у Анохина, даже Пронину не забыл. Почти до утра Лаврентьев слышал у себя за стеной глухой гул голосов Карабанова и дяди Мити.

Дошла очередь и до него, Лаврентьева. Это случилось после совещания актива, который Карабанов созвал для того, чтобы поговорить о планах, об агитационной работе в поле, о расстановке сил, о затруднениях и возможностях.

— Квартиркой, слышал, обзавелись, товарищ агроном? — сказал Карабанов, когда вышли из школы на улицу. — Может, пустите странника на ночлег?

— Рад буду, Никита Андреевич.

Дорога раскисла, на ней стояли черные лужи, в которых искрились отраженные звезды; шумели мокрые деревья под теплым северо-западным ветром с далеких морей и океанов, в лицо било влажной свежестью. Дружно шлепали сапогами по каше из снега и талой земли. Лаврентьев едва поспевал за Карабановым.

Дома затопили печку, согрели чай, разговорились. Карабанов знал людей Воскресенского лучше, чем Лаврентьев.

— Люди — главное, — говорил он, прихлебывая чай. — Людей, людей изучайте. Советский агроном не может оставаться только специалистом-землеведом. Он должен быть еще и сердцеведом, тем более коммунист. Смелее вторгайтесь в жизнь, окружайте себя людьми, вместе с ними ворочайте эту жизнь, пользуйтесь теми рычагами, какие дает вам партия, свои придумывайте, отыскивайте. Да, люди, люди! С одними помыслами, а какие разные! Ася Звонкая и Пронина... Противо-

положные как будто бы полюсы. Но идут плечом к плечу. — Карабанов ерошил пальцами короткий седой бобрик и щурил на огонек лампы проницательные карие глаза с узким монгольским разрезом. — А как вам Антон нравится, председатель? — продолжал он. — Внешне — работник и работник, не лучше, не хуже других председателей. Но, попомните меня, себя еще покажет. Человек с мечтой. Что за мечта — не знаю, только догадываюсь. Скрытничает. Второй год вокруг него хожу, с прошлой зимы, — молчит. Не могу, говорит, попусту языком трепать. Рано, Никита Андреевич, не дорос. Или Дарья Васильевна... Был у нас однажды с ней разговор. Интеллигенции не хватает, сокрушается. Колхоз вам, доказывает, не старая деревня. В нем и механику, и инженеру, и ученому дело найдется. Вот как! Подай ей или того, или другого, или третьего. «Учите, — отвечаю, — сами». — «Ну и научим. Не задразните». Слыхал, поди, про Белоглазова? Они его два года назад в электротехнический техникум отправили учиться. На колхозный счет. Или про Фросю Белкину? В институте молочного хозяйства, на третьем курсе. А дочка Анохина, Шурочка! Писательница. Дела!..

В глазах у Карабанова — юмор, радостное изумление, энергия, словно сам он и в электротехническом, и в молочном учится, словно сам собрался в Воскресенском моторы ставить, сыроварню возводить, лесопилку, кирпичный завод, мостить вокруг дороги, сажать вдоль них сады и писать об этом романы.

Беседа затянулась, легли поздно, а когда Лаврентьев проснулся, Карабанова на диване уже не было. Аккуратно сложены одеяло, простыни, подушка. Но он вскоре вернулся.

— Утро какое! Сказка. В лесу тетерева бормочут. Жаль, ружьишка не захватил.

— Мое можно взять, купил новенькое.

— Один не люблю ходить. Скучно.

— Второе достанем. Я тут брал зимой у старшего конюха, знаете Носова?

— Как же! Илью-то?

— Хорошее ружье.

Карабанов в нерешительности ерошил волосы. Редко, очень редко брал он в руки ружье, но охоту любил и охотничьи рассказы слушал с удовольствием, и сам их рассказывал.

Лаврентьев, не дожидаясь его согласия, накинул пальто и ушел. Вернулся с ружьем, с тем самым, с которым так неудачно пробегал ночь за ехидной лисицей.

— Ладно, — согласился Карабанов. — Сходим ненадолго. Утро раннее. Сколько на ваших? Без четверти восемь? Ну вот, к полудню обратно будем.

Вместе пополнили запас патронов. Четыре штуки Карабанов зарядил тяжелыми пулями: «Волки, слышал, появились в районе. У крутцовских семь овец украли из загона. Авось, встретим», — и на тусклом свинце нацарапал загадочные буквы: «Д. В.», «Д. М.».

— Что это значит? — спросил Лаврентьев.

— Как — что! Даешь волка, даешь медведя!.. Боевой лозунг.

Смазали сапоги свиным салом, смешанным с воском, с касторкой и сажей, и пошли; по обочинам канав добрались до леса.

В лесу надо было ступать по змееобразным, вылезшим на поверхность корням елок; оступишься — попадешь в глубокую снеговую жижу. Прыгали, оступались, черпали голенищами, выжимали и перевертывали портянки, держали путь на голос тетеревов. Тетерева били то справа, то слева, то впереди. Пойдешь на звук — пусто, молчание. Бой слышится в новом месте.

Охота — дело затяжное, захватывающее и азартное. Немыслимый труд — контролировать себя во времени, с ружьем в руках путаясь в чаще. Думаешь, час прошел, ан, глянул на стрелки — все пять. Да и на стрелки глядеть позабываешь. Брели и брели на призывные птичьи крики два охотника, все дальше и дальше от Воскресенского. Карабанову посчастливилось — подрезал краснобрового косача на перебежке, прикинул на руке: ничего, увесистый, — положил в сумку.

Азарт от первой удачи разгорелся еще сильней. Где-то, возле лесного озерка с набухшим синим льдом, из мокрых елок выметнулась лиса. Были охотники друг от друга не близко, но одновременно увидали это яркое

пятно и одновременно ударили из ружей. Лиса перекинулась через голову и пластом легла на снег. Какие там корни, какие осторожные шаги! Помчались оба во всю прыть.

— Она! — воскликнул Лаврентьев, увидав злобный оскал мертвого зверя. — Точно! Она. Так же на меня скалилась, дьяволица. — Он готов был поверить, что это и есть та самая зайчатница, которая дразнила его на обледенелой дороге.

Кто свалил лисицу, установить было невозможно, решили славу разделить поровну. Устроили привал. Сидели, отдыхали. Лаврентьев рассказал, как и с какой целью он выходил на первую охоту.

— Ну и что рука? — поинтересовался Карабанов.

— Сами видите, в порядке.

— Подтянитесь! — предложил Карабанов, указав на низкий сук сосны.

Лаврентьев снял с себя сумку, пояс, прислонил к дереву ружье, подпрыгнул, крепко ухватил сук и стал подтягиваться на руках — один раз, два. . . пять. . . десять. Попробовал только на правой руке — вышло; на левой — сорвался.

— Еще слабинка есть. Но никакой боли.

— Настойчивый вы человек. Но, однако, дело дрянь, вроде смеркается, а? — Карабанов взглянул на небо.

В лесу быстро темнело.

Ползли, закладывая весь небосвод, тяжелые, грязного цвета, беспорядочные тучи.

— Сколько же времени? Восемь! Двенадцать часов проблуждали. Вот так полдень! .. Нас ищут, поди, — куда люди подевались. Скандальчик, товарищ Лаврентьев. Дадим-ка шагу, — обеспокоился Карабанов.

Дали шагу. Из туч повалил густой, вихрящийся снег, сбивал с пути, слепил глаза, заметал полные воды лесные ямы. И темнело, темнело с устрашающей быстротой.

Вскоре охотники оказались в кромешном мраке, мокром, мятущемся и холодном.

— Сколько, думаете, до Воскресенского? — спросил Карабанов.

— Километров девять-десять.

— Плохо. Не дойти. Пути не знаем, и ноги отказывают. Что решим? Костер, что ли, развести?..

— Верней всего, Никита Андреевич.

— Втравил я вас в прогулочку.

— Невредно вспомнить фронт. Обстановка схожая.

Забрались под елку, до земли свесившую черные густые лапы. Развели костер из сушняка. Он шипел, потрескивал, но горел; дым шел кверху, вился вокруг ствола. Под елкой стало тепло, будто в шалаше. Наломали ветвей, сели на них, смотрели, как стеной валит и валит вокруг снег, розовый от огня.

— Есть хочется, — сказал Карабанов. — На грех даже сухой корки не захватили. Охотники!..

— Давайте косача жарить, — предложил Лаврентьев.

— Без соли?

— А что, не приходилось разве? Я ел без соли фазана в Беловежской пуще. Так же вот, снег, ночь, елки... Ничего. Пропечь только надо покрепче.

Ощипали птицу, выпотрошили перочинным ножом, надели на сук, по очереди вертели над костром. Капал скудный тетеревиный жир на угли, чадил, источал кухонный запах, — есть хотелось еще больше.

Так-таки и съели косача без соли. Карабанов плевался, ворчал, но жадно рвал продымленное мясо зубами. Лаврентьев посмеивался:

— Хороший вы ходок, Никита Андреевич.

— Приличный. — Карабанов прожевал кусок. — Вообще, здоровьем бог не обидел. Могу трое суток не спать — хоть бы что. С бюро, бывает, вернусь во втором, в третьем часу ночи, — с бабкой, матерью жены, в подкидного засяду. Бессонница у старухи, тоскует одна по ночам. А то и патефон заведем, танцуем с женой, с дочкой.

Лаврентьеву Карабанов нравился все больше и больше. С ним хотелось дружить, быть добрыми товарищами, но получалось так, что Лаврентьев смотрел на него не как на товарища, а как на старшего, как на отца. Разница ли в годах определяла это отношение или что иное, но получалось именно так. И даже неиз-

вестно, в какой момент Карабанов перешел с ним на «ты». Лаврентьев же сделать этого не мог, да и не стремился.

— Жизнь люблю, товарищ Лаврентьев, — говорил Карабанов, мешая угли веточкой. — И разве можно ее не любить! Двадцать лет назад, как и мой отец, паровозы водил, потом в совпартшколе учился, на рабфаке, в институте, второй десяток — на партийной работе. Что это — выжало меня как лимон, в сухарь превратило? Чепуха! Партия не требует от коммуниста, чтобы он был каким-то диетическим сухариком. Она требует, чтобы коммунист был прежде всего человеком. Она, наша великая партия, худосочных не любит. И я тебе скажу: никогда не бойся проявлений жизни, горестей и радостей, только смотри, за одним приглядывай — чтобы не жить вне родины, вне партии, вне интересов нашего народа. Разными идем в коммунизм, да и там не будем одинаковыми. Партия строит новое общество из того материала, каким располагает. Она отлично видит и знает, какие мы с тобой. Она воспитывает, учит нас, терпеливо, как мать, говорит: одно отбросьте — оно тормозит, другое — живите с ним на здоровье. Потанцевать, попеть, с бабкой в подкидного сыграть — тормоз? Нет. Влюбиться в девушку, ночей не спать, ходить с красными глазами от бессонницы, простуживаться, напрасно ожидая ее на углу, — тормоз? Не верю. Любовь окрыляет человека. Если, конечно, это настоящая любовь, она чижика превращает в орла. Вот! Папиросы кончились, есть у тебя?

— Есть. Курите. Обрадовали вы меня, Никита Андреевич Я вот все раздумывал было: так ли работаю, так ли живу.

— Настоящий человек всегда нужную дорогу отыщет. Чего тут сомневаться!

— Да ведь трудновато решить, кто настоящий, кто ненастоящий. Особенно о себе.

— Трудновато? — задумался Карабанов. — А и верно, не сразу докопаешься. Мне мыслится, настоящий человек — тот, который всякое дело, всякую, хоть крохотную его дольку выполняет так, будто решает госу-

дарственную задачу, всю душу в него вкладывает, поднимает это маленькое дело до общенародного значения. Одно дело просто растить хлеб — его и в царские времена растили, и в Америке растят, — другое дело растить его, сознавая, какое значение он имеет для государства, для народа, для партии, для близких нам друзей в Чехословакии, в Польше, в Болгарии — во всем мире. А сознаешь это — и работать будешь иначе, не как простой хлебороб, а как государственный деятель. Откуда тогда и силы возьмутся, и энергия, и находчивость, и размах, масштабы. Вот тебе и будет настоящий человек. Он и на своем маленьком участке мыслит по-государственному.

Снег все валил, не было ему конца; не было конца и разговору под старой елкой. О чем не переговорили, кого не задели! Помянул Лаврентьев и Савельича, — вот, мол, какие люди есть! Что с ними делать?

— Да. — Карабанов поморщился. — Савельич — этакое внутреннее «бибиси». Водятся, водятся еще такие. Идут выборы в местные Советы, посмотрели итоговое сообщение: какие-то полпроцента, ноль три десятых против голосовали. Кто они? Один вот он — Савельич. И хвалится этим. Я его спросил однажды: «Ты что, старый хрыч, чем хвалишься? Мог бы и не болтать. Никто с тебя ответа не требует. В чем твоя доблесть?» — «Доблести, говорит, никакой. Свободное изъявление воли, согласно конституции». — «Ладно, говорю, согласно конституции... Значит, не доверяешь блоку коммунистов с беспартийными?» — «Отчего не доверяю — доверяю. Сам блок. Только за Ваську Курдюкова не голосовал и голосовать не буду. Справку, гад, не дал. Какой он слуга народа!» — «О чем справку?» — «О том, что я инвалид Отечественной войны». — «Ты же не был на войне». — «Мало что. Раз слуга — сполняй мою волю». Да, трудно с такими. Груз прошлого. Единственное — каждому их слову наше, большевистское, противопоставлять, раскрывать на них, злопыхателей, глаза нашим людям, вызывать к ним отвращение. Только так.

— У меня один ваш районный работник вызвал такое отвращение.

— Кто же? — встревожился Карабанов.

— Серошевский. Главный агроном. Как вы о нем думаете?

— Серошевский? .. — Карабанов задумался. — Плохого за ним не замечал, исполнительный, аккуратный...

— А этого достаточно для советского человека — исполнительный, аккуратный? Вы, Никита Андреевич, себе начинаете противоречить. Признайте — паршивый он работник и дрянной человек, и все. И удивляюсь, как такие в депутаты попадают?

От личных качеств Серошевского разговор перешел к мелиорации. Лаврентьев вспомнил, как он ездил зимой к нему, к Карабанову, но не застал его в райкоме, и вот напрасно провел время с главным агрономом района.

— А вопросы у меня были серьезные. Думал, посоветуюсь с опытным специалистом. Нетерпимое ведь, Никита Андреевич, положение в Воскресенском. Много труда колхозников уходит впустую из-за ежегодных вымочек. Ведь из-за этого колхоз топчется на месте сколько лет.

— И главное — механизация ограничивается, — сказал Карабанов. — Во время весновспашки добрая треть воскресенских полей не поддается тракторной обработке. А разве мыслимо в наши дни сельское хозяйство без механизации! Это же наше будущее, это же один из важнейших рычагов к повышению продуктивности колхозного производства, следовательно и к стиранию граней между городом и деревней. Мы, в районе, давно думаем над проблемой Воскресенского. Кое-что сделать, конечно, удалось. Сегодняшнее положение не сравнишь с тем, что было лет десять — пятнадцать назад. Открытые канавы, обильное известкование помогли поднять урожайность. Но этого мало, мало! .. Ты вот ратуешь, Петр Дементьевич, за гончарные трубы. Они, видимо, тоже пригодятся. Только прежде понадобятся, мне кажется, некие более коренные меры. Не одно Воскресенское страдает от вымочек и закисления почв — большая группа соседних с ним колхозов. Нужно решительное переустройство нашей природы, —

как на юге, в засушливых местах. Что для этого делать — пока не знаю. Давай вместе думать. Пусть все воскресенцы думают.

Рассвет застал их спящими, крепко, спина к спине. В ногах едва теплился костерок, пригревая подошвы.

Часам к девяти добрались до села. Там, как и предполагал Карабанов, был полный переполох, готовились розыски. Карабанов успокоил Антона Ивановича с Дарьей Васильевной и сразу же уехал. Рвался в райком, не был там неделю с лишним.

Лаврентьев пошел домой сушить сапоги, переодеваться, может быть и вздремнуть: измотался за сутки — отвык от походных условий. Голова была переполнена мыслями, — расшевелил, переворошил Карабанов его собственные, вселил свои, для Лаврентьева новые. Только думай теперь, передумывай, расставляй по местам.

Пришлось расставлять по местам и книги. Лаврентьев давно перетаскал к себе от Елизаветы Степановны библиотеку Кудрявцева. Книги — свои и кудрявцевские — аккуратными стопками лежали на простеньком письменном столике, сделанном Карпом Гурьевичем. Возвратясь к себе, Лаврентьев увидел, что привычные глазу стопки порушены. Видимо, когда он бегал за ружьем, Карабанов искал тут себе занятия.

Принялся наводить порядок на столе, вновь перелистывал книги, тетради, записи. В одной из тетрадей он увидел не замеченные прежде слова, выведенные аккуратным почерком незнакомого ему Кудрявцева. Кудрявцев писал: «Найти литературу — как решалась Полесская проблема. Это очень важно».

— Полесская проблема? — вполголоса спросил себя Лаврентьев. — Почему это очень важно? Что такое Полесская проблема?



ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Утром на реке ударило будто из пушки.

— Началось! Пошла-поехала... — Оставив топор в полене, которое колол у себя под навесом, Савельич перекрестился на зеленый заречный куполок.

Мимо ворот с шумом и гамом мчались ребятишки, спешили женщины, мужчины — все держали путь к реке. Весенняя артиллерия продолжала грохотать. Лопался лед.

Солнце и теплые ветры объединили свои усилия и

третий день, превращая в стремительные потоки, гнали снег из лесов и с полей; со всех сторон мчались эти потоки к Лопати. Лед сначала исчез под мутными водами, потом вспучился на середине зеленой грядой и вот загрохотал, — синими молниями исчерчивали его длинные трещины.

Не было года, чтобы воскресенцы не сбегались на берег посмотреть на то, как их Лопать освобождается от зимней спячки, как изломанные льды приходят в движение — вначале медленное, еле заметное, затем бурное, шумное. Льдины дробятся, лезут одна на другую, встают дыбом, запрокидываются, выпирают на пологие берега и, подобно бритве, режут ракитовые кусты.

На эту извечную работу природы можно смотреть долгими часами. Засмотрелся на нее и Лаврентьев. Расстегнув пальто, он сидел на перевернутом челне и раздумывал.

На днях запустили движок, на столбе возле скотного двора зажглась первая лампочка, первый в селе Воскресенском электрический фонарь. Знаменательное событие. Возле столба, когда стемнело, был торжественный митинг. Воскресенцы не любили длинных речей и очень строго относились к выбору докладчиков. Они боялись таких, которые любой разговор, даже о самом пустяковом деле, начинали от Адама и Евы. «Не тяни! Сами грамотные. Давай суть!» — кричали они любителю поболтать. Пуск движка, первый фонарь — не пустяковое, конечно, дело. Тем более нельзя топить значение этого дела в пустопорожней болтовне. Поручили сказать мудрое слово Анохину.

— Товарищи женщины! Товарищи мужчины! — громыхнул он могучим басом, взобравшись на отпряженную телегу. — Что имеем, глядите? Электричество! Во как сияет! .. — Все подняли лица к двухсотсвечовой лампочке, вокруг которой вились весенние мошки. — Что нам сказал, уходя от нас, Владимир Ильич? — продолжал Анохин. — Что коммунизм — это советская власть плюс электрификация. Такой завет дал народу. Советская власть, товарищи женщины и мужчины, у нас давно, а плюса-то все не было и не было. Теперь он перед вами. Плюсишко, понятно, невелик, мелковат,

скажем прямо. Но ведь это начало, граждане дорогие! Ведь подумать только: в Воскресенском, в лесной, болотной дыре, зажегся плюс коммунизма, а? О чем мы читали? На Урале сплошная электрификация, под Москвой — тоже, в центральных областях, на Украине, в Сибири... Читали и думали: там так и полагается, там передовики, миллионеры. А мы что? Мы медведи. Выходит, что и медведям свет положен в наше время, пришло оно, шевели мозгой. Главный вывод, граждане: если у нас электричество — значит, не только передовики — все крестьянство на крепких ногах стоит, и пойдет и пойдет оно, теперь его не остановишь!..

На митинге же, приравняв его в юридических правах к общему собранию, вынесли решение, которое состояло из трех пунктов. Первый пункт: выразить благодарность Карпу Гурьевичу, как инициатору и вообще заводиле электрификационных дел, и Павлу Дрёмову, возглавившему ремонт движка. Второй пункт: пока учится в техникуме Василий Белоглазов, назначить в колхозе главным по электричеству Павла Дрёмова. И третий: коли не за горами лето и длинные дни, то не распылять силы и средства на освещение жилых домов, — электрифицировать лишь пока подачу воды на скотный двор, чтобы поскорее установить там автопоилки, и дать свет в школу, для клубных мероприятий; еще оборудовать три фонаря на улицах. Для чего эти фонари на летнее время, пояснять не стали. И так понятно для чего: пусть, мол, проезжие видят — в Воскресенском по-культурному живут.

Антон Иванович стал записывать это решение в блокноте, положив блокнот на грядку телеги, с которой только что выступал Анохин, и увидел, что на телегу лезет Дрёмов.

— Я извиняюсь, товарищи, — сказал Павел. — Раз такое дело — монтерствуй, заведуй, — спасибо вам за это. Оправдаю. По специальности — оно не то что... По специальности... Да ладно, в общем — докажу... — И спрыгнул наземь.

У Павла выходило так: все, что не связано с пахотой, возкой на подводах, с полевыми работами, — все по специальности.

Представив себе круглое, курносое лицо Дрёмова, в густых веснушках, из-за которых двадцатишестилетний человек казался безусым парнем, Лаврентьев подумал: вот один из миллионов молодых колхозников, которые всей душой, всем своим сознанием стремятся к новому, для которых в тягость становится ходьба за плугом и бороной, возка навоза на розвальнях, косьба ручной косой. И не потому, что работа физически тяжела, вовсе нет, — ремонтируя движок, Павел сутками не выходил из фургончика, работал куда напряженней, чем на возке навоза, — а потому, что формы этой работы для молодежи устарели, слишком убогими выглядят они на фоне того прогресса, какой существует в промышленности. Молодежь готова в штыки идти за механизацию: за комбайны, электроплуги, электромолотьбу, за конвейеры в коровниках — за все новое, готова зубами грызться за него, за это новое. Таков закон культурного роста. Придет день, и недолго его ждать осталось, когда не только городской рабочий будет легко разбираться в сельскохозяйственных механизмах, но и сельский механизатор, попав на завод, быстро вникнет в станочную премудрость. Процесс стирания граней между городом и деревней развивается в нарастающих темпах — вот как этот ход льда на реке. Час назад льдины едва шевелились, сейчас уже двинулись, пошли по течению; завтра они будут мчаться на стремнине, обгоняя друг друга...

Назавтра льдины мчались не только по речной стремнине. Они лезли в улицы Воскресенского. Река вздулась, вышла из берегов, заливала огороды, погреба; в течение трех дней она достигла каменных лабазов, устремилась к амбулатории и больнице, и только в пяти шагах от больничного крыльца выбилась из сил. Бескрайное море зеркально сверкало перед селом до заречного леса, по пояс в этом море стояло и само Воскресенское. Ручей в овраге, такой ленивый летом и осенью, мертвый зимой, теперь вспух, ревел, клокотал, он слился с Лопатью воедино, был как бы рекой в океане. Его течение тараном врывалось в Ло-

пать, несло с собой коряжистые ольхи, копны сена, мусор и грязь из болотистых далей. Каждый год половодье захлестывает село, и тогда надо перетаскивать из подпольев картошку на чердаки, угонять скот за околицу, в открытое поле, и подпирать стены домов бревнами, чтобы не снесло водой. Начинается шумная, беспокойная пора, страшная и в то же время немножко веселая, бесшабашная. По улицам ездят на лодках, на плотах, догоняют уплывшие курятники и ворота, которые, если не догонишь, ищи потом верстах в десяти, в пятнадцати вниз по течению выброшенными на илистый берег.

— Эй, тетка Настя! — кричит кто-нибудь с лодки, проплывая мимо колыхающейся под напором волн избы. — Жива?

— Жива. — Тетка Настя распахивает оконце, добравшись до него по табуреткам. — Толку что! Размокла. Из-под печки жабы лезут.

— Соли их в капусте. Заграничный деликатес!

На крышах сидят ребятишки, свистят, размахивают штанами, надетыми на палки, — гоняют голубей. Шальной наездник скачет по улице — конь по брюхо в воде, вздымает веера брызг.

— Вот, Дементьич, какая стихия! — Антон Иванович ловко орудовал кормовым веслом, направляя челн из улицы в улицу. — Ты мне толкуешь: строй новое правление, гостиницу, то да се. На кой их тут строить?! В девятьсот восьмом году — слыхал? — была такая штука — полсела смыло. Год на год не приходится. Настроишь, а оно возьмет и грянет...

— Кто-то ненормальный придумал тут село ставить, — удивлялся Лаврентьев.

— Ненормальный, нормальный — не суди. А где его ставить было? Справа помещик, слева помещик. Земля ихняя. Куда сунули мужиков, там и строй. Таких сёл в России — не одно наше. Я уж и в книгах про это читал, со стариками беседовал. Имею, Дементьич, думку... Большую думку. Проболтался о ней прошлым годом Серошевскому, разговорились как-то по душам. А он мне: «Манилов вы, товарищ Сурков. Форменный Манилов. Маниловщиной занимаетесь. Слыхали — у

Гоголя?» Я после сходил к директорше Нине Владимировне, взял эту книжку, почитал. Какая же маниловщина? Манилов чего хотел? Мост чтобы выстроить, купцов на нем посадить с квасом и самоварами. Это верно — сивый бред. В общем с тех пор молчу, никому ни слова. От тебя, Дементьич, таиться не буду, поедем — все покажу и расскажу.

Они причалили к крыльцу председателева дома, вошли в горницу, под полом которой лопотала вода.

— Вот весь полный-подробный план. — Антон Иванович развернул трубку александрийской бумаги, расстелил бумагу на столе.

Лаврентьев увидел старательно вычерченный и раскрашенный цветными карандашами план поселка. Он читал надписи: «правление», «детские ясли», «молокозавод», «лесопилка», «жилые дома», «пруд», «сады», «площадь». От центра поселка улицы расходились радиально, пятиконечной звездой. Выглядел этот чертеж довольно красиво и, видимо, потребовал много труда, кропотливого, непривычного для рук колхозного председателя. Лаврентьев понял теперь: Антон Иванович задумал перенести село на место бывшей помещичьей усадьбы, по-новому распланировать его, благоустроить. Нет, это не было маниловщиной. Но как и когда возможно будет осуществить такие крупные работы? И осуществимы ли они вообще?

— Думал над этим, много думал, — сказал Антон Иванович. — До копейки все подсчитал, до бревна, до кирпичика.

— Сколько же надо средств?

— Миллион!

— Миллион?!

— Да ты не пугайся, Петр Дементьевич. — Антон Иванович взял листок бумаги и карандаш. — Это как понимать — миллио́н? На стройку меньше уйдет. Рабочая-то сила в основном своя, лес как-нибудь в кредит возьмем, и все такое. Миллион — это колхозу получить за год, вот как. Чтобы и на трудодни раздать, и всякие текущие нужды покрыть, машин еще приобрести, и так далее. Вот спрашиваю — можем мы миллиона добиться?

— В прошлом году что — шестьсот семьдесят тысяч получили?

— Так точно. А на этот запланировано семьсот девяносто пять.

— Превысить, значит, плановую цифру надо на двести пять тысяч. Как будто бы и не так много.

— А возьми превысь ее! .. — Антон Иванович складывал на бумаге арифметический столбик. — Вот если бы Клавдия поднажала да выдала нам не двести, а триста или хотя бы двести пятьдесят тысяч... Эх, зря ее обидели! .. Мутить воду начнет и плана не выполнит, не то что... С характером баба. Ну, ладно, допустим — она двести пятьдесят... Пчеловоды бы тоже четверть миллиончика... Глядишь, животноводство, полеводы, огородники — и набежало бы, а, Петр Дементьевич? Будь ты мне другом-человеком. Давай вытянем Воскресенское из ямы? Крест на этом овраге поставим. Ведь ты пойми: бежит народ из деревни, мужиков все меньше да меньше остается, парней вовсе пять штук.

— Это совсем не потому, что село в болоте стоит, — ответил в раздумье Лаврентьев. — Уж больно на трудодни мало получается. Необеспеченная жизнь. Поля в болоте — это хуже всего.

— Ну, может, и так, конечно, я не спорю. А факт есть факт: городская жизнь каждого тянет, — настаивал на своем Антон Иванович. — Как посмотришь в газетах, в журналах, какие в городах жилища строятся, и в затылок пятерней полезешь. Кому охота в грязи, в болотине прозябать! Я тебе и название новое скажу. Не село, не деревня — поселок... Селу каюк. Поселок! Ленинский. Как? ..

— Загадку ты мне задал, Антон Иванович. Подумать надо. С Дарьей Васильевной подумать, с народом. За такое дело тяп-ляп не возьмешься. Слишком большое дело.

— Дарья за него обеими руками ухватится, — с уверенностью сказал Антон Иванович. — А народ... Доказать ему надо. Такова задача. Чего не доказать! — Он взглянул в окно на разливанное море, на затопленные избы, бани, коровники, на всплывшие плетни и за-

боры. — Вот оно, доказательство. И Дарье скажем и народу, только прежде ты сам-один помозгуй, вот тебе чертеж этот, вот цифирки мои, посиди дома на досуге. Если согласишься со мной — значит, прав я, значит, выйдет дело. А не согласишься, тогда... тогда... Тогда все равно от него не отступлюсь! — пристукнул кулаком по столу Антон Иванович.

Он свернул свои бумаги в трубку, сунул их Лаврентьеву подмышку и отвез его на челне до суши.

— Помозгуй, — еще раз сказал на прощанье.

Лаврентьев месил вязкую грязь сапогами, оскользался, балансировал руками, чуть было не выпустил сверток. Проклинал и дорогу, и распутицу, и то место, в какое горькая крестьянская судьбина загнала воскресенцев. В самом деле, тысячи сел и деревень старой России возникали совсем не там, где бы их следовало строить. Помещичьи усадьбы строились на живописных крутых берегах рек, на холмах — видные отовсюду, горделивые, благополучные. Мужик вынужден был селиться где повелят, где оставят клок земли под хату. И селился он в оврагах, в мочажинах, в гиблых местах, комариных, лягушечьих, нездоровых. Хорошая мысль пришла в голову Антону Ивановичу — исправить историческую несправедливость. Умный он, этот человек с мечтой. Правильно сказал о нем Карабанов. Вот, кстати, рассказать бы Карабанову о плане воскресенского председателя. Как секретарь райкома отнесется?

Позади Лаврентьева зацокали по грязи конские копыта. «Дементьевич!» — услышал он и посторонился. Скакал Илья Носов.

— Хватит тебе пешочком топать. Весна начинается. Правление постановило транспортом снабдить агронома. — Носов спрыгнул с коня. — Люблю эту скотинку. Щекотливая, но веселая. Верхами-то умеешь?

— Артиллерийский офицер обязан уметь, хотя конская тяга и заменена в артиллерии моторной, — ответил удивленный, обрадованный и растроганный вниманием колхоза Лаврентьев. — Это Звездочка?

— Она. Холеная. Берегу ее.

Лошадка стригла ушами, смотрела на Лаврентьева недоверчиво. Была она красивой редкой масти — игре-

невой. Золотистая, со светлой, белой в прожелти, гривой и таким же хвостом. Тонкие, стройные ноги в белых чулках, нервно выгнутая шея, маленькая точеная голова.

— Хороша! — оценил Лаврентьев.

— Ну! Скажешь! Никому бы не отдал, только тебе. За геройство. Седло, гляди, какое нашел — чистая кожа. А стремена — медь, ребята кирпичом нажварили. Катайся, товарищ Лаврентьев, будь здоров.

— Как катайся? До дому, допустим, доеду — куда ее деть?

— Подвяжи поводья, отпусти. Сама найдет дорогу на конюшню. Умная. А утром тебе ее из ребятишек кто пригонять будет. Вся недолга. У нас так.

«У кого — у нас?» — подумал Лаврентьев, вскакивая в седло и придерживая шарахнувшуюся Звездочку. Вспомнился рассказ Карпа Гурьевича о старшем конюхе. Недаром конюх имел такую внешность: был он цыганского рода.

Еще задолго до нынешнего века в Воскресенское пришел хромой цыган, отбился из-за неладов каких-то от табора, стал проситься в работники к воскресенским кулакам. Никто не брал: конокрад ты, мол, и жулик — поди, и ногу тебе по лошадиному делу свернули. В конце концов взял его мельник, работником на ветрянку. Хорошо работал цыган, добросовестно, хозяин был им доволен, выделил под жилье хибару при мельнице. Цыган освоился, прижился, стал похаживать на село — мельница-то на отшибе стояла, — и глядь, женился, увел к себе сорокалетнюю вдовицу из трактирных служанок. Жили они, все хорошо шло, дети появились — мальчик и девочка. И вдруг беда. У трактирщика пропала кровная кобыла. Туда-сюда, нет кобылы, как и не бывало. Пошел слух, цыган-де за свое взялся, не выдержал. Ну, а если пошел слух, дело плохо. Народ гудит, трактирщик масла в огонь подливает: цыган да цыган, — гляди, мол, мужики, одров своих оберегай. Выставил в пасхальное разгулье три ведра водки, нашептал в уши, взбодрил горлодеров. Двинулись толпой к мельнице — проучить цыгана. А цыган заперся в хибаре, не отворяет, кулаком в окно грозит.

Разошлись, понятно, хмельные мужики, развернулись и — как случилось, не поймешь — приперли ставни кольями, дверь тоже заклинили, и сама собой — так потом они следователю в один голос дудели — занялась хибара пламенем. В полчаса только пепел от нее остался, а среди пепла — горелые мертвяки: сам цыган, жена его бессчастная и дочурка трех лет. Мальчонку случай спас, на речке пескарей ловил в то время. Прибежал, головешки увидел, грудью бился о горячие родные камни. Глупый он был, несмышленый, — какой ум, когда человеку семь лет только! Трактирщик взял его в судомойки. Почуял вину и решил облагодетельствовать сирого.

Парнишка рос да рос понемногу. Девки на него заглядываться стали, и как не заглядеться! Голова в смоляных кольцах, брови крылатые, в глазах черти скачут; складный, в плечах широк, а талия осиная. Пляшет — ветер вокруг, у девок подолы вьются. Женился, родители жены в дом его к себе взяли. Бросил трактир, в крестьянское хозяйство впрягся. Тесть с тещей довольны, жена довольна, и он доволен. Никто никогда не рассказывал ему о том, как сгибли его родители; так и жил он в полной уверенности, что случайный пожар их погубил. А тут подошло, забрали его на японскую войну, уехал на Дальний Восток вместе с односельчанином, воскресенским мужиком; тот и поведал товарищу, кочуя по маньчжурским полям и сопкам, о страшной кончине его родителей.

Года через два вернулся цыганов сын с двумя медалями, пожил недельку, на малолетнего своего сынишку полюбовался, темный ходил, что туча, наточил ножик да и явился перед лицом трактирщика, бывшего своего хозяина. Хозяин уже остарел, в благообразие вошел, выбелился сединой. Как увидел он работничка своего, так и затрясся, — понял все, в ноги пал. Не помогло. Хватил его солдат ножом по горлу от уха и до уха. Что ж, заковали в железо, погнали на каторгу. Пропал человек. Был он наполовину цыган, а сын его, Илья, колхозный этот конюх, еще меньше цыганской крови получил, только четверть, но по внешности да и по характеру вышел цыган цыганом. На войне был

отчаянный. Одер первым перемахнул, до рейхстага дошел, заслужил орден и пять медалей. Коней любил смертно. Как бы плохи ни были корма, как бы ни тяжелы полевые работы, кони у Ильи Носова никогда не сдавали в теле. И не только конями он занимался. Всякую работу любил. Покончит дела на конюшне, никто его не зовет, а тянется человек в поле. Пашет там при луне, в сенокос косит, в уборку возы с зерном, с картошкой возит, мешки у молотилки, как цирковой силач, ворочает. Крепкий, выносливый, седина никак его одолеть не может. По височкам жмется, а в кудри заползти — ни-ни.

Лаврентьев рысил на лошадке, оглядывался. Носов все стоял среди дорожной грязи, широко расставив крепкие ноги в сапогах, глядел ему вслед.

2

Утром Звездочку пригнал не мальчишка, как уговаривались с Носовым, а прискакала на ней младшая Звонкая. Лаврентьев умывался, когда Ася вошла к нему, стуча сапогами.

— Петр Дементьевич, плохо! — Она села на стул и некрасиво, по-бабьи положила руки на колени. Видел: не следит за собой, расстроена, взволнована.

— Ни от кого в Воскресенском не слыхивал «хорошо», — ответил Лаврентьев, застегивая ворот рубашки. — Всегда только «плохо». В чем дело?

— Озимые преют. Залило. Вот вам! . . — Ася выхватила из кармана пучок бледнозеленых всходов, бросила их на скатерть. — Корни гниют. С ума сойти, какая мокрая весна! . .

— Действительно — плохо. — Лаврентьев вертел в руках, рассматривал хворые стебельки. — Это с пшеничного участка?

— Везде так. Спозаранку все поля обошли с Анохиным и с девчатами, в грязи по колено. И на пшенице и на ржи. Одинаково. Хотели подкормку минералкой делать. Разве можно! . .

— Что же предпринять?

— За этим и пришла. Вы обещали подумать.

— Всю зиму, Асенька, думал. Историческое бедствие вашего села.

— Петр Дементьевич! Мы не имеем права так спокойно рассуждать. Зачем всю осень, как лошади, работали, зачем семена по зернышку отбирали, зачем в кружке учились? Зачем? Чтобы сидеть у разбитого корыта!

— Успокойтесь, Ася.

— На том свете успокоюсь. Здесь спокоя не будет, не будет. Вижу.

— Успокойтесь, еще раз вам говорю. Пошли!

Звездочка терпеливо ждала у крыльца. Лаврентьев подсадил Асю в седло, сам устроился сзади; ехали медленно, чтобы не перетрудить лошадку. Лаврентьев был встревожен, только не хотел показывать Асе свою тревогу, — вот оно подлинное столкновение с воскресенской действительностью, перед которой не устоял Кудрявцев...

В поле тревога его возросла. По переполненным канавам неслись мутные воды, тонкой пленкой плыли они и через посевы. Не только гончарные — золотые трубы не спасли бы положения.

Асины подружки стояли непривычно молчаливым, притихшим, грустным табунком, совсем были не похожи на тех безудержных хохотуний из семенного амбара. Не птички, а мокрые курицы.

Лаврентьев спрыгнул в грязь. Долго бродили по полям, и всё молчали. Лаврентьев пойдет вправо — и девчата вправо, он налево — и они за ним, остановится — они стоят; нагнется, сорвет листок молодой пшеницы — девчата делают то же. Ему становилось ясным одно: еще три-четыре дня такого купания в холодной весенней воде, и посевы пропали. Вместо тучной нивы, на унылых проплешинах вымочек взрастут сорняки. Надо было хотя бы частично ограничить бедствие. Как — это Лаврентьев смекнул, несмотря на свой малый опыт.

— Девушки, — сказал он. — Согласитесь вы или нет, предлагаю следующее: нарыть как можно больше ям на участке.

— Что это даст? — В голосе Аси появилась нотка надежды.

— Не много. Но во всяком случае вода не по всему полю будет гулять, а соберется в этих ямах. Потом попробуем отводы сделать.

— Прямо на зеленях рыть? — спросила недоверчиво Люсенька Баскова.

— Ничего не поделаешь. Крайняя мера. Приходится идти на жертву.

— Придется, — согласилась Ася. Она поняла замысел Лаврентьева. Большого успеха ямы не сулили, о большом урожае думать уже не приходилось, — спасти бы хоть половину его... — Не будем терять времени, — сказала она. — Пошли за лопатами.

Весь день рыли вязкую, разжиженную водой землю, углубляли ямы, проводили канавки; рыли и на второй день и на третий. Не только комсомолки — все полеводы по распоряжению Анохина вышли с лопатами на участки озимых. Посевы, исковерканные безобразными ямами, становились похожими на поле боя.

— Жуткая картина, — говорил Анохин. — Как после артиллерийской подготовки. Сплошные воронки. Жнейку сюда пустить и не думай. Серпами жать придется.

— Было бы что жать, — грустным взором окидывал поля Антон Иванович. — Выходит что? От суховеев легче избавиться, чем от вымочек. Вот бы начисто ликвидировать наши чертовы болота...

Колхозники в эти дни были похожи на землекопов. С ног до головы запачканные глиной, землей, мокрые, они работали от света до темна. Неохотно работали. Хлебороб вынужден топтать, ополовинивать ниву — откуда тут возьмется охота! Савельич, внутреннее «бибиси», еще каркал: «Добро закапываем. Грех. Каждый год мокреть у нас, ничего, терпели, худо-бедно выкручивались. Лето наступало — на поправку дела шли. А теперь лето настанет — что получится? Вместо хлеба, лягух лови в энтих яминах». С ним многие в душе соглашались, многие были недовольны выдумкой Лаврентьева: «Шалый агроном попался. Телушку угробил. Озимые гробит теперь».

Лаврентьев чувствовал, с какими настроениями люди ворочают землю, и, сам не будучи уверен в успехе, хмурился.

— Петенька, — утешала его Елизавета Степановна, — брось ты, брось жизнь себе травить. Деревенские — они, знаешь, такие. Новое что — попервоначалу в штыки возьмут, а потом, глядь-поглядь, старого им уже и не надо. Я как против тебя на дыбки взнялась, не забыл? А теперь и самой смешно — телят, что ребят, только в зыбке что не качала... Из рожка кормила, кутала, дыхнуть на них боялась, не застудить бы.

— Да нового-то в этих ямах ничего нет, Елизавета Степановна, — отвечал Лаврентьев. — Допотопное средство. То-то и плохо, что нового, получше не придумать.

Между тем мера, предложенная Лаврентьевым, начинала давать результаты. Вода собиралась в ямы, не струилась безудержно по всходам; под щедрым солнцем почва сверху подсыхала и — сначала на бугорках — затягивалась коркой. Полеводам привалила новая забота — рыхлить эту корку. Они сменили лопаты на мотыги, день за днем копошились среди ям, мотыжили, подсевали минеральные удобрения, повеселели; до села, тоже освободившегося от воды — Лопать постепенно уходила в берега, — доносились с полей девичьи песни.

Антон Иванович, однако, продолжал нервничать. Ямы — этого он не отрицал — сыграли положительную роль. Однако еще неизвестно, чего от них будет больше в дальнейшем — пользы или вреда. Возможно, ущерб от вымочек был бы меньший, чем от сокращения площади посевов за счет бесчисленных воронок. После того как он рассказал Лаврентьеву о своем плане переноски села и Лаврентьев не возразил против этого плана, Антону Ивановичу особенно стал дорог каждый сантиметр посева, каждый будущий колосок, каждый литр молока, каждая рассадинка в Клавдиных парниках. Перед ним неотступно стояла, горела могучая единица с шестью, подобными колесам паровоза, внушительными нулями. Только через него, через этот манящий миллион, можно было прийти к осуществлению

мечты, и его во что бы то ни стало предстояло завоевать.

Антон Иванович даже изменился — и в характере и во внешности. Он сделался непривычно строг, требователен до придирчивости, всех стал подозревать в лодырничестве и нерадивости.

— Ты, Антоша, не так круто, — останавливала его Дарья Васильевна, державшаяся того взгляда, что сила убеждения больше, чем сила принуждения. — Не трепли народу нервы попусту. Народ у нас хороший, работящий.

— Работящий! Загляни в дома: день на дворе — на печах прохлаждаются.

— Семь утра — это тебе день!

— Крестьянский день с петухами встает, Дарья.

— Нехорошо на людей кричать, когда у самого в доме лежебоки, Антон. На Марьяну свою взгляни: вот кто на печи прохлаждается.

— На печи? Сгоню!

Второй раз ему припоминали Марьяну. Зимой было комсомолки задавали вопрос — будет ли она, председательша, в поле работать; теперь Дарья уколола. Марьяна давно его тревожила. Сидит у окна, платочки расшивает, по соседям бегает, судачит. Совестно из-за нее; председателева жена, а пример другим скверный. Но заговорить с ней об этом, подступиться — не решался. Как обидишь кроткую такую, ласковую, нежную. Любил жену Антон Иванович сильно, считал себя обязанным оберегать ее, слабое существо, от тягот жизни. Тут, после Дарьиных укоров, набрался духу. Да еще миллион стоял перед глазами неотрывно. Ворвался в дом — решил ни на час не откладывать объяснение, пока в запале — дело будет, упустишь время — опять размякнешь.

— Марьяшка, — сказал он грубовато, не глядя на нее. — Ты же по спискам в полеводческой бригаде. Когда на работу выйдешь? — И оробел, добавил в оправдание: — Народ спрашивает.

— Тошенька! — в изумлении округлила красивые, томные глаза Марьяна. — Ты... меня... в поле? А как

же дом? Обед кто? Кто кормить-поить тебя будет? Как же это? Тошенька! На мне свет, что ли, сошелся? Да я в поле... Что мне там?.. Не умею я, не знаю этих дел.

— Учиться надо. — Антон Иванович все еще не смотрел ей в глаза. — Прошу, не подводи меня, не позорь.

Марьяна скривила губы, заплакала, закрыла лицо белым кружевным передничком с фамильным, собственной рукой вышитым вензельком: «М.С.» — Марьяна Суркова.

Дрогнуло сердце у Антона Ивановича, шагнул к ней, хотел обнять, прижать к груди, утешить. Не обнял, не утешил, выскочил за порог, размахнулся дверью садануть в косяки — удержал руку, прикрыл осторожно и вышел, не гремя сапогами, на крыльцо. Там скинул шапку и подставил ветру горячую голову.

Весь день как потерянный слонялся потом по колхозу. Пришел домой поздно, Марьяны нету. Лежит записка на столе: «Тошенька родной! Прости меня. Чую, будет тебе от меня беда — такая уродилась. Ухожу, не зови обратно. Не калечь ни себе, ни мне жизнь. И так сердцу больно. Марьяна».

Кинулся к двери, тоже уйти из пустого̀ дома, и не ушел. Сел возле стола, уткнулся лбом в холодную клеенку, да так и заснул. Во сне всхлипывал — мальчишкой себя видел: мать за уши драла.

Проснулся, глазам не поверил. Сидит напротив, глядит на него она, Марьянка. Записка в мелкие клочки изорвана. Не сон ли?

— Некуда мне тут деваться, — сказала Марьяна.— Завтра соберусь, в город уеду, в учреждение поступлю. Писать, читать умею.

Говорила упавшим, сникшим голосом. Собралась было у сестры пожить, пока Антон не одумается. Сестра не приняла. Тяжелый разговор получился.

— Мне что, — заявила Клавдия, выслушав рассказ Марьяны о причине размолвки с мужем, — всю жизнь тебя нянчила, еще сто лет в няньках похожу. Сил хватит. Только, душечка моя, не желаю этого делать. Забирай свой узел и отправляйся домой. Не то возьму

вот за косы и сама отведу. Почему я работаю, а ты красоту нагуливаешь? Кто тебе дал такое право?

— Кланюшка...

— Молчи! Люди землю зубами грызут, жизнь себе добывают. А она, бабища толстая, за мужнюю спину прячется. Не троньте ее, не помните куколку!.. Иди, Марьяна, и чтоб я ноги твоей здесь не видела. Чтоб завтра же ты вышла в поле. Слышишь?

— Кланюшка, совестно. Я записку оставила ему, попрощалась.

— Порви записку. Снова поздоровайся.

Марьяна записку порвала, но не поздоровалась, новый план высказала — поедет в город.

Антон Иванович ушел в недостроенную половину дома, сенник там постелил, укрылся с головой одеялом. Всю ночь дрог от холода — вытерпел. Три дня к Марьяне не заходил. Ожесточило его это «уеду». Ишь, как легко и просто, подхватила тряпки — и уехала. Любовь, говорят, горами ворочает. А тут никаких гор никто не требует — обыкновенной работы, что каждый человек всю жизнь делает. Где же любовь? Супружество — и только.

Он ярил себя, взвинчивал; на сколько хватило бы ярости, кто ведает? Выручила сама Марьяна. Среди четвертой ночи пришла, опустилась рядом на сенник, окропила Антону Ивановичу лицо слезами.

— Пойду, пойду в поле. Куда пошлешь, туда и пойду, Тошенька родненький, — шептала ему в самое ухо, щекоча теплыми губами. — Люби меня только, люби, не рви сердце, не отталкивай.

Наутро, после полного примирения, снова закинула крючок, — ох, уж эта женская натура!

— Если можно, полегче что придумай, Тошенька. — Шепчет, а сама обнимает, и руки такие мягкие. — Непривычная я, не надсадиться бы...

Осторожными намеками Антон Иванович и попросил об этом Анохина.

— Ладно, — пообещал бригадир. — Хрупкая бабенка. Поберегу. — И отправил Марьяну вместе с мужиками раскидывать навоз в поле. Анохин держался

другой методы: сразу в самую крутую работку впрячь. После навоза всякое иное дело праздником покажется.

Пришла Марьяна домой изломанная, с волдырями от вил на ладонях, свалилась на постель, дышала тяжело, рассчитывала на жалость.

— Черт он горластый! — рассвирепел Антон Иванович. — Я из него форшмак завтра сделаю, селедочное блюдо. Просил человека, просил...

— Допросился, Тошенька, — стонала, охала Марьяна.

Легли голодные, истерзанные, она — физически, он — нравственно. Трудно давалась обоим эта семейная ломка.

Селедочного блюда Антон Иванович из Анохина не сделал, вообще даже ничего по поводу Марьяны не сказал. Анохин сам поставил ее на второй день картошку переворачивать на стеллажах в яровизационном помещении. Легче работы не придумаешь. Марьяна отдохнула там, повеселела. Тогда Анохин снова отправил ее на навоз. И так ловко он чередовал тяжелое с легким, что Марьяна незаметно для себя втянулась в колхозную жизнь, могла хоть мешки с овсом таскать, только никто ее не заставлял это делать — мужчины на то были. Председательшей ее уже не называли, как в первые дни, — звали просто Марьяной, Марьянкой, Марьяночкой. Мужчины ей во всем старались подсобить, услужить. Не больно рослая, зато пухленькая, румяная и вся в ямочках — на щеках ямочки, на плечах, на локотках и даже на коленях. Заглядишься, хочешь не хочешь, а подсобишь такой в трудном деле.

В эти дни встретила она на улице сестру. Клавдия окликнула: «Ну как, не рассыпалась, принцесса на горошине?» Марьяне очень хотелось ответить сестре дерзостью, — не хватило духу, слишком долго старшая властвовала над младшей. Лишь подняла горделиво голову, прошла мимо с достоинством, сделала попытку изобразить презрение на лице. Видимо, не удалось, потому что Клавдия усмехнулась и сказала вполголоса, сожалеючи:

— Дура ты, дура.

3

Ни Лаврентьев, ни Дарья Васильевна не ошиблись, заняв твердую позицию в отношении Клавдии Рыжовой. Напрасно Антон Иванович сомневался, хорошо или плохо будет работать она после нанесенной ей обиды. Не такой был характер у Клавдии, чтобы работать плохо. Если тринадцатилетней девчонкой, брошенная матерью, не согнулась под тяжестью бедствий, то это не бедствие — решение правленцев урезать кое в чем ее огородниц. Матери доказала — и правленцам с агрономом докажет.

Сама, не ожидая никаких напоминаний, пригласила Асю: «Забирайте, душечки, минералку. Вот вам и конь с телегой. Можете хоть все вывезти». Что там девчата в сарае творили — больше ли, меньше взяли — смотреть не пошла. Созвала своих семеноводок, объяснила им, что троих из них правление переводит в полеводческую бригаду. «Пятерым, которые остаются, придется работать за восьмерых — это совершенно ясно, так в каждом городе, на каждом заводе работают: сейчас я вам газету почитаю. . .»

С ней остались три пожилые женщины — одна из них бабушка Устя — и две девчушки. Все пятеро, стоило Клавдии куда-нибудь уйти, дружно ворчали на новые порядки; появлялась Клавдия — замолкали. При ней ворчать боялись — рассердится, отчислит из звена, иди потом жалуйся и кайся, ее не переборешь. А не переборешь — значит, в большом убытке будешь: у кого еще такие заработки, как у семеноводов. Даже дядя Митя с Костей Кукушкиным зарабатывают меньше.

Однажды Клавдия запрягла лошадь, поехали колья заготовлять. Обычно там, где выращивают семена, кольев этих требуется много тысяч — для каждого растения. Ежегодно их рубят, отесывают, и ежегодно к следующей весне куда только они и деваются. Часть в поле побросают на межах, часть ребята растащат зимой для снежных своих построек, часть уйдет на дрова, на всякие поделки — и весной снова гони народ в лес. У Клавдии ни один кол не пропадал, складывались они осенью в инвентарный сарай и сдавались кла-

довщику по акту. «Бабья затея, — негодовал кладовщик, — дреколье хранить, что брульянты в госбанке. Может, их еще и в несгораемый запереть?» — «Если есть несгораемый — заприте», — не вступала в пререкания Клавдия.

Колья хранились, и весной надо было заготовлять лишь столько, чтобы восполнить нормальную производственную убыль — подгнившие, поломанные, изъеденные жучком. Невелика заготовка, но и она непривычным к топору женщинам показалась трудной. Нарубили в залитом водой лесу ворох ольхи, осины, худосочных березок, елок. Рубили только девчата и сама Клавдия. Пожилые грузили на телегу, увязывали веревками, бабушка Устя и вовсе наземь не слезала — вожжи трогала, кнут с места на место перекладывала, возилась в телеге, что мышка, лишь бы время оттянуть. Клавдия даже пожалела: зачем потащила старуху в мокрый лес, пользы от нее никакой, а еще ревматизм схватит. Решила: больше не брать бабку в лес, пусть косточки греет на печи.

Обратно до села тащились долго. Телега утопала в грязи по ступицы. Бабка, сидя на увязанных кольях, причмокивала, цокала на лошадь, замахивалась кнутом. Семеноводки подпирали телегу плечами, тянули с боков за грядки, за оглобли, чертыхались страшными мужскими голосами. «Удружил, товарищ Лаврентьев! — зло думала Клавдия. — Попомню я это вам. Старуху бы хоть постыдились мучить».

Нежданно-негаданно, когда выбрались на более плотную дорогу и село уже было рядом, бабушка Устя заговорила:

— Что, бабыньки, скажу я вам... Доля наша, крестьянская, куда как легче городской. Была в городу о тую зиму, у внуков гостила, — вспоминать неохота. Васютка, чуть свет в окне, портфельчик под руку подхватит и айда из дому, не емши, не пимши... Цельный день гдей-то шебаршится, прибежит ввечеру — лица на ем, бедолажном, нету, хряснется на постелю, отойдет малость — за книжку. Я ему и про то и про это — уши долонями зажмет, головой мотает — нишкни, мол. И все вокруг него на цыпочках ходи. Грех какой! Это

ему защёты сдавать профессорше. На инженера, вишь, ладит. А Лелька, женка евонная, тая и вовсе... Заседанья, собранья, закрутки энти...

— Кружки, может быть, баба Устя? — спросила одна из девчат.

— Хто их зная. Кружки... закрутки... Закруженная вконец. Нет, у нас не этак, у нас по-людски. Хоть бы тут, в лесу... Вода, конечно, и дело не бабье, а наработался — сам себе голова. Воздух вкруг легкой, ись с устатку охота...

Как ни зла была Клавдия — усмехнулась; ни для кого не заметно, для себя только, но усмехнулась. Пожалела бабку, а у той в ее жалости и нужды нет. Клавдия вспомнила другую старуху — Антипьевну. Антипьевне было под восемьдесят, когда сын, военный ветеринар, еще в молодости ушедший из Воскресенского, забрал ее к себе в город. Тоже пожалел, — одинокая, мол, тяжело ей тут с хозяйством возиться. Антипьевна противилась было: да как на старости лет родные места бросить, да как жить с чужими, не с кем словсм перемолвиться... Но одолело любопытство — пожить в городе всласть, на всем готовеньком, ни о чем не заботясь, барыней. Продала избенку, корову, добришко свое, отправилась в дальний путь. Через полгода пришло известие — сгасла старушка, как свеча.

Поглядывая на бабку Устю, Клавдия думала сейчас о том, как это могло случиться, отчего. Видимо, оттого, что выбилась Антипьевна из привычного ритма жизни. Тут она знала: ее ждет корова в хлеву, ждут овцы, в огороде бурьян морковку глушит. Везде, мол, ты, бабка, нужна, без тебя дело застопорится, и некогда особенно-то о недугах о своих старческих раздумывать; каждый день организм в привычной неторопливой работе, не берет его время, и в голове нет места пустопорожним раздумьям. А там, в городе?.. «Лежите, мамаша, торопиться вам некуда, отдыхайте». Отдыхать, думалось Клавдии, хорошо молодому. Молодой отдохнет, у него от этого сил прибавится. В восемьдесят лет отдых обманчив. Организм в такие годы подобен металлу, от времени утратившему защитную

хромировку, — без дела тотчас ржавеет. Защита от дряхления в преклонные годы — привычный размеренный труд. И, пожалуй, не столько сам труд, сколько сознание того, что труд этот нужен окружающим, что его ждут от тебя, что ты не выпал из трудовой семьи.

Не рассчитал, не учел этого сынок Антипьевны — хотел лучше сделать, получилось хуже.

— Баба Устя, — решила проверить свой вывод Клавдия. — В лес тебя больше не возьму. Сыро и тяжело. Сиди-ка дома.

— Сшалела, девка! — рассердилась старуха. — Дома перед смертью насижусь, будет время. А до могилы мне еще далече. Мне в нее не к спеху. Экая ты, Кланька, прыткая: не возьму! А кто ты такая — не взять? Командирша! Да я у Агафьи, — помянула она Клавдину предшественницу, — правая рука была. Да я... «Не возьму!» Начальница сыскалась!..

— Будет, будет, перестань, баба Устя, — одними глазами смеялась Клавдия. — Пошутила.

— А ты на работе не шути. Пойдешь с мужиками на гулянку — скалься во весь рот, дело твое молодое. На работе — себя соблюдай. Не девчонка я тебе.

Бабка Устя всех насмешила. В лес ее во второй раз так и не взяли. Потом, когда возле инвентарного сарая принялись отесывать, вострить свежие колья, бабка складывала их к стене в штабельки. Таскала по штуке, не утруждалась, потому что работа шла медленно. Топоры легко брали сырую древесину, но у семеноводок не было умения — не дрова ведь колоть. То затешут слишком остро — кончик сломается, то слишком тупо — не пойдет в землю, то криво; тяпали мимо, по чурбакам.

Вышел из сарая Карп Гурьевич, посмотрел, снял шапку, погладил лысину.

— Не умеете — не брались бы, — сказал. — Кто это выдумал — бабы колья тешут. Мужиков не хватает, что ли?

Клавдия хотела ответить, что выдумало такую дурость правление вместе с преподобным товарищем агрономом. Но это бы ее унизило — признаться в бессилии перед правлением.

— А что, хватает, скажешь? Где они, твои мужики? Все в поле с подводами заняты. Даже плотники. Никто не выдумал — сами выдумали.

Карп Гурьевич снова погладил лысину, взял у Клавдии топор.

— Ну-ка подсоблю. Во как надо!

Кол за колом, взблескивая на солнце правильными гранями затески, полетел из-под его рук на землю. Бабка Устя не поспевала подбирать, пришлось Клавдии прийти ей на помощь. Клавдия таскала охапками мокрые тяжелые колья и думала об агрономе, из-за которого ей столько неприятностей. Что же, что весь в орденах, что же, что о нем не скажешь — незнайка. Лезет куда не надо, ни с кем не считается. Улыбочкой хочет взять, белыми зубами да выправкой. Видали таких. У Кудрявцева улыбочка почище, чем у него была.

Она сравнивала Лаврентьева с Кудрявцевым и с великой неохотой вынуждена была признать, что сравнения с Лаврентьевым Кудрявцев не выдерживал. Тот был еще мальчишка, только пыжился, старался казаться взрослым и бывалым. А Лаврентьев? Этому пыжиться не надо. Характерец такой: мягко стелет, жестко спать. Улыбочка улыбочкой — рука-то твердая. Задумал что — сделает, на своем настоит. Таким не покрутишь, не повертишь. Как бы сам тебя не завертел... Ну, ну, еще чего, завертел. Шалишь, — метались противоречивые Клавдины мысли, — Рыжовой еще никто не вертел. Рыжова не такая.

Карп Гурьевич словно подслушал эти ее мысли.

— А про тебя, Кланька, вчера разговор был, — сказал он с хитрецой в голосе, не показывая глаз. — Уши не горели?

— Какой же это еще разговор? Косточки мыли? — как можно равнодушней спросила Клавдия.

— Петр Дементьевич расспрашивал. Зашел вечером — радио слушали — и расспрашивал. В кого, говорит, она у вас тут такая уродилась, ненормальная.

— Скажите ему, что сам он ненормальный. Скажите, что...

— Уймись. Пошутил.

— А вы, Карп Гурьевич, не во-время не шутите. — Клавдия вспыхнула и покосилась на бабку Устю. — Надо знать меру шуткам.

— Да что ты взорвалась, не пойму? Обидел — прости. Но и ты не кидайся лишними словами. Был разговор — значит, был. Не так что бы ненормальная, таких слов не говорил, а и не очень о тебе одобрительно высказывался, не очень тобой доволен.

— Я им совсем недовольна — молчу.

— Вот противники, не на жизнь — на смерть. Скажи пожалуйста!..

— Противники? Еще чего захотели? Мне на вашего агронома — тьфу!..

— Оказия.

Карп Гурьевич струхнул. Он не совсем точно передал Клавдии свой разговор с Лаврентьевым. Лаврентьев высказывался в том смысле, что Клавдия слишком своевольна, требует тонкого подхода, но работник отличный. Хоть это и трудно и неприятно — с такими работниками не считаться нельзя. Иной раз грохнул бы кулаком по столу, приказал — удержишь руку, за горло себя схватишь, будешь разговаривать спокойно, ровно. Руководителю без психологии не обойтись, а с Рыжовой и того пуще, надо быть полным профессором психологии. Так шел разговор. Карп Гурьевич, мягко говоря, чересчур его упростил, и вот струхнул: выходит, что он натравливает друг на друга семеноводку и агронома.

— Не так понимаешь, — перегибая в другую сторону, стал он исправлять ошибку. — Не тобой — характером твоим недоволен. Не подступись, говорит, — что такое за женщина!

— А на что ему ко мне подступаться?

— Как на что, Клавдия! Жить — работать-то вместе или вразнобой?

— Жить — пусть со своей докторшей живет, — грубо ответила Клавдия. — А работать — без него не пропаду. Обходилась.

— Докторша? — Карп Гурьевич бросил топор. — Стыдно тебе, Кланька, эх, как стыдно! Помои на человека льешь. Савельич, что ли, натрепался?

— Отстаньте!

— Отстану. Ковыряйся тут сама как знаешь. Пойду вот к Дарье да скажу про коммунистку, которая на хвосте грязь разносит.

Карп Гурьевич ушел, обиженный и негодующий. Верно, с такой дурищей шуток не шути. Тут и профессор запросто сплоховать может. А он, Карп Гурьевич, не профессор — простой колхозный столяр. Не по людским нравам мастер — по дереву.

Весь этот вечер Клавдия просидела дома, сумерничала возле окна. Она любила свой дом, свои чистые горенки, где ничего помимо ее желания никто не мог тронуть или переложить, передвинуть с места на место. Достаток позволил ей обставить комнаты по-городскому. От старой родительской избы здесь ничего почти не осталось. Года два назад Клавдия позвала мастеров сломать русскую печь, сложить две голландки и плиту. Покрасила полы, заново проструганные Карпом Гурьевичем, оклеила стены самыми дорогими, какие только нашлись в районном центре, обоями и, вместо бумажного бордюра, пустила поверху лакированный багет. Не хватало в доме только мебели. Старую — сундуки, сосновую кровать, топчаны, лавки, почерневший от времени поставец для посуды — она сожгла, а новой, по Клавдиному вкусу, не было в районе. Купила лишь никелированную кровать, громадный ковер бледнозеленых тонов, который развесила во всю стену над кроватью, книжный шкафчик, мраморный умывальник и подвесную лампу с медными цепями и абажуром молочного цвета. Рабочий столик с шестью ящиками сделал ей все тот же воскресенский искусник — Карп Гурьевич. Его работы был и круглый стол посредине, под лампой, и фигурные подставки для цветов возле окон.

Были у Клавдии и книги, и все, кроме специальных семеноводческих, в хороших переплетах. Бывая на курсах в областном городе, она их покупала в букинистических лавках. В последнюю поездку приобрела книгу, которая ее особенно поразила. В книге рассказывалось о любви одного великого русского писателя-демократа к своей жене. Клавдия читала и чувствовала,

как в ней нарастает острая неприязнь к этой женщине. Можно ли было так относиться к человеку, который всю свою жизнь горел высокими, светлыми помыслами! Можно ли было отпустить его одного, больного, потрясенного горем, в дикие таежные места, в страшную ссылку, и на полные любви письма отвечать так глупо, бездумно, или вовсе не отвечать! Нет, не похожа эта дама на тех русских женщин, о которых писал Некрасов и о которых Клавдия читала еще в школьные годы. Бесхарактерная она, эта женщина, пустая...

Вспоминая содержание книги, Клавдия сидела у окна и досадовала на то, что она-то сама с появлением в селе Лаврентьева стала терять характер, срываться с привычного тона, повышать голос, подхватывать бабьи сплетни. Зачем о докторше так сказала Карпу Гурьевичу, о Людмиле Кирилловне? Ведь и в самом деле это брехня, которую, кажется, только Савельич и разносит. Был, говорят, разговор у кого-то с Лаврентьевым насчет Людмилы Кирилловны — открестился обеими руками. А он ведь не из пугливых, зря открещиваться не стал бы. Зачем же брякнула? Но и он зачем ее ненормальной называет? Тоже хорош.

Тяжело было на душе. Как жалко, думалось, что она, Клавдия, не умеет реветь по-бабьи. Прослезилась бы, повыла за печкой — и легче. Позавидовала Марьянке. Та чуть что — в слезы, а через полчаса целоваться лезет.

Трудно человеку в подобном состоянии быть одному, и даже такому, как Клавдия, трудно. Решила, что сходит к ней, к этой самой Марьянке. Надела пальто, шапочку свою барашковую — набок, волосы подправила перед зеркалом, вышла за ворота. В ночном небе высоко, невидимые, гагакали гуси, тянули с юга на северные гнездовья, несли на крыльях весну. Весна бормотала в ручьях, вместе с рыбами взблескивала в остепенившейся Лопати, размахивала ярким фонарем на столбе возле скотного, — была она повсюду, весна. Не было ее только у Клавдии.

Медленно шла Клавдия по улице, говорила себе, что идет к Марьяне, но знала: у Марьяны ей делать нечего; шла мимо правления, мимо кладбища; задер-

жала шаг, постояла под окнами Людмилы Кирилловны. Людмила Кирилловна... Как-то она живет-поживает у них, в Воскресенском? Никогда у Клавдии с ней не было никаких особых бесед. Но обе интересовались друг другом, пассивно интересовались: что такое она, эта городская бабочка, или эта рыжая гордячка?

Клавдия постояла, подождала, не появится ли какая-нибудь — конечно, не какая-нибудь, а совершенно определенная — тень на занавеске, усмехнулась: до чего низко она пала, и пошла дальше. Она спохватилась, что зашла слишком далеко, только увидав каменные столбы ворот и черный тоннель липовой аллеи. «Ужас какой, куда меня занесло!» — подумала с неудовольствием и столкнулась с Ириной Аркадьевной. По многолетней привычке Ирина Аркадьевна прогуливалась перед сном. Клавдия хотела встать за дерево, даже не отдавая себе отчета — почему. Но ее уже заметили.

— Гуляете, Клавочка? — спросила Ирина Аркадьевна.

— Да, гуляю.

— А может быть, свидание? ..

— Удивляюсь, почему это вас интересует, Ирина Аркадьевна. Ну, а если свидание, то что? ..

— Да ничего, боже мой! Право же, Клавочка, я...

— Хорошо, хорошо.

Клавдия повернулась и быстро, едва ли не бегом, пошла назад в село.

Ирина Аркадьевна только усмехнулась и покачала головой: «Ну и ну, Петр Дементьевич. Что же это вы делаете?»

Петр Дементьевич в это время делал то, что и полагается делать человеку в ночной поздний час. Он крепко спал.

4

— Словом, желательно нам знать одно: сможем мы с вами или не сможем поднять его, этот миллион?

Так закончил Антон Иванович свою пространную речь на совещании партийного и производственного

актива, который созвали они вместе с Дарьей Васильевной. Он ждал, тревожным взглядом окидывая лица сидящих перед ним. Люди молчали.

— Если агронома спросить, Петра Дементьевича,— снова поднялся Антон Иванович, — агроном говорит: народ захочет — сможем, не захочет — не сможем. Вы — народ, за вами слово.

Кто-то из скотниц задал вопрос об автопоилках: когда же их поставят; по плану они уже в июле должны начать действовать, а пока и конь вокруг этого дела не валялся. Антон Иванович ответил. Затем директор школы Нина Владимировна, у которой цифры плохо держались в памяти, попросила напомнить, какой доход был предусмотрен планом. Антон Иванович тоже ответил, и опять молчание. Лаврентьев понял в чем дело.

— Мне думается, — сказал он, — что и председатель, и партийное руководство, и я не совсем правильно повели совещание. Прежде всего товарищам надо было объяснить, зачем нам вдруг понадобился миллион. Это же не просто деньги, пачки сотенных бумажек в банковских обклейках. О настоящей цели расскажите, о своем плане, о поселке Ленинском, товарищ председатель.

— Дельно, — согласился Антон Иванович. — Упущеньице. Ну тогда сейчас, я моментом до дому слетаю. Матерьяльчики нужны.

Он вышел. Все, кто тут был, заинтересованные, озадаченные — что, мол, за перемены такие в жизни села, — обступили Лаврентьева и Дарью Васильевну. Лаврентьев отшучивался: не имею права разглашать тайну, не я автор. Дарья Васильевна повторяла: «Организованно, товарищи, надо, организованно».

Дело было дневное, заседали поэтому не в школе, а в правлении, обветшалом, вконец подмытом половодьем. Каждое слово слышно на улице, тем более — не слово, а гул многих голосов. Привлеченный шумом, вошел Савельич и уселся в уголку.

— Тебе что, дед? — насупился Павел Дрёмов.

— Что всем, то и мне, — отрезал Савельич.

— Здесь актив собрался.

— А я, по-твоему, негра в Америке? Мое дело цыц-нишкни, в отдельном транвае езди? Выберут тебя, конопатого, туды в президенты, вот куражься, бери Савельича к ногтю. Здесь мы с тобой, Паша, один другого не превзошли.

— Савельич, Савельич! — Дарья Васильевна легонько постучала по столу футлярчиком от очков. — Скажи лучше, как паром? Наладили?

— Я, что ли, ладить должо́н! Мое дело — водить его. Ладят плотники. Сидят на берегу, покуривают.

Чего бы еще наболтал Савельич, не вернись Антон Иванович! Председатель пришпилил кнопками к стене план будущего поселка, раскрыл тетрадку, но не заглядывал в нее, напамять знал — сколько лесу, кирпича, железа, гвоздей, стекла, глины, извести понадобится, чтобы с бумаги поселок этот перенести на новые места.

Словом, другой получился эффект, чем от первой его речи о миллионе. Тут и миллион не упоминался, а разговоры пошли, хоть неделю заседай непрерывно. Вопросы сыпались, как зерно из мешка, — потоком. Как быть с ветхими, старыми домами? Будет ли ссуда от банка? Знает ли район и райисполком про это дело?

Не один Антон Иванович отвечал. Отвечали Дарья Васильевна, Лаврентьев. Отвечали, а вопросы все сыпались.

— Вечер вопросов и ответов получается, — заговорила, не вставая, Клавдия Рыжова. — О сути дела — никто.

— Дойдет, — пробасил Анохин. — Зачем спешка? Не телушку покупаем, жизнь ломать надумали.

— Не ломать, а строить, — не глядя ни на кого, поправила Анохина Клавдия. — Я поэтому коротко, о самой сути. Запишите, Антон Иванович: семеноводы — триста.

— Тысяч? Кланя! .. — В руках Антона Ивановича задрожал карандаш. — Триста?

— Уже сказала.

— Ошибочки не будет?

Клавдия не сочла нужным повторять обещание, смотрела через окошко на улицу, на дорогу, по которой вышагивали важные грачи. Не признаваясь себе,

а может быть, и не ведая этого, она все силы прилагала к тому, чтобы показать Лаврентьеву, какая она есть, Клавдия Рыжова. Для него, для Лаврентьева, сделана нынче новая, модная прическа; для него обвивает белую шею ожерелье из голубого прозрачного камня; для него же говорятся такие короткие и веские слова. Пусть видит: хороша Маша, да не ваша. Занятая безмолвной борьбой с Лаврентьевым, Клавдия не очень вникала в план Антона Ивановича, — переносить село так переносить. Удивительного в этом ничего нет, — куда ни взгляни, везде так: и жизнь перестраивается, и села, и города.

Иначе мыслили другие.

— Вот Клавдия нас укорила: молчим о сути, — забасил Анохин. — Мы не молчим — думаем и удивляемся на Антона. Здорово Антон придумал. Не знаю, два ли, три года понадобится на такое переустройство, я и десять лет жизни готов в него вложить. Ни труда, ни времени не пожалею. Точно! Не вороти нос, Савельич, обрыдли нам твои ухмылочки. Хвачу вот за воротник...

— Анохин! — Дарья Васильевна взяла в руки целлулоидный футлярчик. — У нас не палата лордов. Повежливей.

— Я вежливо, будь он, старый черт, проклят, — сбил с линии! Вежливо... Тьфу его, нечистый!!.

Анохин сел, забарабанил пальцами по колену. Зло сопел.

Савельич, которому все это непонятное заседание казалось по началу веселой комедией — ишь ты, цельное село скринуть с места мужики задумали, смехота да и только, — увидел дальше, что смехотой тут и не пахнет, вскочил после Карпа Гурьевича, затряс бородой:

— Удумали, благодетели! Наломать дров, да и бросить. Знаем вас! В Крутце старую мельницу сломали, тоже болтали: новая, новая! А где она, новая? Третий год сруб стоит — крышу не покроют... Езжайте хоть к царю Македонскому. Я никуда не сдвинусь!..

— Не галди, Савельич, — как всегда спокойно остановила его Дарья Васильевна. — Желание твое уважим. Живи себе, здравствуй с жабами.

— Он с ними в сродстве, — добавил Анохин.

— Сам гад болотный, — затряслась дедова бороденка. — Ужом елозишь. Только бы от работы подале. Мужики пахать пошли, бабы-девки спину гнут — он заседает. Граф коломенский!

При этих словах не только Анохин — все почувствовали себя неловко. Больно и метко уколол Савельич. Разобраться — неудачное время выбрали для заседания. Второй день пахота идет, овес сеют, подкармливают озимые. В поле сейчас всем надо быть. Но беда — не терпелось обнародовать план, обсудить возможность его осуществления. Дарья Васильевна, председательствующая, повела совещание ускоренным темпом.

— Дядя Митя, что ты скажешь? Антон Иванович требует с тебя четверть миллиона.

— Надо стараться, — мягко улыбнулся дядя Митя, — я что? Как пчела...

— Ты над ней начальник.

— Не начальник — работник я у пчелы, Антон Иванович.

— Не можешь, значит? Отказываешься?

— Не отказываюсь. Стараться, говорю, надо. Клевера опять... разнотравье... липов цвет...

Все высказались, дали обещания, разошлись, поспешили в поля, на скотные дворы, на парники. Миллион получался, — на бумаге получался. Что будет в жизни — кто знает!

В тот же день, в тот же час всем колхозникам стало известно о плане Антона Ивановича. Кто ахал, кто качал головой, кто говорил: «Да виданное ли дело!» Веры в реальность плана не было, — была привычка к насиженным гнездам, к черным от времени деревенским избам, к печам, у которых каждая трещина и кособочина мила глазу, к старым, чахоточным ветлам на огородах — ко всему, из чего вкупе складывается понятие: родные места. Не многие воодушевились предстоящими переменами. Но они, эти немногие, все же были, и среди них, конечно, Асины девчата. Узнав от Анохина, по поводу чего не в обычное, в дневное время совещался колхозный актив, сбились в кучку, побросали тяпки, затараторили. Будут ли строительные бригады? Если бу-

дут — они организуют свою, комсомольскую... Когда начнется переселение? Когда его закончат?

— Наше с вами дело, девки, простое, — методически объяснял Анохин. — Все будет, только сначала нужно поднять колхозный доход, а нам с вами лично — вырастить показательный урожай. Как не понять, ей-богу!

На пасеке тоже получилось стихийное собрание. Немногочисленное — дядя Митя да Костя Кукушкин, — но бурное.

— Четверть миллиона? — переспросил Костя, потрясенный величием цифры. — Здорово! И что ты, дядя Митя, сказал?

— Что? Трудненько, не от нас зависит. Как пчела.

— Ну, дядя Митя, «как пчела»! — недовольно сдвинул брови Костя. — Надо было сказать: оправдаем, нажмем; как она будем работать.

— Кто это — она?

— Маруська.

— Опять ты мне про кубанскую девчонку. Гляди, Костя, не тычь ею в нос. Осерчаю.

— Не пугай, дядя Митя. Я этого не люблю. Я Кольке Кондратьеву — еще в пятом классе был — шишек за насмешки наставил.

— Возьму за ухо... такие мне будешь намеки. Мне, Костенька, один нашелся, наставил шишек. Не обрадовался.

— Да я не про тебя...

— Ладно, не крути. Молод.

— А ты старый. Поворотливости нет. «Как пчела»! Ты бы сказал: семеноводок перешибем, Клавдия у нас повертится...

— Пошел-ка ты отсюдова вон! — обозлился дядя Митя. — Без тебя работал не хуже. Слышь?

— Ты не помещик — гнать. Не твоя пасека — колхозная. Я, конечно, сейчас уйду. Но уйду не вон, а к председателю. — Он бегом помчался из сада.

— Костя! — крикнул встревоженный дядя Митя. — Костя!

Костя не остановился.

День этот одних поссорил, других помирил — со-

шлись на общем несогласии с планом председателя, третьих заставил призадуматься. Призадумалась и Клавдия. Занятая на совещании тем, чтобы получше показать себя перед Лаврентьевым, она не слишком осмыслила сущность предложения Антона Ивановича. Возвратясь к своему звену в поле, где женщины высаживали тяжелые кочерыги капусты, усеянные фиолетовыми почками, Клавдия вновь перебирала в уме каждое слово председателя, Дарьи Васильевны, агронома, Карпа Гурьевича. Говорили они все верно. Конечно, нельзя больше терпеть, чтобы село ежегодно тонуло в Лопати, конечно, надо его перенести на более сухое место, и, конечно, прежде чем переустраивать жизнь, необходимо добиться доходов, может быть, не в один и даже не в два, а в пять миллионов. Почему же они, странные какие, так мало уделяют внимания семеноводству овощей? Сеют всякую ерунду, от которой никакого дохода, одни убытки. Дай волю ей, Клавдии, она бы показала доход! .. Не только село бы можно было перенести на новое место — ванны в каждом доме оборудовать, электрические приборы установить, чтобы не возиться с печками и плитами, мотоциклов, автомобилей накупить. Пашка Дрёмов говорит, что автомобиль не так дорого и стоит.

Клавдия размечталась. И чем больше мечтала, тем грустней становилось у нее на душе. И автомобиль будто бы уже у нее есть, и библиотека, и кресла, а среди всего этого она — одна. Никого рядом, не с кем делить радость новой жизни. Раньше Клавдию одиночество не очень угнетало; во всем особенная — значит, и в образе жизни особенная: ровни нет. Теперь не только ровня, а некто превосходящий ее появился в Воскресенском.

Тряхнула головой, — выдерживала характер.

— Девчата, — сказала. Всех в поле — и старых и молодых — называют почему-то девчатами, и никто от этого не в обиде. — Девчата, сколько тысяч получили за прошлый год, помните? Ну вот, нынче надо выручить в два раза больше.

Она повела рассказ о том, о чем только что мечтала.

— Ах ты, сказочница какая! — ахала бабка Устя. —

Ах, забавница!.. За эти сказки твои пятьсот тысяч не жалко, были б они у меня.

— Не сказки, бабушка, — мечта.

— Одна разница. У меня в девчонках мечтанье было за прынца выйтить. За нашенского мужика вышла, за плохонького. Это быль, Кланюшка. А то — сказочка.

— Принц, конечно, небылица. Село перенести вон туда... — Все обернулись, посмотрели по направлению Клавдиной руки, в сторону садов, над которыми деревянными ребрами обструганных стропил дыбился старый дом барона Шредера. — Это наша боевая задача, девушки. А вы знаете, что такое боевая задача?

— Как не знать, — резвилась бабка, не принимая всерьез Клавдиных слов. — У меня в войну-то в избе пекарь воинский стоял. Чуть свет подымется, рукам-ногам подрыгает — зарядка, говорит, и отправляется — боевую, мол, задачу сполнять, мамаша. К противням, значит, да тесто месить.

Бабка, как все бабки, ехидничала, но остальные женщины слушали Клавдию, округлив глаза. Их потянуло с поля домой: Клавдия — Клавдией, а вот там, в селе, что толкуют про это новшество? Еле дождались конца дня, понеслись по тропкам через канавы и плетни.

Воскресенское волновалось. Во всех избах свет горел за полночь, скрипели калитки, стучали сапоги о ступени крылец, люди ходили и ходили — один к другому, другой к третьему. Сидели за столами, пили чай — на полный ход работали самовары, мужчины дымили табаком. Антон Иванович даже испугался: а вовремя ли обнародовали, не сорвется ли из-за этих волнений весенний сев?

В доме у Звонких тоже случился маленький переполох. Елизавета Степановна принялась трясти вещи в сундуках и комодах, хлам ворошить в кладовке, сетовать на нехватку веревок.

Ася наконец обратила внимание на ее возню.

— Да зачем это тебе, мама?

— А как же, переезжать вдруг, спохватился — того нет, другое лишнее. Допреж подготовиться надо.

— Допреж — это, может, через три года будет.

— Ну, не скажи. Петенька взялся — скоро, значит.
— Завтра девчатам расскажу, животики надорвут.
— Поберегли бы животики свои для чего дельного.
— Грубости?
— Материнский совет.

А свет в окнах горел, а калитки скрипели, и шаркали, стучали по улицам и дворам шаги...

5

Прошла неделя, другая, воскресенцы стали успокаиваться: Антонов проект — дело дальнее, рановато взволновались, не к чему. Но изменения в производственный план, в его статьи доходов с согласия общего собрания были все же внесены, и эти изменения заставили многих работать более энергично, ускорили темп колхозной жизни, как говорил Антон Иванович, на двадцать пять градусов.

Павел Дрёмов с Карпом Гурьевичем занялись установкой насоса у колодца, проводкой труб и монтажем автопоилок. В помощь им Антон Иванович пригласил совхозного монтера Святкина, и Святкин каждый вечер приезжал в Воскресенское на велосипеде. Дело он знал, монтаж водопровода подвигался довольно быстро, и Дарья Васильевна уже подсчитывала, какую прибавку молока получит она на ферме от нововведения.

На ферме все шло вполне благополучно: не погиб ни один теленок, их уже было сорок девять; ягнились овцы, поросились свиньи, — скота прибывало, прибавлялось забот, но вместе с тем росла и уверенность в получении высокого дохода.

Поглощенный электрификацией и водопроводом, Карп Гурьевич не оставлял и своего коренного занятия — столярного. Он строгал, сколачивал, окрашивал в голубую краску табуреты, стулья, кухонные столики, шкафчики. Их отвозили в город и продавали там на базаре за наличные. Воскресенская мебель была дешевле и лучше той, которую изготовлял райпромкомбинат, раскупалась она быстро. Антон Иванович сидел, радовался над счетоводными книгами: еще денежки. Но эти

денежки, к сожалению, еще не откладывались в фонд миллиона, а шли на различные текущие нужды — на горючее для автомашины, на химикалии, на огородный инвентарь, на сбрую. Миллион был все так же далек. Через шкафчики и табуретки к нему не придешь — его могла дать только земля.

Антон Иванович не жалел средств на удобрения, если их требовали Клавдия или Анохин: земле дашь, от земли получишь; приобретал новейших систем ручные и конные полольники: без затрат нет и доходов. . . Председатель волновался, переживал, — время, ему казалось, шло слишком медленно. Время, однако, шло своим чередом. Зеленели луга, лес, тростники на Лопати, зацвели яблони. Ни с чем несравнимый тонкий запах клубился над садами.

Лаврентьев шагал меж плодовых деревьев на пасеку, вдыхая этот запах, запах здоровья и силы. На пасеке он не был давно и сразу заметил происшедшие на ней перемены. Пасека разделилась. Часть ульев стояла на прежнем месте близ омшаника, другая часть отодвинулась дальше, в глубину сада. И между ними кто-то додумался натянуть на кольях ржавую колючую проволоку.

— Дядя Митя! — крикнул Лаврентьев, не страшась навлечь на себя пчелиный гнев. Пчелы еще не окрепли после зимнего покоя, и все их внимание было направлено на яблоневые цветы — почти в каждом цветке среди желтых тычинок копошилась мохнатая работница. — Дядя Митя!

Дядя Митя возник из-за красного домика, приподнял соломенную панамку.

— Петру Дементьевичу! . .

— Кто сад обезобразил? Зачем проволока?

— Костенька смудрил. В отдел от меня пошел. Ты, говорит, — это мне-то, Петр Дементьевич! — старая, мол, кутья и рутинщик. Забрал половину семей, забор устроил. Работай, говорит, в общем по-своему, а я буду по-Маруськиному.

— Что за Маруська?

— Девчонка, Петр Дементьевич. С Кубани. Начитался про нее.

— Где он, этот новатор? Костя!

— Я здесь! — будто в классе, из-за спины Лаврентьева откликнулся Костя.

— Ну-ка, в чем ты и Маруська расходитесь с дядей Митей?

Костя быстро принялся сыпать словами; поминались какие-то затемнения на ночь, борьба с трутнями, препятствование роению слабых семей, искусственное продление рабочего дня в июле, когда цветет липа.

— Я понимаю так, — внимательно и не без интереса выслушал его Лаврентьев, — ты хочешь соревноваться с дядей Митей. Это хорошо. Ну, а проволока?

— Антон Иванович потворствие оказал, — вставил дядя Митя.

— Как так?

— Отделись, говорит, и действуй самостоятельно.

— Отделись — это насчет ульев, а не проволоки. Убери-ка, братец Костенька, ее к бесу, и соревнуйтесь вы, как все люди соревнуются, без колючих заграждений и баррикадных боев. Вот тебе мое приказание. Исполнить немедленно.

Костя, ворча, пошел валить колья и сматывать проволоку. Он достаточно искололся и исцарапался, устанавливая ее; теперь предстояли новые рубцы и раны, и главное — территория его пасеки останется открытой для всяческих вылазок дяди Мити. Что вылазки будут, в этом он не сомневался. Представление о соревновании в самом деле у него было несколько своеобразное. По-Костиному оно должно было развиваться примерно так: подставь ножку другому раньше, чем тебе подставят.

— Слыхали? — сказал дядя Митя, когда Костя отошел. — Катенька к нам приезжает. Не то в июле, не то в августе. Сестра министру писала, выхлопотала, сюда назначат, в наш район. Наверно, в Крутцевский сельсовет, рядом. Там тоже амбулаторию строят.

— Очень хорошо, — искренне порадовался Лаврентьев. — Славная она, ваша Катенька.

— Жаловаться нельзя.

Лаврентьев шел дальше. Он намерен был обойти все

посевы, чтобы составить себе полную картину состояния полевых работ. Поэтому и Звездочку он услал с мальчиком назад на конюшню. Пешком лучше, спешки нет. Он дошел до перевоза. Здесь уже действовал паром, на котором овощеводам переправляли за реку удобрения, семена, инвентарь, коней и подводы. На пароме, прислонясь к перилам и свесив к воде ноги в валенках, сидел Савельич, бессменный — из года в год — паромщик. Он плевал в воду, распугивая серебряных уклеек. Лучшей работы Савельичу и не надо было. Перевозить ему приходилось только утром да вечером, редко кому понадобится за реку днем, — сиди да поплевывай, истребляй табак и спички. Но Савельич умудрялся ничего не делать даже и в утренние и в вечерние часы. Зайдут на паром огородницы, он их заставит канат тащить, сам вдоль бортов колбасится, важность напускает: место-де строгое, гляди да гляди, не то сорвет или на мель сядешь. Женщины простодушны, верят Савельичевым хитростям. С мужиками хуже. За канат взяться их не заставишь. «Действуй, действуй! — кричат. — За что полтора трудодня получаешь?» Хорошо еще, что на огородные поля мужики редко ездят.

— Здравия желаю, господин капитан! — Савельич приподнял свою шапчонку. — На тую сторону, что ли?

— Да, на тую. Здравия желаю, господин «бибиси».

— Что за штука такая?

— Она про нас всякие небылицы по радио брешет. Заграничная штука.

— Значит, я, того-этого, по-твоему, брехун?

— Значит, Савельич, значит. Изрядный брехун. Я думаю как-нибудь доклад сделать колхозникам про таких брехунов. Пусть послушают, и ты приходи.

— Срамить будешь?

— Срамить.

— Стерпим. Срам не дым, глаза не выест. Ну, заходи, поедем.

Паром тронулся. Савельич орудовал канатом, плескала вода за бортом, над ней с писком проносились ласточки. Лаврентьев разглядывал паромщика, его красные галоши, ветхий жилет под долгополой курткой, меховую шапку, которую Савельич продолжал носить,

несмотря на теплую погоду. На середине реки дед остановился передохнуть и, пока паром шел по инерции, вытащил из кармана кисет, обрывок газеты, — корявые пальцы его скручивали толстенную цыгарку. Лаврентьев смотрел на эти пальцы, и ему казалось, что на газетном лоскутке, зажатом между ними, он видит какое-то очень знакомое слово.

— Обожди, Савельич, дай сюда! — сказал он и, к удивлению деда, быстро выхватил у него из рук его завертку. — Так и есть «. . .лесская пробле. . .» О ней, о Полесской проблеме, речь. Савельич досадовал на то, что просыпана такая добрая щепоть махорки, а Лаврентьев продолжал вертеть в руках косой лоскуток и читал оставшиеся на нем половинки строчек. «Эта огромная низменность. . . и заболоченных земель. . . В человеческой власти уничтожить. . . превращения в край высокоинтенсивного земледелия и животноводства. . . Таковы вопросы, которые ставили перед собой люди науки. . .»

— Еще осталось у тебя что-нибудь от этой газеты? — спросил он. — Где ты ее взял?

— Прошлогодняя. У счетовода вчерась из шкафа стащил. А осталось ли? Что тут осталось. . . — Савельич рылся в карманах. — Вот и все — на две завертки.

На этих «двух завертках» было уже не то, что хотел Лаврентьев. Что же это за проблема, о которой думал Кудрявцев и которая вторично тревожит его, Лаврентьева? Судя по отрывочным газетным фразам, дело касается огромных болот. Но почему о Полесской проблеме он никогда ничего не слыхал — ни в институте, ни в облземотделе? Надо будет куда-то написать, в Академию сельскохозяйственных наук, что ли? Лаврентьев чувствовал, что в Полесской проблеме есть нечто общее с «проблемой воскресенской». Там болота, и здесь болота, там с ними борются, и здесь без этого не обойтись.

Он переехал за реку, обошел огороды, потом снова пересек реку — отправился на зерновые поля. Девушки завалили безобразные ямы, и вместо ям на посевах лежали не менее безобразные, как следы оспы, бесчисленные черные пятна. «Жнейкой-то пройдешь, — подумал

он, вспомнив весенние сомнения, — да было бы что жать».

Откладывать дело в долгий ящик не стал. Возвратясь поздно вечером домой, принялся писать письма в Академию, в институт почвоведения, в ленинградское отделение организации с выразительным названием «Книга — почтой», адрес которого вычитал в журнале по селекции. Из лесной глуши полетят вопросы в Москву и в Ленинград. Как там на них отзовутся, как откликнутся? «Москва слезам не верит» — старая пословица о старой Москве. Но разве новая Москва не обеспокоится тем, что болото ежегодно сжирает труд нескольких сотен людей, глушит их мечты, отнимает надежды на будущее. Люди не сдаются, но и болото не сдается. Нет, Москва этому поверит, — поверит и поможет.

Покончив с письмами, Лаврентьев вышел в сад. Ночью запах цветущих яблонь стал еще сильней. Окна Прониных были открыты, из них, отбрасывая на древесные стволы тени фикусов, лился зеленоватый свет. Далеко-далеко лаяли собаки.

Мир и покой.

Внезапно ударили по клавишам фортепьяно. Шумный аккорд захватил полсада и угас на реке. Потом звуки пошли мелодичной чередой, и сильный низкий голос запел: «Вчера ожидала я друга. . .» Впервые слышал Лаврентьев пение Ирины Аркадьевны. Оно было тревожное, трогающее за душу. И слова вызывали грусть. «. . .Так долго сидела одна. А сердце сжималось в испуге. . .» В одном и том же слове голос Прониной то поднимался на ступеньку выше, то опускался, еще ниже опускался и вновь — плавный взмыв кверху.

Лаврентьев простоял под чужими окнами полтора часа и стоял бы дольше, но голос смолк и деревянно стукнула крышка фортепьяно.

Лаврентьев вернулся к себе в комнату, обсыпанный душистыми лепестками.

На столе, в стакане с водой, цвели три веточки яблони, вишни и груши. Что такое? Кто тут был?

Загадка разъяснилась лишь назавтра, когда Ася спросила:

— Букетик наш понравился? Ходили с девчатами гулять, до вашего дома дошли, а вас нету, решили память оставить.

— Нисколько не понравился. Во-первых, разве можно ломать плодовые деревья?

— Ну уж! — Ася недовольно надула губы. — Я говорила: вы молодой, а вы и верно старый. Плоды! Цветочки! Все равно они пропадут. Из двенадцати цветов только одно яблоко получается.

— А во-вторых, вы, поди, и пение Ирины Аркадьевны слушали?

— Слушали, конечно. Ах, как поет, мы обмерли даже.

— Старый, значит, старый. Совершенно ясно! — засмеялся Лаврентьев. — Я в пользе такого пения сильно усомнился.

— Плохо, — сказала Ася. — Старикам хоть и всегда почет, но зато молодым везде у нас дорога. Не старейте, Петр Дементьевич. Очень прошу вас.

— Ладно, Асенька. Сегодня все яблони обломаю вам на букеты.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

Каждая пора года имеет свой запах. Ранняя осень пахнет плодами, поздняя — прелой листвой. Зимой по улицам тянет печными дымками. Весна вся в ароматах — начиная от апрельских испарений земли до цветения садов. В июле запахнет лугами, сеном. Сено, свежее, блеклозеленое, душистое, — повсюду. Оно лежит в прокосах, в копнах, в стогах, его везут на подводах через прогоны, его мечут длинными вилами на сеновалы, уминают в сараях, забивая сараи до крыш. В сене возятся ребятишки, собаки; сено, зажмурив глаза, обнюхивают коты.

С началом сенокоса воскресенцы двинулись в луга, в заречье, дневали и ночевали в ольховых шалашах.

Вместе с косарями жил и Лаврентьев. Звездочка его, золотистая лошадка, паслась свободно, без привязи и узды. Она отъелась, фыркала на осоку, как истая лакомка выбирала только самые мягкие и сладкие травы, только самое вкусное сено, еще не совсем просохшее, с медовым запахом. Она привыкла, привязалась к Лаврентьеву. Когда в жаркие дневные часы Лаврентьев спал в копне на разостланном одеяле, Звездочка непременно находила его и дремала рядом, склонив сонную морду. Лошадиный сон недолгий. Звездочке быстро надоедала тишина, она принималась жевать ухо Лаврентьева похожими на теплый бархат губами. Разбудит и — прыжком — в сторону, взбрасывая копытами комья земли. Потом опять к нему, куснет за рукав, за плечо, и опять в сторону, развевая по ветру подстриженный хвост, — заманивает, зовет играть. Для Звездочки праздник, если удастся растормошить хозяина и он начнет ее ловить. Сумасшедший галоп вокруг, визг, козлиные прыжки.

— Не конь, а собачонка. Прямо-таки, собачонка, — выскажется кто-нибудь из косцов, разбуженный этой возней.

— Кого животные любят, тот хороший человек. Верная примета, — изречет другой. И снова оба спят.

Кроме Лаврентьева, Звездочка еще снисходила до игр с директором школы Ниной Владимировной и молодой учительницей Верой Новиковой. Потому что они тайком угощали ее ломтями хлеба, густо посыпанными солью, и кусками сахару.

В этот год Нина Владимировна и Новикова не уехали на лето из Воскресенского, хотя Нине Владимировне в районном отделе народного образования предлагали путевку на юг, а Новикову в областном городе ожидали родители. Распустив ребятишек на каникулы, учительницы пришли к Дарье Васильевне, и Нина Владимировна сказала:

— Хотим помочь колхозу. Как вы смотрите на лишних две пары рук?

— Очень хорошо смотрю, родные вы мои, — растрогалась Дарья Васильевна. — Да не знаю, законно ли

будет? А ну-ка не отдохнете, измаетесь за лето. Как учить тогда?

— Об этом, Дарья Васильевна, не беспокойтесь.

— Больше и беспокоиться не о чем. Рады вам. Помощь большая. Газеты в бригадах читать, беседы проводить. . .

— Само собой. Но мы еще и просто работать хотим, вот этими руками.

— Ох, не знаю! Ох, не знаю! Правильно ли, законно? С Антоном Ивановичем посоветоваться надо, с правлением.

Правление высказалось положительно. Точнее — высказался Анохин, и с ним согласились.

— Всякий труд законен, — заявил решительный бригадир. — Особенно ежели труд от всей души. Считаю, обида будет нашим учительницам — оттолкни мы их. Вот это да, вот это беззаконно — оттолкнуть.

Учительницы пропалывали ржаные и пшеничные поля, ворошили, подгребали сено, читали газеты вслух; Новикова любила побарахтаться с девчатами в сене, попеть с ними тонким голоском; Нина Владимировна досуг употребляла на беседы, умела хорошо и интересно рассказывать о вселенной, о явлениях природы, о разных странах и народах. Вокруг нее всегда собирался тесный кружок.

На сенокос, за компанию с учительницами, пришла Ирина Аркадьевна; и даже Людмила Кирилловна являлась иной раз. Тяжелая болезнь, перенесенная зимой, на ней внешне никак не отразилась. Людмила Кирилловна ловко орудовала граблями, ходила в коротком девчоночьем платьице, ровно и красиво загорели ее плечи, руки, ноги. Встретясь с ней однажды среди копен, Лаврентьев смутился. После тех странных отношений, какие возникли между ними до ее болезни, он ожидал, что и ему и ей будет неловко. Но Людмила Кирилловна первая подала руку, заговорила просто и легко, как ни в чем не бывало, пошутила по поводу плетки, заткнутой за пояс Лаврентьева, и у него как будто тяжкий груз свалился с плеч. Значит, он был прав, избегая в свое время Людмилу Кирилловну, — вот и прошло никому из них не нужное ее увлечение.

И он тоже заговорил легко и просто, и тоже шутил, смеялся.

В полях и лугах шла дружная, наполненная трудом жизнь. Лаврентьев отдавался этой жизни целиком. Он был страшно раздосадован, когда на сенокос на велосипеде прикатила секретарь сельсовета Надя Кожевникова.

— Вам телефонограмма, Петр Дементьевич. Из райисполкома. Завтра явиться на заседание.

— Какой вопрос? Что? Зачем? — Недоумевая, вертел он бумажку в руках. — Вы не спросили?

— Нет, Петр Дементьевич. Не догадалась. Записала, и все.

— Не во-время как, а?

— Неудобнее времени не найти, точно, — подтвердила Дарья Васильевна, вместе с ним разглядывая текст телефонограммы. — Ни председателя, никого — одного агронома. На выдвижение бы не потянули, Петр Дементьевич, в райсельхозотдел или куда. Драться за тебя будем.

— Сам драться буду. Не выйдет.

Лаврентьев выехал рано утром, до жары. Звездочка — и понукать ее не надо — бежала мелкой торопливой рысью, тоже как будто чуяла, что до города надо добраться прежде, чем припечет солнце. В окрестных кустах звенели мелкие пичуги, тарахтели сороки, перелетая с осины на осину; вдали, никуда не спеша, меланхолично вела счет чьим-то годам кукушка. Лаврентьев гадал: зачем позвали? Неужели и правда на выдвижение? Не пойдет, откажется, потребует, чтобы сам Карабанов вмешался... А может быть, неполадки нашли. Хотя какие такие особенные неполадки? Недавно комиссия была из райсельхозотдела, проверяла итоги весеннего сева, все поля обошли, чуть не каждое растение подсчитали — вроде бы довольны остались. Непонятный, словом, вызов, совсем непонятный...

Прискакал Лаврентьев слишком рано. Вызывали к двум часам дня, явился в половине одиннадцатого. Привязал Звездочку во дворе районного Дома Советов, дал ей сена, зашел в исполком, к секретарю.

— По какому вопросу, спрашиваете? — Секретарь

поднял голубые глаза от бумаг. Это был тот самый взлохмаченный человек, который дежурил в райкоме, когда Лаврентьев неудачно приехал к Карабанову зимой. — Приветствую вас, товарищ агроном. Не знаю, по какому. Вопрос готовил Серошевский. Тут записано только: «Дело агронома из Воскресенского».

Целое «дело»! Лаврентьев отправился к Серошевскому. Его не было на месте. «У председателя, — сказала девушка в приемной. — Сходите туда».

«Нет уж, ладно, ходить больше никуда не буду, — подумал Лаврентьев. — Дело так дело. От Серошевского добра не жди. Может быть, с запозданием за откровенный разговор решил свести счеты или за теленка проработать. Что ж, поговорим еще раз». Он вышел на улицу, заглянул в магазин культтоваров, порылся в книгах, вспомнил, что «Книга — почтой» ему ничего не ответила, да и на другие два письма ответа нет. Хотел посидеть на бульваре, но на двухэтажном кирпичном здании увидел вывеску: «Районный краеведческий музей».

Он поднялся по лестнице из серого плитняка, купил за полтинник билет у задумчивого старикана, который долго отсчитывал сдачу, и пошел по комнаткам, тесно уставленным экспонатами. В первой комнате он прежде всего увидел два чучела: бенгальский тигр и бурый медведь. Тигр крался за лебедем, засунутым за печку, медведь облокотился о здоровенную суковатую дубину. Оба хищника были изрядно трачены молью, сквозь их шкуру кое-где проглядывала пакля, а у тигра к тому же не хватало половины зубов и одного глаза.

— Тигры тоже в районе водятся? — спросил, улыбаясь, Лаврентьев у старичка, который тихо следовал за редким в такой час посетителем.

— Медведи водятся, — ответил старичок. — Много медведей. А тигр — это из шредеровского поместья. Конфискован после революции. Музей-то у нас старый, — добавил он с гордостью. — Больше тридцати лет существует.

Кто бывал в районных краеведческих музеях, легко может себе представить, что увидел Лаврентьев в

остальных комнатах. Кирпичи, черепица, вышивки на холсте, кружева, деревянные ложки, игрушки из глины и липы — предметы местного производства. Макеты лесопильных заводов, плотов, картины лесозаготовок — основной промышленный профиль района. Снопы ржи, овса, ячменя, молочные бидоны, прессованное сено — сельское хозяйство. Множество диаграмм и таблиц. Рядом с ними — кольчуга, оперенные стрелы, ржавый меч, черепки горшков, позеленевшие медные монеты, добытые из курганов и могильников. Революция и гражданская война были представлены двумя картинами и несколькими выцветшими фотографиями. Одна картина изображала пожар помещичьей усадьбы, другая — красноармейский митинг. На фотографиях были запечатлены безусые и бородатые лица первых бойцов за советскую власть в районе и рядом с ними — захваченные штабники из шайки местного белобандита Гулак-Соколовича. Сам Гулак, облаченный в длинную офицерскую шинель, стоял насупясь в центре группы. Над головой его был начертан белый крестик, а на полях фотографии тоже крестик и объяснение — кто это такой.

Так как Лаврентьев вопросов не задавал, молчал и старичок. Но вот они остановились перед громадной, во всю стену, подробной картой района. Лаврентьев отыскал Воскресенское, реку Лопать и таинственную Кудесну, о которой только слыхал, а видать ее не видал. Его поразило графическое изображение Лопати. Она была похожа на частую гребенку — так много впадало в нее ручьев и ручейков, и впадали они только с запада, то есть со стороны Кудесны. Но текли ручьи не из самой Кудесны. Истоки их лежали в болотистых лесах между Кудесной и Лопатью. Лопать шла довольно ровной ниткой, Кудесна ломалась крутыми острыми зигзагами, то отдаляясь от Лопати, то к ней приближаясь. Сверясь с масштабом, Лаврентьев определил, что самое большое расстояние между реками на территории района было километров двадцать пять, меньшее доходило до пяти — это ниже Воскресенского, если брать по течению, а в районе самого Воскресенского до Кудесны по прямой насчитывалось километров семь с половиной.

Не в этом ли сближении рек и была причина заболачиваемости колхозных полей?

— У вас карты рельефного разреза нет? — спросил Лаврентьев у старичка.

— Нету, нету. Карта древних путей — вот она. Вот тут ходили из варягов в греки. Вот, вот на юг, по Кудесне. Древнее название — Кудесна. Волшебница, значит, — оживился старичок. — Все названия у нас древние, славянские. По сей день сохранились. Погостье вот, а тут Ладейна заводь. Ветрилово, Гостиницы. Большой торг. Малый торг. Волок. Волоком тащили корабли отсюда до Гостиниц. Княжново...

— Интересно, очень интересно, — согласился Лаврентьев. — Жаль, рельефного разреза нет.

— Есть тут такие сведения, — старичок с готовностью порылся в альбомах на овальном столике. — Это к нам экспедиция лет этак с десяток назад приезжала. Вот оставила в подарок. «Подпочвы Междуречья». Что сказано? «Зеркало реки Кудесны лежит на два и три десятых метра выше, чем зеркало реки Лопать».

— Дайте, дайте! — Лаврентьев схватил альбом. Но кроме этой, чрезвычайно ценной для него фразы, больше ничего не нашел. В альбоме главным образом были фотографии здешних мест; из скудных, отпечатанных на машинке текстов следовало только то, что почвы района лежат на плотных глинах, на известняках и на песках-плывунах, а точнее — где что? — этого не было. Видимо, работники экспедиции оставили тут предварительный, сырой, необработанный материал, — все записи, наблюдения, пробы увезли с собой. Куда? «Институт ирригации и мелиорации» — было сказано на обложке альбома. Где этот институт? И один ли он в Советском Союзе? Как его искать? Сохранились ли в нем архивы?

Поглощенный этими вопросами, Лаврентьев позабыл о цели своего приезда в район, и только мелодичный бой старинных музейных часов под стеклянным колпаком напомнил ему, что надо идти на заседание, где будут разбирать его дело, дело агронома из Воскресенского.

Часы били без четверти два, без пяти два он был в исполкоме.

— Заходите, товарищ Лаврентьев! — пригласил секретарь. — Один вопрос уже пропустили. Сейчас ваш.

Лаврентьев вошел в небольшой зал заседаний. Половина откидных кресел, таких, какие бывают в кино, пустовала. Он присел на свободное место с краю последнего ряда. За столом президиума ему были знакомы только председатель исполкома Сергей Сергеевич Громов — он два раза приезжал в Воскресенское, недавно весной и в январе, — и Серошевский. Лаврентьев тронул за плечо сидящего впереди:

— Скажите, а Карабанова разве нет?

Тот обернулся:

— В области, на пленуме обкома, и второй секретарь там же. Итоги сева, подготовка к уборке...

— Итак, что у нас дальше? — спросил Громов, полный, грузный, медлительный.

— Дальше — дело агронома Лаврентьева. — Серошевский поднялся с раскрытой папкой в руках, поправил очки.

— А он здесь? Да, вон он. Так, так, слушаем. Подсаживайтесь-ка, товарищ Лаврентьев, поближе.

Лаврентьев остался сидеть на месте.

— Содержание дела в том, — гладко и округло заговорил Серошевский, подергивая губой и носом, — что агроном Лаврентьев, вместо того чтобы бороться за высокий урожай ценной и новой в нашей области культуры — пшеницы, вместо того чтобы пойти навстречу передовикам Воскресенского, помочь их начинанию, нанес общим нашим усилиям громаднейший вред. Своим самостийным — сознательным или нет, не знаю — решением он фактически уничтожил не менее трети урожая. Агроном Лаврентьев весной, на участках семенной пшеницы, а также и на некоторых других, приказал рыть ямы для сбора воды. Казалось бы, неплохо. Поля в Воскресенском сырые. Но что получилось? Каждая яма — это два-три квадратных метра посева, да земля, разбросанная вокруг, да сколько землекопы вытоптали. Достаточно произвести простое умножение... Ах, прошу прощения, не сказал главного. Урожай, как оценила наша комиссия, на пшеничных участках обещает быть отличным, до ста восьмидесяти пудов с гектара.

Это, конечно, при том условии, если бы не было злосчастных ям, товарищ Лаврентьев. — Серошевский через очки послал в зал улыбочку. — Но ямы есть. Вот теперь помножим и получим — не сто восемьдесят пудов выходит, а только сто двадцать. Треть урожая, шестьдесят пудов, съели ямы. Кто дал право товарищу Лаврентьеву самовольничать, нарушать агротехнику, наши инструкции? Кто дал ему право залезать в карман колхоза, в карман государства? Мы должны спросить его об этом сегодня, и спросить со всей большевистской суровостью. Без скидок и поблажек.

— За вами слово, товарищ Лаврентьев, — сказал Громов, когда Серошевский сел. — Объясните исполкому, как это у вас получилось?

— Мне трудно что-нибудь сказать, — поднялся Лаврентьев. — Я не подготовлен. Вызвали неожиданно. Зачем вызвали, не сообщили. Но, если так повертывается дело, я, понятно, не смолчу. Мне казалось, что ямы пошли на пользу. Там, где их не было, виды на урожай гораздо ниже. Вымочки, выпревание... А что же оставалось делать? Созерцать, как через поля хлещет вода? Не имел права. Вот этого права действительно не имел. Не утверждаю, что ямы — элемент передовой агротехники. Всего-навсего пожарная мера. Если говорить серьезно об агротехнике в Воскресенском, нужны большие мелиоративные работы. Об этом свидетельствуют и материалы краеведческого музея, — сходили бы вы как-нибудь туда, товарищ Серошевский.

— Вас просили говорить пока что о себе, — подал реплику Серошевский. — Обо мне, если надо, скажут в ином месте и другие люди.

— Я говорю о себе, о своих предположениях. Ваших не знаю. Если почвы Междуречья, где находятся поля Воскресенского, лежат на плотных глинах, то вполне возможно, что по этим глинам идет подземный ток воды к Лопати...

— Мелиорацией занимайтесь, а не мудрствуйте, — снова вмешался Серошевский.

— Занимаемся, — ответил Лаврентьев. — Составили план, договорились с черепичным заводом о трубах. Осенью предполагаем начать закладку сети первой оче-

реди. Но я должен сказать, что мелиоративная система, которая была заложена в Воскресенском до войны, как известно, не выдержала и двух лет, ее занесло илом, плывуном, трясиной, товарищи.

— А как же хозяйничал Шредер? — не унимался главный агроном.

— Шредер! Вот вы о чем! — с усмешкой взглянул на него Лаврентьев. — Вопрос мудрый. Отвечу.

Он рассказал, как сам однажды задал такой вопрос Карпу Гурьевичу и как ему было стыдно, когда старый столяр рассказал о канавах, испещрявших поля через каждые пять саженей, о недальновидности помещика, об узости его интересов, о нежелании думать о завтрашнем дне.

— Возмутительно! — Серошевский вскочил.— Агроном Лаврентьев над нами потешается. Мы говорим о деле, о его безобразнейшем проступке, а он басни нам рассказывает.

— Что вы предлагаете? — спросил Лаврентьева Громов.

— Сейчас? Сейчас — я уже сказал — закладывать новую, более прочную систему труб. В дальнейшем возможно, что придется настаивать перед районом на капитальных работах. Возможно, что понадобится система крупных каналов, коренное переустройство всего Междуречья.

— Позвольте, Сергей Сергеевич? — попросил слова главный агроном.

— Говорите.

— Перед нами типичный случай демагогии. Когда надо давать ответ, — Серошевский еще сильнее задергал губой, — человек кричит: держите вора. Вы, товарищ Лаврентьев, не выполняете наших элементарных требований, игнорируете все наши инструкции, а поднимаете шум: система каналов, коренное переустройство! Безобразие! Неужели вы думаете, что по вашему слову все моментально завертится? Делайте то, что вам приказывают, исполняйте, а не прожектерствуйте. Коренное переустройство — это дело партии и правительства. Они знают и видят, где надо переустраивать, где не надо. Они лучше нас с вами это знают. Когда партия

и правительство скажут: переустроить Междуречье, — вот тогда мы наляжем, тогда не пожалеем сил. Тогда, только тогда! Советское хозяйство — плановое хозяйство. Оно не терпит партизанщины. Вы — всезнайка, и вы, конечно, слыхали о так называемой Полесской проблеме.

Лаврентьев насторожился. Все это разбирательство ему казалось ненужным, надуманным, высосанным из пальца. Оно его даже не возмущало. Если тут главный винт — Серошевский, иного и ждать было нельзя. Но упоминание о Полесской проблеме его заинтересовало.

— Что такое Полесская проблема? — продолжал витийствовать главный агроном. — Полесье — огромная территория между Днепром и Бугом, в треугольнике Могилев — Киев — Брест. Она покрыта миллионами гектаров болот и заболоченных земель, изрезана множеством рек.

— Как наше Междуречье, — оживился Громов.

— Сходно. Только масштабы не те. — Серошевский вполоборота склонился в сторону Громова. — Миллионы гектаров земли пустовали, Белоруссия — львиная доля Полесской низменности приходится именно на эту республику — бедствовала из-за болот. Над Полесской проблемой задумывались лучшие научные силы старой России, начиная от В. В. Докучаева. — Серошевский так и сказал: «В. В. Докучаева». — Но решить ее, эту проблему, смогли только Советское правительство и большевистская партия, а не партизаны-одиночки вроде товарища Лаврентьева. Шестого марта тысяча девятьсот сорок первого года Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) вынесли постановление: «Об осушении болот в Белорусской ССР и использовании осушенных земель колхозами для расширения посевных площадей и сенокосов». Так оно называлось. Это была программа величайшей в истории мелиоративной стройки.

Лаврентьеву было отвратительно слышать, что о таких грандиозных делах говорит именно Серошевский, холодный, безразличный к ним человек. Но он слушал. Он понял, почему ничего не знал о Полесской проблеме. Март сорок первого года был горячим месяцем сдачи зачетов. А затем вскоре началась война.

— Война помешала выполнению этой программы, — продолжал Серошевский. — Работы развернулись во всю ширь только после разгрома гитлеровских полчищ. Да, теперь из года в год болота отступают перед натиском советских людей. Да, человек побеждает природу не только в сыпучих песках Заволжья, но и в топях Белоруссии. Вот что такое решение партии и правительства, товарищ Лаврентьев! Вы демагог, вы, прикрываясь прожектом, хотите увильнуть от ответственности. Вы не указывать обязаны, а исполнять, исполнять и исполнять. Вы только на своей батарее были командиром. Здесь вы солдат перед партией и правительством. Не взлетайте высоко — падать больно. Я, Сергей Сергеевич и товарищи члены исполнительного комитета, считаю, что дискутировать дальше нечего, и предлагаю вынести агроному Лаврентьеву строгий выговор за ущерб, причиненный колхозу и государству, а может быть, и передать дело прокурору. Не предрешаю. — Он сел, вытер влажный лоб платком, смотрел прямо перед собой, в угол зала под потолком. Он сделал свое дело.

— Как, товарищи, решим? Какое еще есть предложение? — спросил несколько растерянный Громов. На председательском посту он был менее года. Возглавлял прежде леспромхоз, пятнадцать лет возглавлял, превосходно знал лесное дело, но с вопросами агротехники сталкивался впервые и никак не мог решить, кто тут прав — Серошевский ли, главный агроном района, или агроном из Воскресенского. И тот убедительно говорит, и другой дельно — что ты скажешь!

Человек, у которого Лаврентьев спрашивал в начале заседания о Карабанове, поднял руку.

— Прошу, товарищ Лазарев! — кивнул головой Громов.

— Я несогласен, — сказал Лазарев, слегка окая, — никак не согласен. Выходит что? Что урожай-то выше на тех участках, где ямы были. Какой же вред! Спасибо воскресенскому агроному сказать надо — смикитил, не дал добру пропасть. А мы — бух выговор. Как же так! Я сидел и думал: чтой-то мы в своем колхозе оплошали? Толковое дело эти ямы. А может, не будь их, и не сто

двадцать пудов, только шестьдесят да сорок вид на урожай показал? Мое предложение — никаких выговоров.

Снова поднялся Серошевский, снова что-то множил и делил. И снова цифры говорили о том, какой ущерб урожаю принесли ямы Лаврентьева.

Вышла заминка. За столом президиума совещались. В зале шумели. Громов в конце концов сказал, что у него есть третье предложение — не строгий, а просто выговор. Проголосовали. Большинством в два голоса прошло предложение Громова — выговор. Серошевский скорбно и демонстративно покачал головой: что, мол, делаем, потворствуем самовольству и партизанщине. К чему это приведет?

Лаврентьев вышел во двор к заскучавшей Звездочке. Она тихо заржала, увидев его, заплясала возле коновязи. Вышел и Лазарев, тоже к своей лошади.

— Вы, товарищ Лаврентьев, на колхозном бюджете или на районном? — спросил он дружелюбно.

— На районном.

— То-то и оно.

Лаврентьев вскочил в седло, уселся на лошадь и Лазарев. Поехали рядом, стремя в стремя.

— Как же воскресенцы опростоволосились? — продолжал Лазарев. — Я Антона-то Суркова хорошо знаю, вроде бы смекалистый мужик, а сплоховал. Надо вас на колхозный бюджет взять, чтоб от этого Серошевского и зависимости никакой. Он змея болотная. Он этак выговоры каждому райзовскому специалисту по два в год втыкает.

— А что же районное начальство смотрит?

— Он ему, начальству, пыль в глаза пускать наловчился. Такой мудрый разговор разведет — только держись. А главное — все у него партия и правительство. Пройдошливый. Никак под него не подкопаешься. Он за партию, за правительство что за печку прячется. А я скажу, окажись тут сегодня на исполкоме сам товарищ Сталин, он бы определил: прав ты, мол, агроном Лаврентьев. А Громову бы не поздоровилось. Хотя как сказать про Громова. Он в лесном деле голова. В лесном деле его не проведешь. В сельском хозяйстве послабже.

На окраине попутчики распрощались.

— Шел бы к нам, товарищ Лаврентьев. У нас колхоз куда как богаче Воскресенского, — сказал Лазарев.

— Нет уж, как-нибудь и в Воскресенском проживу.

— Это правильно. Летать с места на место негоже. — Лазарев пришпорил лошадь и зарысил в сторону по пыльному проселку.

Лаврентьев ехал медленно, удерживал Звездочку, тоже порывавшуюся перейти на рысь. Ему надо было многое продумать. Выговор есть, но есть и кое-какие тропинки к разрешению воскресенской проблемы. Звездочка сердилась на медлительность, косила глазом на своего седока. Умный был глаз, понимающий. Звездочка как бы хотела сказать: «Брось ты, Петр Дементьевич, расстраиваться. Недаром сказано: все мы немножечко лошади. Всем нам хочется, чтобы ласковая рука хоть изредка да потрепала по холке. Верно же?»

2

Подъезжая к селу, Лаврентьев увидел голого по пояс человека. Человек сидел на корточках под осиной в стороне от дороги и увязывал полосатый узелок. Кто бы это мог быть — из воскресенских или из совхозных? Натянул поводья, заставил Звездочку перепрыгнуть через канаву.

— Петр Дементьевич! — закричал ему навстречу ломкий голос подростка. — Ворочайте назад! Они злые, коня застрекают.

Лаврентьев, озадаченный, соскочил наземь, подошел. Голос был знакомый, а самого человека никак не узнаешь. По-мальчишески костлявый, со слипшимися от пота волосами, с каким-то страшным, перекошенным лицом, на котором в одну необъятную лоснящуюся опухоль слились щеки, нос, губы и в распухших веках исчезли глаза, он поднялся с земли, сделал попытку улыбнуться, отчего стал еще страшней.

— Костя, да это ты! Что случилось?

— Сплоховал, Петр Дементьевич. Не уследил, они взнялись и прямым ходом в лес. Ни брызгалки не захватил, ни сетки, припустился за ними что было духу... Главную-то силу снял с ольхи, — указал он рукой на

лежавшую под деревом полосатую рубашку с перевязанными рукавами, воротом и подолом, в которой шло свирепое шевеление, сопровождаемое басовитым гулом. — А другие сорвались, да вот и разукрасили. Во вьются вокруг, во вьются!.. — Костя отмахивался от пчел. — Царицу отбить, что ли, хотят? — На поясе у него висела маленькая, в кубический вершок, клеточка из тонкой металлической сетки и в ней топырила слюдяные крылья неповоротливая, желтоглазая пчелиная мать. — Рубашка все развязывается... Не донести, — добавил Костя.

— На-ка и мою. — Лаврентьев стал сбрасывать сорочку. Тотчас он почувствовал щемящий укол в шею, под лопатку, в плечо. — Ну, дружище, тебе, я вижу, покрепче моего сегодня досталось, — засмеялся он, поскорее застегивая пиджак.

Костя не спросил, где и за что досталось агроному. Он был занят своей работой. Нет большего позора для пчеловода, чем упустить рой. Костя его не упустил, дяде Мите не удастся позлорадствовать. Костя целый час гонялся за роем по кустам в лесу. Матка оказалась не в меру капризная. Вот, кажется, облюбовала сучок, устроилась на нем, плотной массой липнут вокруг нее пчелы!.. Нет, бац, поднялась — что ей не сиделось! — дальше тянет. И так раза три-четыре: сядет, взлетит, сядет, взлетит. Костя и надежду потерял когда-либо догнать ее. Но в ольховой тени и чаще рой запутался и вынужден был обосноваться прочно. Длинной тяжелой грушей повис он на тонкой, согнувшейся под его тяжестью ветке. Костя в секунду превратил свою рубашку в мешок, подвел подолом —один конец в зубах, другой левой рукой оттянул — под скопище пчел и стал сгребать их горстью, как горох. Его беда — он в спешке оступился и нечаянно ударил ребром ладони по ветке. Часть пчел рассыпалась и разлетелась. Костя перепугался, не улетела ли и матка. Но матка была уже в мешке, он достал ее и посадил в клетку. Теперь разлетевшиеся пчелы преследовали белобрового парнишку, мешали ему нести дорогую ношу. Да и рубашка — то в вороте развяжется, то в подоле.

Помощь Лаврентьева оказалась очень кстати. Костя

обернул свой мешок его сорочкой, перетянул поясом и, неся пчел в отставленной далеко руке, побежал к Воскресенскому. Лаврентьев зарысил сзади. Звездочка разыгралась, все время ей хотелось держать свою морду над Костиным ухом, ее приходилось осаживать.

Первый, кого Лаврентьев встретил в селе, был Антон Иванович, который сразу спросил:

— Ну как, зачем вызывали?

Лаврентьев вкратце рассказал ему суть дела.

— Что?! — на всю улицу заорал Антон Иванович. — Выговор? Да они в уме ли? Петр Дементьевич, — к Дарье!..

Дарья Васильевна была на скотном дворе, пробовала, как действуют автопоилки. Восторгалась. Переходила от одной к другой, к третьей, нажимала клапан, следила за плавным подъемом воды, жалела, что коровы на пастбище. Увидав в воротах председателя с агрономом, она поманила их:

— Мужики, мужики, красота, глядите, какая!

Но на лице Антона Ивановича была изображена такая ярость, что Дарья Васильевна и об автопоилках позабыла, утерла руки передником, поправила на голове платок.

— Дарья, — закипятился Антон Иванович, — ты партийный руководитель, я хозяйственный. Сейчас в район полетим, — возьмем машину. Агронома нашего бьют. Понимаешь?

— Как так бьют?

— Выговор ввалили.

— Товарищи, товарищи! — встал между ними Лаврентьев, дружески взяв обоих за локти. — Прошу, очень прошу никуда не ездить, шума не затевать. С выговором я сам несогласен, категорически несогласен. Но время сейчас для дрязг совсем неподходящее. Поверьте мне, мы свое возьмем. Непременно возьмем. Даю вам слово.

— Да как же так! Никого не спросили... тишком! — Антон Иванович взмахивал рукой, при каждом взмахе задевая Дарью Васильевну. Та стояла, ничего не понимая.

— Объясните хоть толком, — попросила она.

Лаврентьев принялся подробно рассказывать о заседании исполкома, о Серошевском, Громове, о краеведческом музее и своих предположениях насчет причин заболачиваемости воскресенских полей. Все втроем они вышли из коровника во двор, присели на скамейку, сделанную Карпом Гурьевичем для доярок.

— Как видите, — закончил свой рассказ Лаврентьев, — у нас уймища дел, куда важнее, чем тяжба с Серошевским. За что только браться, не сообразишь сразу. Ужасно досадно: людей у нас знающих мало, права Дарья Васильевна. Будь в колхозе хоть маленькие специалисты, сами бы геологическую разведку произвели, — примитивную, понятно, домашнюю, но тем не менее очень полезную для обоснования наших запросов перед районными организациями.

— Всегда говорю: интеллигенции не хватает. Учить народ надо, — ухватилась за свою любимую мысль Дарья Васильевна, — в институты, в техникумы девчат с парнями посылать, не держать их тут возле плугов да граблей. Пусть учатся. Мы как-нибудь пяток лет, старики, без них перетерпим. Зато вернутся — силища какая у нас будет. Антоша, ты чего ухмыляешься?

— Я не ухмыляюсь. Я картинку такую представил: как выйдут утречком на наряд двадцать инженеров да полсотни техников. . .

— А ты картинку свою в «Крокодил» пошли, авось над дурнем-председателем посмеются в Москве. Двадцать инженеров! Полсотни техников! Что ты думаешь, инженеру дела у нас не нашлось бы? Пашка с Карпом запарились на электрических машинах. . . Асютка, Асютка! — Дарья Васильевна заметила зеленый Асин платочек за изгородью. — Поди сюда, доченька.

Ася подошла.

— Ах, Петр Дементьевич, пшеница какая, с ума сойти! В прятки играть можно, только бы сохранить. . .

— Вот видишь — пшеница, — Дарья Васильевна обняла Асю и посадила ее рядом с собой. — А за пшеницу твою Петру Дементьевичу выговор дали.

— Выговор? Кто?

Пришлось Лаврентьеву снова рассказывать историю с выговором.

— Антон Иванович, — резко и строго, затягивая поясок на платье, сказала Ася, — от имени комсомольской организации прошу дать нам машину, мы сейчас же все едем в район, в райисполком, к прокурору...

— Не злись, Асютка, не злись. — Дарья Васильевна погладила девушку по спине. — Мы тебе, трое коммунистов, не велим никуда ехать.

— Поеду!

— Не поедешь, не шуми. Выговор этот — пустое дело, — из-за ям.

— Тем более! Их правильно рыли.

— Кто говорит — неправильно! Правильно, понятно. Потому и выговор прошел с превышением только в два голоса, и подстроил его Серошевский.

— Дрянь какая! Он в этом году у нас ни разу и не был. Приехал прошлым летом, девчатам глазки строил, мурлыкал, — мы его тогда котиком прозвали.

— Давай, Асютка, так уговоримся: зашибить вашего котика урожаем, а? — Дарья Васильевна держала Асю за руку, смотрела ей в лицо.

— Но и выговор нельзя без последствий оставить. Это же безобразие!

— Не оставим. Ты нас знаешь, и Петра Дементьевича знаешь. Не такие мы люди, чтобы в исусы-христосики играть.

В селе в этот вечер многие всполошились. Взыскание, наложенное на агронома райисполкомом, казалось колхозникам до крайности несправедливым. С наступлением сумерек к дому Лаврентьева для выражения сочувствия и возмущения потянулись делегации. Первыми пришли Карп Гурьевич с Павлом Дрёмовым.

— Я раз схлопотал выговор перед строем, Петр Дементьевич, — рассказывал Павел. — Как получилось? Переезжали в новый район дислокации, я уши развесил, да и позабыл на старом месте ящик с инструментом. Ясное дело — выговор. Правильный выговор? Правильный. Еще и мало. А вам за что влепили, не пойму.

— Я знаю, за что, — сказал, поглаживая лысину, Карп Гурьевич. — Я Серошевского пятнадцать лет наблюдаю, еще с тех пор, как он тут в совхозе работал: боится он вас, Петр Дементьевич. Руки вашей боится.

Он же не дурак, видит что к чему. Возьмете, думает, его в горсть, жеманéте — и кровь закаплет. А крови у него. . . не через край, душевножидкий, в общем. За местишко за свое, за авторитетец зубами держится, и так и эдак виляет. А тут вдруг против него разговор пошел. Как стерпеть? Стукнуть надо. Вот и стукнул.

Посреди этого разговора нахлынули девчата.

— Петр Дементьевич, полно вам со стариками сидеть, гулять пойдемте, на лодках кататься.

— И я вам, выходит, старик! — обиделся Павел. — Осатанели, что ли. Покажу такого старика — со страху попадаете.

— Мы, Павлуша, и так все перепуганные вашими гордыми манерами. — Люсенька Баскова повела плечом. — Вы преисполнились величия, как возвратились с войны, к вам подходить опасно: мины и колючки. А было вовсе иначе, когда вы учились в школе, когда ваша бабушка Устя стегала вас крапивой за двойки.

Девчата разразились неудержимым смехом и, как толпой вошли, так толпой, застревая в дверях, вывалились из комнаты. Павел был обозлен, сидел в кресле, качал нервно ногой.

— Вот, Павлик, — сказал Карп Гурьевич, — не дери нос. На язык к девкам попался, они тебя искотлетят. Самая ядовитая самокритика — это девки.

— И не самая! — Над подоконником вдруг появилась чья-то лихая белокурая голова. — Есть ядовитей — жёны!

В саду снова смех и визг, торопливый топот меж яблонь, свист юбок.

— До чего вас девки любят, Петр Дементьевич, — мрачно вздохнул Павел. — Ихнее бы отношение к вам — да мне. . . На сто выговоров бы с вами поменялся.

— А мы тебя тоже, дурака, любим! . . — снова взвизгнули под окном.

Павел соскочил с кресла, хотел было выпрыгнуть в окно, но воздержался, решительно вышел в дверь. Через минуту его голос был слышен в темном саду: «Ну, погодите, поймаю, плохо будет».

Он не вернулся. Сидели вдвоем с Карпом Гурьеви-

чем, говорили о жизни, о настоящем, о будущем. Пришла Елизавета Степановна, тоже рассказала, как ей прошлой весной выговор за телят сделали. Каждый считал необходимым говорить о своих взысканиях для того, видимо, чтобы утешить Лаврентьева самой в таких случаях распространенной формулой: все-де мы грешные, всем так или иначе достается, только нам досталось за дело, а тебе напрасно, твое положение лучше нашего, чем и надлежит тебе утешаться.

Многие приходили в этот вечер. Лаврентьев не давал угасать самовару, угощал всех чаем; он уже привык к тому, что его квартира стала куда более популярной, чем памятный ему с детства, окруженный садом домик землемера Смурова. К нему, Лаврентьеву, мог зайти кто угодно, он не удивился бы бабушке Усте, которая и в самом деле была у него недавно, добрый час учила его, как бесследно излечить оставшуюся еще слабость в пораженной руке. Для этого, оказывается, надо было взять не больше, не меньше целый муравейник — с муравьями, всей трухой из сосновых иголок и веток, — запарить его кипятком в дубовой кадушке, опустить туда руку, прикрыв по плечо ватным одеялом, и держать, пока запарка не остынет: час — так час, больше — так больше, хоть полдня. Зато весь недуг как корова языком слизнет. Лаврентьев обещал последовать совету, бабушка Устя ушла довольная.

Даже и Савельича мог ожидать у себя в этот вечер Лаврентьев. Лишь один человек из всего колхоза никак не представлялся ему его гостем. А именно этого человека больше всех хотелось бы тут видеть — Клавдию. Нет, Клавдия не придет выражать сочувствие. Ей, конечно, нечего и выражать. Возможно, она рада этому выговору: вот, мол, достукался, докомандовал, — не форси, что все знаешь, все умеешь. Лаврентьев думал: странная вы, Клавдия. Отчего и форс идет? От внутренней борьбы с теми силами, которые влекут к вам. Разве это не видно? А если вы этого не видите, ну что же, живите, Клавдия, как знаете, по-своему, он, Лаврентьев, будет жить по-своему.

— Карп Гурьевич, — спросил он притихшего столяра. — Вы когда-нибудь любили?

— Как же! Высоко воспаряет от чувств этих человек. — Карп Гурьевич тяжело вздохнул. Парение его было недолгим. Взлетел — и разбился. Разбился на всю жизнь, всю жизнь терзал себя памятью о красавице Стеше, потерял которую по своей, только по своей вине.

Удивительно! Карабанов говорил: любовь окрыляет человека. Об этом же говорит и Карп Гурьевич, об этом все говорят, пишут книги, да и по себе знал Лаврентьев, как радостно было жить, когда была Наташа, милая Наташа... Но почему же от чувств его к Клавдии только горечь и тяжесть на сердце?

Карп Гурьевич ушел последним, квартира опустела, рассеялся табачный дым, уплыл через окно в сад; Лаврентьев сидел на подоконнике, когда постучала Ирина Аркадьевна.

— Неужели и вам давали когда-нибудь выговор? — Он шутил; улыбаясь, подвинул ей стул. — Садитесь, Ирина Аркадьевна. Выпейте чайку. Третий самовар за вечер...

— Спасибо, не хочется. Мы тоже чаевничали. Вы, наверно, еще не знаете: муж Кати приехал.

— Муж Кати?!

— Да, да, — муж. Удивлены? И я удивлена, поражена просто. Ни слова, ни звука в письмах, и вдруг входит человек в желтых очках, подает конверт, читаю: «Будьте знакомы. Мой муж». Я и рада, и грустно. — Ирина Аркадьевна смахнула мизинцем слезинку под глазом. — Уходит, уходит, Петр Дементьевич, жизнь. Ничто так остро не дает это почувствовать, как вылет птенцов из гнезда.

3

Никита Андреевич Карабанов изменил своему правилу: чаще, чем обычно, его тянуло этим летом в Воскресенское. В Воскресенском отлично росла, наливалась и зрела драгоценная, до сих пор неудачливая в районе зерновая культура — пшеница. Ее сеяли уже третий год, дважды она давала урожай, которым никак не похвалишься и не удовольствуешься. И вот Анохин со своими помощницами, кажется — не сглазить бы, —

добился желаемого результата. Карабанов чуть ли не по три раза в неделю приезжал хотя бы на часик ранним утром, ходил с полеводами на пшеничный участок, бережно срывал один-два колоска, лущил зерна, отсеивал полову, пересыпая с ладони на ладонь.

— Анохин, девушки, берегите, — говорил он. — Прошу вас, берегите.

Впервые на пшеничную ниву Карабанов примчался сразу же после своего возвращения с пленума областного комитета партии. Причина для этого была такая. Лаврентьеву думалось, что он убедил своих друзей ничего не предпринимать против решения райисполкома насчет выговора за весенние ямы. Как известно, Дарья Васильевна и Антон Иванович согласились с его доводами о том-де, что не время заниматься личными дрязгами; кто прав, кто неправ — покажет дело, и даже сами отговаривали Асю от партизанского похода в район. Но в тот же вечер председатель, секретарь партогранизации и комсомолки написали заявления с протестом против выговора агроному. Заявление Дарьи Васильевны, как депутата райсовета, и Антона Ивановича, как председателя колхоза, пошло в исполком, Громову; заявление Асиных девушек — лично Карабанову. Письма эти наделали немало шуму.

— Голос масс, черт возьми, — расстроился Громов. — Не слишком ли мы доверились авторитету главного агронома? Может быть, пересмотреть решение, Никита Андреевич?

— Думаю, что да, — ответил Карабанов. — Основание для этого полное. Два заявления, с цифрами, с доказательствами... Серошевский перегнул, вы его не одернули. Лаврентьев — работник творческий. Даже если бы с ямами и была ошибка — а ошибки-то, вообще говоря, нет никакой, — но даже если бы Лаврентьев и ошибся, нельзя не сделать скидку на экспериментирование. Миллионы, большие миллионы государство отпускает на эксперименты, на производственный и научно-исследовательский риск. В творческой работе риск предусмотрен. В пятилетнем плане мы не видим такой графы, но где-то она, не сомневаюсь, между строк спрятана. Не рисковать нельзя, и во многих случаях — про-

сто преступно. Вы подумайте тут, а я махну в колхоз, сам посмотрю, что и как.

— Поедем вместе, — сказал Громов.

Они приехали в Воскресенское, осмотрели поля. Пшеница стояла густая, рослая. Проплешины от ям, действительно, вызывали досаду — сколько из-за них зерна пропало. Но они же были убедительными следами отчаянной борьбы с водой, доказательством того, что воскресенцы не созерцали пассивно буйство стихий, а противопоставили стихии свою волю.

— Ты был прав, Петр Дементьевич, — пожал Карабанов руку Лаврентьеву. — Считай, что выговора за тобой никакого нет. Исполком, конечно, исправит свою ошибку. Продолжай действовать так же, с полной ответственностью, как действовал на батарее. Разница только в том, что на батарее ты был командиром, в колхозе же командир — общее собрание, но агроном — начальник штаба, его боевой мозг. Мозгуй, дорогой товарищ Лаврентьев, мозгуй!

Пользуясь случаем, что в колхозе одновременно оказались и секретарь райкома и председатель райисполкома, Антон Иванович пригласил их к себе, рассказал о плане переноса села из затопляемой низины, о миллионном доходе, за который бьются воскресенцы, о всяческих общих замыслах и думах.

— Это здорово! — Глаза у Карабанова загорелись. — Интересный план! Слышишь, Сергей Сергеевич? — Он возбужденно обернулся к Громову. — Что они задумали! Здорово! — И затем снова к Антону Ивановичу: — Выдюжите ли миллион?

— Не выдюжат миллиона, все равно отступать от задуманного нельзя, — горячо заговорил и Громов. Его тоже поразил замысел воскресенцев. — Будем помогать, Никита Андреевич. Такое дело!

— Помочь никогда не поздно, пусть на себя рассчитывают, на свои силенки, — засмеялся Карабанов. — Им, я знаю этих хитрецов, именно своими силенками лестно справиться. Не так ли, Антон Иванович?

— Вроде бы и так. Но и от помощи отказываться резону нет.

Карабанов задумался. Веселая улыбка сошла с его

лица. Он грыз длинную травинку и по очереди посматривал на руководителей воскресенского колхоза.

— Вот что, товарищи, — заговорил после долгого молчания. — Планами своими вы меня здорово поразили, скрывать не стану. Но поразмыслив, я хочу вас предупредить об одном: не увлекайтесь. Может быть, многим из вас кажется, что, построив образцовый поселок, вы сразу через десять ступеней шагнете к коммунизму. Это не совсем так. Далеко не так. Не через быт мы придем к коммунизму, нет, товарищи. Вспомните, чему нас учат Ленин и Сталин. Они учат тому, что наше поступательное движение вперед в конечном счете решается производительностью труда, что для коммунистического общества характерно изобилие материальных благ — товаров, продуктов. Очень хорошо, что вы боретесь за высокий доход. Продолжайте эту борьбу. Добивайтесь отличных урожаев на своих полях, отличных удоев на животноводческих фермах, отличного сбора меда на пасеке. Механизируйте полевые работы. Вот наша дорога к коммунизму. А быт? Он никуда от нас не денется, если мы успешно решим главную задачу.

— Так что же, селу в болоте попрежнему гнить? — спросил Антон Иванович запальчиво.

— Село? Зачем гнить? — ответил Карабанов. — Потихоньку дома перетаскивайте. Но только так, чтобы не мешать полевым работам. Выделите бригаду плотников — и действуйте. Кто же против! Я только говорю, не надо увлекаться. Сила колхоза не в новых домах, а в крепком хозяйстве. От крепкого хозяйства пойдет все. Разве не так?

— Правильно, Никита Андреевич! — сказала Дарья Васильевна. — Тоже хожу — чувствую, что-то мы лишку расшумелись вокруг Антонова плана. А и сама не соображу, откуда мои сомнения. Правильно, Антоша, — обернулась она к Антону Ивановичу. — Главное — хозяйство поднять да развернуть во всю силу. А тогда, может, мы и дворцов настроим. Все в наших руках.

Антон Иванович зло махнул рукой и ушел, раздосадованный.

Лаврентьев в разговоре не участвовал. Он слушал

Карабанова, Дарью Васильевну, возражения Антона Ивановича и размышлял о том, что Карабанов безусловно прав, что для Воскресенского куда важнее решить прежде проблему борьбы с заболачиваемостью почв, чем строить новый поселок, и удивительно, как он, Лаврентьев, сам об этом не подумал, когда обсуждали план председателя. Увлекся, значит, увлекся тоже, как и Антон Иванович.

Карабанов отозвал его в сторонку и сказал:

— А как насчет заболачиваемости, Петр Дементьевич? Что придумал за это время?

— Мне кажется, Никита Андреевич, вся загадка воскресенских полей скрыта в разности уровней Кудесны и Лопати, — ответил Лаврентьев. — И не гончарными трубами надо решать эту загадку.

— Я того же мнения. В связи с чем хочу вызвать специалистов из области, пусть обследуют обе реки.

— Очень хорошо.

С той поры Карабанов приезжал в Воскресенское часто.

Молодые полеводки дрожали над каждым зерном. Директор МТС с трудом уговорил их убирать пшеницу машиной. Втайне от Анохина они упорно и долго отказывались от услуг машинно-тракторной станции. «Серпами будем жать, только серпами». Сложив руки на животе, стоял перед ними усатый директор: «Милые мои доченьки, да как вы одолеете серпами! Двадцать же гектаров». — «Спать не будем, есть не будем! . .» — «Ну и умрете. Пшеница будет, а красоток наших, увы, нет. Да вы мне, ласточки, дороже всего, во всесоюзном масштабе, пшеничного урожая. Не отдам вас на погибель, и не ждите». Он прислал в Воскресенское новейшего выпуска широкозахватную тракторную жнейку, механик продемонстрировал ее девчатам, яркую — в синих, красных и желтых красках, показал зерноуловитель, регулятор высоты резания. Девчата повздыхали и согласились на жнейку, потребовали только, чтобы тракториста директор прислал Лешу Брускова, он самый аккуратный, не будет без толку колесить по полю.

Настал первый день уборки. Девчата поднялись с полночи, принарядились, нервничали. Их волнение пе-

редалось домашним, затем и руководителям колхоза. Волновался, скрывая, конечно, это, и Лаврентьев. Одно дело — предварительное определение урожая на корню, другое дело — количество суслонов на гектаре. В поле, кроме девчат, вышла добрая половина колхозников. Девчата от такого парада разнервничались еще больше. Леша Брусков завел с вечера пригнанный на участок трактор, механик еще раз проверил жнейку, трактор загудел, пуская лиловый дымок, тронулся, жнейка взмахнула желтыми крыльями, застрекотала и вошла в пшеницу. Пшеница покорно ложилась под ее светлыми, как струи ключевой воды, ножами. Девчата шли за трактором толпой, с граблями, заранее приготовленными свяслами, — всем дела почему-то не хватало, они злились друг на друга, Ася хмуро посматривала на зрителей.

Первая поняла состояние девчат Дарья Васильевна.

— Вот что, народ! Пойдемте-ка по своим делам. Без нас тут управятся. Антон, командуй!

Народ стал расходиться, последним ушел Савельич, и то потому, что от села кто-то зверским голосом звал паромщика.

Девушки остались одни, и тогда все сразу же наладилось. Давно была продумана и обсуждена организация труда на жатве, — помешали вот зеваки. Одни с косами и серпами обкашивали участки, другие вязали тугие снопы, третьи подгребали колосья или сжинали пропущенные машиной узкие гривки стеблей, четвертые таскали снопы и складывали в бабки.

Обедать в этот день не пошли. Матери, младшие сестренки, братишки тащили узелки с чугунками и мисками в поле. Ася не пустила и тракториста с механиком в село: «Загуляете». Кормили их тут же, своими харчами, отдохнуть толком не дали, через полчаса снова погнали к трактору и к жнейке. Механик по сельхозмашинам терпел такую муку безропотно, директор дал ему особый наказ: чтобы на пшеничных участках в Воскресенском — ни-ни, ни одной заминки. Леша Брусков пробовал протестовать.

— Загоняете этак, девки, свалюсь наземь да засну. Или подшипники расплавлю.

— Лешенька, не вались, — уговаривали его, — и главное, не топчи ты так пшеницу.

— Вот чудные так чудные! Не по воздуху же мне летать с машиной.

Перед закатом солнца пришел Анохин и циркульной двухметровкой обмерил сжатый участок. Пока он переставлял по полю свой деревянный циркуль, Ася и Люсенька следовали за ним неотступно, и каждая про себя подсчитывала количество метров. Потом Анохин вынул записную книжку и карандаш, принялся множить. Девчата тоже вынули книжки и карандаши.

— Восемь и шесть десятых га, — сказала Ася.

— Как восемь! Девять, — возразила Люсенька.

— Эх, сбили! — рассердился Анохин, встал, отошел шагов на пятнадцать, сел на краю канавы, слюнил сердито карандаш.

Вышло в конце концов у всех троих — восемь и шесть десятых гектара.

Прискакал на Звездочке Лаврентьев, объехал поле, — бабки на жнивье стояли густо, гуще даже, чем он предполагал. Картина радовала. Позвонил из сельсовета Карабанову, рассказал, как идут дела.

— Радуюсь вместе с вами, — ответил Карабанов. — Привет девчатам. Невест сколько! Да какие невесты! Был бы я на твоем месте, Петр Дементьевич, — не растерялся б.

— А я растерялся, Никита Андреевич, — в тон Карабанову пошутил Лаврентьев, — все больно хороши. Не выбрать.

— Обожди, дай время — сами выберут. Боевые девчата. У меня и свадебный подарочек уже приготовлен. Какой — не догадаешься. На твое имя, но почему-то в райком из сельхозакадемии прислали копию докторской диссертации. Диссертация о решении Полесской проблемы. Это раз. А второе — отчет почвенной экспедиции. Доволен? Я тоже. Целое богатство. Весь день сижу над этими документами. Чертовски интересно и для нас с тобой полезно. Завтра пришлю с шофером. Будь здоров.

Ночью Лаврентьев снова объезжал поля. Командирская привычка — делать внезапные поверки личному

составу батареи. Все было в порядке. Леша Брусков пренебрег предложенной ему постелью в пустой половине дома Антона Ивановича и сладко спал под трактором. Что-то вроде масла или керосина мерно капало ему на колено. Лаврентьев отодвинул Лешину ногу, измученный тракторист не шевельнулся. На разостланных куртках за одним из суслонов сидели две девушки-часовые и тихо беседовали. Лаврентьев подсел к ним. Они, оказалось, вели разговор совсем не о пшенице и урожае, а о звездах. Звезды, мелкие и крупные, яркие и еле теплившиеся, усыпали все черное летнее небо от края до края. Млечный Путь изогнулся туманным седым коромыслом.

— Неужто и там где-то есть люди?— говорила одна из девушек. — И тоже сеют, жнут? Чудно́ до чего! А мне всегда думается, мы одни на всем свете на своей Земле.

Лаврентьев заговорил о планетах, о созвездиях, показывал их соломинкой, объяснял, как по звездам можно найти дорогу, если нет компаса. Договорились до того, что небо стало светлеть, а звезды блекнуть, на востоке встала заря, и когда вновь в поле явились озабоченные Ася с Люсенькой, перед ними предстала такая пастораль: агроном спал на курточке Нины Лебедевой, сама Нина свернулась возле калачиком, а Маруся Шилова даже положила ему на плечо свою стриженую голову. Над ними висела сонная морда Звездочки с зажатым в губах пучком колосьев.

— Тише, — сказала Ася шепотом. — Пускай поспят.

Но Леша завел трактор, и при первом треске мотора Лаврентьев вскочил как по тревоге, переполошив своих ночных собеседниц.

— Вот так часовые! — засмеялся он. — Звезды над нами подшутили. Отсюда мораль, девушки: на звезды заглядывайся, но помни, что живешь на Земле. Что ж, продолжим, значит?

Жатва продолжалась, к ночи убрали еще десять гектаров. На третий день остался сущий пустяк, даже трактор хотели перегнать на ячменное поле. Но механик с полного согласия Анохина заявил, что семенной уча-

сток надо добить машинами и он никуда не уйдет, пока не будет сжат последний колос.

Последний колос сжали, послали на жнивье ребятишек — может быть, зоркими своими глазами они еще разыщут колоски. Теперь предстоял решительный и самый волнующий этап в работе полеводов — молотьба.

Ток в Воскресенском был крытый, молотилку туда уже привезли, погода стояла на редкость сухая и жаркая, пшеницу можно было не держать в снопах, а сразу пускать в машину.

Молотьба — дело веселое, шумное, многолюдное. Шуршат приводные ремни, стучит барабан, грохочут решета, люди — одни развязывают снопы, другие подают их машинисту, третьи отгребают зерно в вороха. Зерно течет потоком, звонкое, золотое, пыль столбом, взлетает солома, кто-то кому-то что-то кричит; без суеты, но все в движении, в движении, в движении, рубашки липнут к спинам, некогда утереть лоб. Подъезжают возы, ржут лошади, захваченные общим возбуждением; отставив хвостишки, скачут через солому жеребята, воробьи лезут прямо под ноги людям, воруют зерно.

К барабану встал сам Анохин, — до войны он считался лучшим машинистом, решил тряхнуть стариной для такого исключительного случая. Молотилка стучала, стучала, стучала, перерывы делали только на обед да на короткий сон. Ася с Люсенькой даже похудели, осунулись от переживаний. Они каждую мелочь принимали к сердцу, злились и на воробьев и на возчиков, которые отвозили зерно к весам, — не следят, мол, за лошадьми, лошади жрут пшеницу. Они успели поссориться и помириться с Дарьей Васильевной, грубили Антону Ивановичу, кричали на своего бригадира Анохина. Тот не сердился. «Этакие кошечки, — думал он, поглядывая сверху на девушек, — коснулось дело, волчицами стали». И чем ближе было к окончанию молотьбы, тем больше ожесточались и полеводы, и председатель колхоза, и все, кто так или иначе был причастен к семенной пшенице. Ожесточение это схлынуло, разрядилось только тогда, когда кладовщик, отщелкав на счетах, меланхолично заявил:

— Ну-к, что ж, девки, — пятьсот семьдесят, килограммчик в килограммчик.

Пятьсот семьдесят центнеров! С гектара — это значит по двадцать восемь с половиной; по сто семьдесят одному пуду. До обязательства девяти пудов не дотянули. Но что девять пудов, когда есть сто семьдесят один! Такого урожая пшеницы в районе еще не видывали и не слыхивали. О нем мечтали, и то к концу второй послевоенной пятилетки, не раньше. Где Лаврентьев, где он, агроном?

Девчата бросились на поиски.

Не подозревая, какая опасность нависла над его головой, Лаврентьев беседовал с трактористом под навесом. Налетели на него ураганом, стиснули, обхватили десятками рук. Ася еще пыталась кричать: «Организованно, организованно!», ее голос тонул в невообразимом шуме. Лаврентьева в глаза, в щеки, в лоб, в нос, в уши чмокали горячие, кричащие девичьи губы. Он покачнулся под этим натиском, — не дали упасть, удержали. Происходило нечто невообразимое. У тракториста Леши Брускова волосы поднялись на затылке от удивления.

Лаврентьева наконец отпустили. У него было мокрое лицо и осатанелые глаза.

— В чем дело? — перевел он дыхание. — Всяким шуткам есть предел.

— Петр Дементьевич, не надо сердиться, нельзя сердиться! — крикнула Ася. — Я же говорила вам, говорила весной: поможете вырастить рекордный урожай — расцелуем, все расцелуем.

— Ах, вот как! Забыл. Простите, девчата, перепугали, я уже драться хотел. Ну и как результаты?

— Сто семьдесят один с гектара!

По лицу Лаврентьева, Ася заметила, быстро скользнула, как ей показалось, торжествующая и вместе с тем злая усмешка.

— Точка! — сказал он. — Теперь будем бороться с вашим болотом, теперь будем крушить его направо и налево, — и как бы уже сейчас готовясь принять с кем-то кулачный бой, засучил белые рукава полотняной сорочки, выше локтя обнажая загорелые мускулистые

руки. — Теперь давайте-ка я вас расцелую. Вы мне тоже во многом помогли.

Девчата с хохотом бросились от него врассыпную.

— Это что же, каждого вы так? — спросил Асю веселый тракторист Леша.

— Кто хорошо работает — каждого, — смерила его взглядом Ася. — Да, каждого.

— Ну уж постараюсь. — Леша шмыгнул носом. — Премия больно богатая.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

Тот, кого Катя Пронина представила в письме к Ирине Аркадьевне как своего мужа, Георгий Трофимович Лаптев, был человеком общительным и жизнерадостным. Он ни минуты не мог сидеть без дела. Но случилось несчастье, которое сильно ограничило его возможности что-нибудь делать. Во время последней экспедиции, которую возглавлял этот довольно еще молодой геолог, при обследовании одной из подземных пещер в горах Казахстана, произошел взрыв природного газа. Георгию Трофимовичу опалило легкие раскаленным воздухом, обожгло веки и роговицу глаз. Его долго лечили в московской клинике, где проходила стажировку Катя, а затем на год — на полтора запретили всякую работу. Он сильно кашлял, носил роговые очки-консервы с желтыми стеклами, от ходьбы и даже от сидения за письменным столом быстро уставал, задыхался, начинал злиться, и тогда ему становилось еще хуже. В такие минуты, если возле него никого не было, Георгий Трофимович валился на постель, повторяя: «Жизнь кончена, кончена, глупо кончена. Надо прекратить напрасные муки». Если же это случалось на людях, он собирал все силы и бодрился: «Ничего, мы еще, товарищи, попляшем». Почему попляшем? Людям стеснительным свойственно выражать свои мысли иносказательно. Думает: «Поживем, поработаем», а говорит непременно: «Поскачем, попрыгаем, попляшем». С раз-

вязностью такое иносказание не имеет, конечно, ничего общего.

Катя, ординатор отделения клиники, с волнением наблюдала за внутренней борьбой своего пациента. Профессор говорил о нем: «Большой силы человек. Поправится, еще как поправится. Такие не сдаются. Надо уговорить жену, чтобы увезла его в деревню, на чистый воздух, там он встанет на ноги и еще много чего разыщет нам в земных недрах». О земных недрах Георгий Трофимович мог рассказывать часами. Любознательная Катя засиживалась возле его постели и слушала о высокогорных долинах Алтая, о красотах Катуни, о красноярских каменных столбах, о сталактитах и сталагмитах, о золотоносных алданских песках, об огненных сопках Камчатки. Георгий Трофимович лежал с завязанными глазами, — должно быть, от этого еще яснее и ярче были для него картины, о которых он рассказывал.

Ни профессору, ни Кате не пришлось уговаривать жену Георгия Трофимовича. Красивая, изнеженная женщина смалодушничала и, оставив пошлое прощальное письмо, уехала к какому-то другу молодости в Киев. «Что нас связывало семь лет, Георгий? — писала она. — Ничто. Тебя я не видела месяцами. Я тосковала, я была одинока. Надеюсь, мы друг другу простим эту ошибку. Ты ведь умный, хороший». Этого письма больному не прочли, ничего о нем не сказали. Дело, конечно, было не в ошибке, не в тоске и одиночестве, а в том, что избалованная постоянным достатком дамочка не могла представить себя в роли сиделки, страшилась деревенской глуши, куда от привычных удобств надо будет везти инвалида-мужа и где, не исключена возможность, придется терпеть моральные, а главное — материальные лишения. И все это во имя чего? Когда этот человек поправится — если он вообще когда-либо поправится, — он снова уедет на Кольский полуостров или в Голодную пустыню. Она предпочла сбежать: государство не оставит геолога Лаптева, оно о нем позаботится.

Позорное бегство струсившей жены, беспомощное, тяжелое состояние больного, его сила воли, фанатическое увлечение своей профессией сделали то, чего не смогли бы сделать никакие пожатия рук, никакие теа-

тры, ночные сидения на парковых скамьях, называемые вкупе ухаживанием, — Катя почувствовала, что Георгий Трофимович ей бесконечно дорог, что это она, а не жена, готова быть сиделкой, что это она с радостью увезла бы его в деревню, в тайгу, в любые дебри, лишь бы он снова мог вернуться к любимым камням и рудам, снова увидеть Катунь и столбы Красноярска.

Было это вскоре после ее возвращения из отпуска, проведенного зимой в Воскресенском. В апреле Георгию Трофимовичу сняли повязки с глаз, в мае, вооруженный желтыми очками, он выписался из клиники. Домой его повез сам профессор. Надо было как-то ослабить удар, ожидавший Георгия Трофимовича. Два месяца его обманывали, придумывали более или менее правдоподобные причины того, что жена перестала его навещать. Выдумали сначала карантин, потом приказ министра, запрещающий посещение больных. Георгий Трофимович был простодушен и верил всему, тем более что лежал он в отдельной палате и не мог видеть посетителей, приходивших к другим больным. Катя изредка сочиняла пустые записочки, якобы от жены, и читала ему вслух что-нибудь такое: «Сообщи, пожалуйста, как ты себя чувствуешь», или «Что тебе принести — яблок ли, апельсинов? Москва полна апельсинами». — «Можно и яблок, можно и апельсинов, передайте, Екатерина Викторовна. А лучше бы сама зашла. Какие у вас жестокие правила!» — негодовал Лаптев. Катя тосковала, и на свои скудные средства покупала апельсины.

Что произошло у Георгия Трофимовича дома, профессор даже рассказывать не стал, на Катины расспросы махнул рукой, буркнул: «Бесстыжие вы все», — и заперся у себя в кабинете.

В тот же вечер Катя, набравшись храбрости, приехала к Лаптеву. Георгий Трофимович сидел на стуле у окна, в пальто и шляпе; казалось, что он так и не раздевался с той минуты, когда возвратился в свой дом из больницы.

— Мне сказали... Я слышала... — начала было Катя, которая уже утратила храбрость; ее охватывал страх от того, что она не сможет объяснить Георгию Трофимовичу, зачем к нему приехала.

Но Лаптев и не спрашивал об этом.

— Все вернулось к тому, с чего начиналась жизнь, — сказал он. — К люльке, к колыбели. Я не умею ходить, ничего не понимаю, у меня нет ни профессии, ни любимого дела. Я спеленут по рукам и ногам. Но тогда, во времена пеленок, возле колыбели была мать, подходил изредка и отец. Теперь же не подойдет никто. Страшно, Екатерина Викторовна... Никого из близких у меня на свете больше нет.

Катя не выдержала, бросилась к нему, обняла. «Милый Георгий Трофимович, как же никого нет? Как же нет!..» — повторяла она порывисто.

Сбросив непривычные, мешающие очки, он сидел ссутулившийся, скорбный, сухими глазами смотрел в темный угол комнаты и молчал. А Катя почему-то горько, навзрыд, плакала...

Прямая в суждениях и восприятии жизни, она была настойчива в своей любви. «Счастья не ждут, — этого она не говорила себе, но так поступала, — за него борются, его берут с бою».

Георгий Трофимович постепенно оттаивал, окруженный ее заботами. Она еще не была его женой, они еще не сказали друг другу «ты», — но вела себя как жена, и он видел это, и в душе благодарил ее. Как жена, она настояла на том, чтобы, не дожидаясь ее, он уехал в Воскресенское, на свежий воздух. «Там, Георгий Трофимович, вам будет очень хорошо, там чудесные люди. Скоро приеду и я. А здесь оставаться вам никак нельзя». В Москве ему и в самом деле оставаться было нельзя. В письме к Ирине Аркадьевне Катя, не колеблясь, написала: «Муж».

Лаптев каждый день заходил к Лаврентьеву. Ему очень нравился колхозный агроном. Он наслышался о нем и от Кати, и особенно от Ирины Аркадьевны. То, как упорно Лаврентьев тренировал раненую руку, его восхищало. «Петр Дементьевич, это было гениально — дать ей предельную нагрузку. Я пойду по вашим стопам, — философствовал он. — Я придумал себе дыхательную гимнастику, потренирую легкие месяц-два, а потом тоже дам им нагрузку, вот увидите!»

Георгий Трофимович оказался для Лаврентьева цен-

нейшим союзником в изучении проблемы Междуречья. Он сквозь желтые свои очки мог разбирать только крупный книжный шрифт; машинописные слеповатые экземпляры материалов, присланных Лаврентьеву из Москвы через райком партии, его глазам были недоступны; Лаврентьев ему прочел их вслух.

— Очень важно, очень это все для нас важно, — задумался Георгий Трофимович. — Я не сомневаюсь, ну вот нисколько не сомневаюсь, и вы правильно предположили, что в заболачиваемости и закислении ваших почв виновата река Кудесна. Только она и она, Петр Дементьевич. Что там сказано? На глубине от двух до четырех метров в Междуречье залегают плотные глины, а Кудесна как раз здесь, против Воскресенского, делает крутую выгнутую петлю. Ее воды под землей струятся по этим глинам, ищут выход к Лопати, тем более это вероятно, что уровень Кудесны выше уровня Лопати. Гребенка ручьев и ручейков, которую вы видели на карте, не что иное, как именно выход подземных вод Кудесны на поверхность. Нам надо обследовать мелколесье в сторону Кудесны, да, надо, Петр Дементьевич, просто необходимо. Как вы думаете?

— Того же мнения. Необходимо. Но разве вы можете? ..

— Я? Конечно. Мне бы только лбом на осину не наткнуться, остальное пустяки, — смеялся Георгий Трофимович и мысленно благодарил Катю за то, что она его заставила поехать в деревню, где возможна такая интересная, увлекательная работа.

Вспоминал Катю и Лаврентьев. «Катенька, — беседовал он с нею мысленно, — приедете, я вам непременно напомню наш разговор о любви. Вы говорили: «Большой любви не существует, она осталась в романах да в рассказах старшего поколения». Разве от малых, ничтожных, обыденных чувств отдают свое сердце больному, на две трети вырванному из жизни человеку? Вряд ли, милая Катенька, вряд ли. . .»

После окончания молотьбы пшеницы они вдвоем, Лаврентьев и Георгий Трофимович, собрались в поход на Кудесну.

Ирина Аркадьевна встревожилась за здоровье зятя,

но он отшутился: «Геолог страдает только под крышей. Под открытым небом, под звездами он вновь здоровяк».

Лаврентьев не слишком верил тому, что, выйдя на крыльцо, Георгий Трофимович превратится в здоровяка. Дорогой старался как бы невзначай, за разговором, поддержать его под руку, идти не торопясь, прогулочным шагом. Так, вдоль воскресенского ручья, они добрались до леса и вошли в чахлый, полумертвый, изглоданный рыжей ржавой водой осинник. Они шлепали по этой воде меж таинственных и, несмотря на свою густую, но слишком однотонную зеленую окраску, каких-то неживых, перистых папоротников, — шлепали высокими резиновыми сапогами, предусмотрительно взятыми Лаврентьевым из колхозной кладовой.

В лесу стояла кладбищенская тишина. Он был такой гнилой, что в нем даже птицы не селились, предпочитая для гнездовий воскресенские сады. С мертвых ветвей седыми бородищами свисали косматые лишайники. Серыми были от лишайников и стволы. В таких лесах возникают самые страшные сказки.

Километров через пять ручей растворился в болоте — здесь, повидимому, и был его исток. Вода достигала колен.

— Надо возвращаться, — сказал Лаврентьев.

— Что вы! Самое интересное впереди! — запротестовал Георгий Трофимович. — Хороши мы будем разведчики — лужицы испугались.

— Но вам тяжело.

— Мне одно тяжело, Петр Дементьевич: ничего не делать. Идемте, идемте!

Шли осторожно, держась за руки, нащупывая ногами, к удивлению Лаврентьева, довольно плотное дно болота.

— Удивительного ничего нет, — пояснял Георгий Трофимович. — Здесь не торфяники, а речные наносы, ил. К нему, видите, липнут подошвы, и все-таки дно нас прекрасно держит. Глубже под илом — глина. Проваливаться нам некуда. Разве только яма случится.

Геолог оказался прав, интересное было впереди. Бредя уже не по колено, а по пояс в воде, они вышли

к реке, широкой, полноводной, быстрой и вместе с тем несколько странной. Узкая кромка поросшей лозняком земли отделяла ее от болота. Вода струилась вровень с берегами. Не было ни спуска к плесу, ни обрывов, — три шага суши — и сразу вода.

— Ну вот вам и узел всей проблемы! — Георгий Трофимович весело щурился за очками на отраженное в реке солнце. — Предлагаю развести костер и просушиться.

Лаврентьев набрал сушняка, нанесенного половодьем и застрявшего в опутанных гнилыми водорослями прибрежных ракитах. Костер получился трескучий, жаркий, требовал еще и еще топлива. Развесили вокруг него на сучьях и корягах носки, портянки, брюки, — ходили нагишом.

— Жалко, снастей нет. В таких реках лососи водятся, — сказал Георгий Трофимович. — В общем, Петр Дементьевич, все ясно, это и в отчетах московской экспедиции отмечено: воскресенские поля заливаются милейшей рекой Кудесной, которая отнюдь не волшебница, как вам ее характеризовали в музее, а сущая ведьма. Что же делать? Как с ней, с ведьмой, бороться? .. Задача, знаете ли, задача! В гидротехнике ничего не понимаю. Мы, пожалуй... — размышлял он. — Да, да, именно... Мы поступим с вами так. Напишем моему хорошему знакомому в Минск. Если у него есть время, пусть приедет на недельку. Это такой специалист, такой специалист! .. Для него междуреченская ваша проблема — мелкое семечко. Он грызет орешек посолидней — проблему Полесья решает.

— Полесья?!

— Да, Полесья. Там ведь как проблема решается? О, она мудро решается! На ее решение правительство средств не жалеет. Вот что там, в общих чертах, делается. Изучают геологическое строение всей Полесской низменности, хотят найти ответ на вопрос, поставленный еще Докучаевым, — какова природа образования тех болот. Затем изучают гидрологические особенности Полесья, без чего невозможно решать вопросы регулирования водного режима местных рек. Дальше — вопросы гидрологии и гидротехнических устройств увя-

зываются с общекомплексной, народнохозяйственной проблемой Большого Днепра, так как бассейн Припяти и ее притоков безусловно связан с режимом Днепра. Отсюда — разработка вопросов водного транспорта и энергетики на водных бассейнах Полесья, учет запасов торфа, изучение генезиса торфообразования на Полесье, определение путей, энергохимического использования торфяных богатств. Вот, как видите, что такое государственная постановка дела. По-делячески что бы сделали? Бились бы над разработкой технических и агротехнических мероприятий на осушенных кое-где торфяниках — и только. А потом эти осушенные поля вновь бы заболачивались. Перпетуум мобиле.

— В Воскресенском дважды брались за местную мелиорацию.

— И неудача, так?

— Так.

— Следовало ожидать. Нет, Петр Дементьевич, местное деляческтво — это та же кустарщина. Все у нас в стране должно делаться по-государственному. Я геолог. Я-то знаю, как государство ставит, например, вопросы геологоразведки. Широта какая, размах! Понятно, и результаты соответственные. Вот, обождите, напишем моему другу. Если вырвется хотя бы на денек, он нам все растолкует и все решит.

Снова брели по болотам, снова начерпали в сапоги, устали, измучились, особенно Георгий Трофимович, отвыкший от длительной ходьбы. Но был этот человек переполнен энергией настолько, что едва вернулись домой и переоделись, как он предложил немедленно писать в Минск. Вместе сочинили текст. Лаврентьев настоял на том, чтобы на всякий случай к письму приложить выписки из имеющихся у них материалов, набросать грубую карту с основными данными и сделать табличку урожайности воскресенских полей по годам. Письмо отправили с автомашиной в город, просили шофера сдать его авиапочтой.

Лаврентьев в эту ночь не мог заснуть до утра, так возбужден он был дневным походом, рассказом Георгия Трофимовича о гигантских масштабах работ в Белоруссии, и вдобавок его сверлила одна весьма непри-

ятная мысль. Получалось, что Серошевский — безразличный ко всему, хитрый и холодный обыватель Серошевский — прав. Вперед батьки в петлю не лезь. Не будь постановления партии и правительства — Полесье и по сей день утопало бы в чудовищных болотах. Значит что? Сиди тут и молчи, ахай и созерцай, гляди, когда партия и правительство заметят болота Междуречья и вынесут решение покончить с ними? И только тогда засучивай рукава, берись за дело. Невероятно, но получается так. А сколько ждать, и будет ли такое решение вообще когда-либо? Согласиться с подобной мыслью Лаврентьев не мог, протестовал против нее всем своим существом. Он ни на грош не верил Серошевскому, его смущал лишь рассказ Георгия Трофимовича. Георгию Трофимовичу он безусловно верил. Выходило так, будто бы — складывай оружие. А оружие складывать не позволяла совесть.

Ответ из Минска пришел через пять дней. Это была телеграмма: «Приехать не могу. Много работы. Материалами познакомился. Ваша проблема, по-моему, до крайности проста. Один, два канала из Кудесны в Лопать. Рекомендую через область вызвать специалистов. Приветом Максимов». Георгий Трофимович показал телеграмму Лаврентьеву. В колхозе в это время уже шла уборка яровых, начался самый ответственный и напряженный период сельскохозяйственного года. Лаврентьев с досадой пробежал глазами по наклеенным на бланке телеграфным лентам, понял, что дело пока откладывается, если не в самый долгий ящик, то и не в самый близкий, расстроился и ускакал в поле.

2

В колхозе лущили стерню, досевали озимые, начали поднимать раннюю зябь, одновременно шла молотьба. У Лаврентьева почти не оставалось времени на болотные изыскания. Но Георгий Трофимович отдался им целиком.

— Имейте в виду, — сказал как-то геолог Лаврентьеву, — что начатое вами дело уже перестало быть

только вашим делом, оно приобрело общественное значение и, даже если бы вы от него совсем отстранились, будет жить и развиваться. Потому что нужное оно очень и важное.

— Отстраняться, знаете ли, не собираюсь, — ответил Лаврентьев. — Просто текучка заела.

— Знаю, вижу, Петр Дементьевич. Это я в качестве обобщения высказался. Давно заметил, что нужное и важное у нас непременно подхватывается. Был случай. В одном из районов во время войны искали медь. К разведке привлекли население, поиски развернули довольно широко. Но руководитель работ почему-то разуверился в успехе и все свои силы перебросил в другой район. Так что вы скажете! Он отступился — колхозники не отступились. Среди них оказались два истинных энтузиаста, они еще несколько месяцев бились в одиночку — и таки нашли медную руду.

— Вы правы, Георгий Трофимович, — согласился Лаврентьев. А про себя подумал: «Вот и ответ на мои сомнения. Серошевский все-таки в самом деле болван и пустобрех».

— Новое дело у нас, — добавил он, — как боевое знамя. Под любым огнем противника оно никогда на поле битвы не падает наземь. Сражен один знаменосец, знамя тут же подхватывает другой.

— Очень хорошее сравнение, Петр Дементьевич, очень! Разрешите мне, когда вы заняты тем, что у вас называется текучкой, поддерживать знамя междуреченской проблемы.

Лаврентьев улыбнулся:

— Лучшего товарища не желаю. Колхозу здорово повезло, что вы сюда приехали.

— Полно вам! Не я, так кто-нибудь другой бы приехал, — не сегодня, так завтра, и, наверно, более знающий, чем я. Хозяйство наше плановое, случай в нем играет весьма незначительную роль.

Товарищ был непоседлив. Он предложил прокатиться по Лопати на лодке. «Надеюсь, мы и там увидим нечто интересное».

Воскресенцы, почти каждый, держали лодки или челны. Суда эти стояли на привязи или лежали на бере-

гу, опрокинутые кверху днищами. Лаврентьев обычно пользовался легкой лодочкой Карпа Гурьевича. Она была широкая и удобная, со скамейками, выкрашенными в голубую краску, и больше походила не на рыбачью лодку, а на прогулочную, какие на водных станциях выдаются под залог профсоюзного билета.

Выехали вечером, когда на реке перед зорькой разыгралась рыба. Большими и малыми кругами отмечались рыбьи всплески. Плыли медленно, вдоль берега. Лаврентьев еле шевелил веслами, и когда поровнялись с обрывом, на котором стояла бывшая барская усадьба и зеленели колхозные сады, Георгий Трофимович воскликнул:

— Вот вам, глядите!

По всему обрыву, под норками, просверленными в песке ласточками-береговушками, подобно корабельной ватерлинии, тянулась темная влажная полоса. Подгребли ближе, врезались в камыши, пристально разглядывали полосу. Из нее, как из-под пресса, выжималась вода и стекала тончайшими ручейками в реку.

— Вода Кудесны! — сказал Георгий Трофимович. — Последнее подтверждение. Разведчикам, откровенно говоря, здесь и делать больше нечего. Нужны гидротехники. Вы чувствуете?

Георгий Трофимович заинтересовался церковкой на противоположном берегу, выглядывавшей из сосен, попросил пристать: «Типичный пейзаж старой России». Лаврентьев причалил возле одинокой ивы, погнутой, исковерканной вешними льдами, дуплистой. Она висела над водой, песок под ней и вокруг был истоптан. Мальчишки приходили сюда ловить окуней, которые любили стоять в древесной тени в глубоких прибрежных ямах.

Лодку вытащили до половины на песок, чтобы не унесло течением, пошли к церкви. Под куполом свистели крыльями и ворковали голуби, в разбитые окна лезли молодые рябинки, украсившиеся гроздьями желтых, еще незрелых ягод. На паперти рос громадный куст чертополоха, и по серым плитам стелились широкие седые листья репейников.

— Какой дикий уголок! — восхищался Георгий Трофимович, то снимая, то вновь надевая очки. — Жизнь

здесь как бы уснула. Два километра от людских жилищ — и вот древняя тишина...

— Одну минуточку, Георгий Трофимович, — извинился Лаврентьев. — Я сейчас...

Он заметил людей в старом сарае за церковью, в том самом сарае, где зимой скрывалась сбежавшая Милка с теленком, и, оставив геолога, пошагал туда. Сено съели кони огородной бригады, в сарае было теперь просторно, на земляном полу разостланы громадные брезенты, проеденные крысами, на балках над ними, корнями вверх, висели стебли семенников редисов и редек, с распухшими, как бы надутыми воздухом стручьями. Легким шестиком, наподобие лекторской указки, но только с железным крючком на конце, их развешивала бабушка Устя.

— Редкий у нас гостюшко, — заговорила старуха, увидев Лаврентьева. — И к полеводам он, и на коровник, и на пасеку — куда хошь идет, только не к семеноводкам, — чем мы, бедолаги, проштрафились-то... Будто уж и нету нас в колхозе. Кланюшка! — крикнула она и, утирая передником лицо, ждала ответа.

Клавдия появилась в воротах, противоположных тем, через которые вошел Лаврентьев.

— Здравствуйте, Петр Дементьевич, — сказала безразлично. — Давно вас не видела.

— Да вот бабушка уже проработала меня за это, — редкий, мол, гость у семеноводок.

Лаврентьев бодрился, говорил много лишних слов, — он чувствовал себя связанным в присутствии Клавдии. Если бы за делом пришел, тогда ладно, тогда он агроном, руководитель, исполняет обязанности, определенные его должностью, и тогда Клавдия держись, односложными ответами не отделаешься. Но когда вот просто так забрел, по пути, без особых намерений — это хуже, о чем-то надо говорить, а о чем — не придумать.

— Зачем же прорабатывать? — сказала Клавдия. — Насильно мил не будешь. Решили, Петр Дементьевич, закрыть семеноводство — и закрыли.

— Это слишком, Клавдия Кузьминишна.

— Нет, не слишком, Петр Дементьевич. Все отдали

Анохину и комсомолкам, все силы кинули туда. А что получили с их участков? Пятьдесят тонн пшеницы. Подсчитайте, сколько это на деньги выйдет. Гроши!

— Клавдия Кузьминишна, пшеница эта дороже любых денег. Она пионерка в наших местах. Драгоценный семенной материал.

— Еще в прошлом году мой семенной материал считался драгоценным.

— А кто сейчас это отрицает?

— Вы. Но вы ошибаетесь, с грязью нас смешать вам не удастся. Нет и нет! — Она вскинула голову и пошла из сарая. Лаврентьев окликнул:

— Клавдия Кузьминишна!

— Да? — обернулась она. — Слушаю, товарищ агроном.

Возле крутилась бабка Устя, ловила каждое слово. Завтра, а может быть, еще и сегодня, разговор будет известен всему Воскресенскому. Этого Лаврентьеву совсем не хотелось.

— Клавдия Кузьминишна, — попросил он, — пройдемтесь немножко.

— Пожалуйста. — Она пожала плечами.

Они шли меж сосен, неприметно для себя держа путь к реке. Клавдия заметила Георгия Трофимовича, который в одиночестве копал сучком землю возле церковного фундамента и, кажется, был очень увлечен своим делом. Она несколько раз оглянулась в его сторону. Катиного мужа ей еще не приходилось встречать в селе, он был для нее незнакомцем.

— Так что же вы хотели сказать?

— Дело в том, Клавдия Кузьминишна, что у нас какие-то очень странные с вами отношения. Простите за прямоту, вы изображаете из себя нечто вроде оппозиции, вы недовольны любым решением правления, любым моим словом. И напрасно. Нельзя смотреть на вещи только с узкой, лично своей, сугубо своей точки зрения.

— Семеноводство — не мое сугубо личное дело, — оборвала его Клавдия.

— Я говорю не о семеноводстве, а о вашем отношении...

— Я не могу иначе относиться к людям, которые мне мешают и не дают работать.

— Эти люди, очевидно, я?

Клавдия молча глядела на рыбьи игры в реке.

— И вы, очевидно, были бы довольны — исчезни из колхоза агроном Лаврентьев? — продолжал он. — Не так ли, Клавдия Кузьминишна? Молчите? Так вот, дорогая Клавдия Кузьминишна, — голос Лаврентьева обрел привычную твердость, — агроном Лаврентьев никуда не исчезнет. Я буду работать и поступать так, как найду нужным. Если понадобится — пользуюсь вашим выражением — закрыть семеноводство, мы его закроем.

— Вот как!

Они стояли под старой ивой. Клавдия стремительно обернулась, прижалась спиной к шероховатому стволу, глаза ее горели гневом.

— Петр Дементьевич, напрасно думаете, что вы всесильны.

В эту минуту им казалось, что они ненавидят друг друга страшной ненавистью, даже не задумываясь — почему. Он — в порядке внутренней самообороны, она — поэтому же, конечно. Ни один не знал истинных чувств другого, да и в своих еще толком никто из них не разобрался.

— Я с вами разговаривать не хочу! — сквозь зубы, вся побелев, бросила Клавдия. — Никогда, ни одного слова. Слышите?

— Слышу. Но разговаривать вы со мной будете, — упрямо, нагнув голову, ответил Лаврентьев.

Клавдия выпрямилась, смерила его прищуренными глазами и ушла к сараю.

Лаврентьев грустно посмотрел ей вслед, долго стоял еще под ивой и отправился за своим спутником.

Через полчаса, снова сидя на веслах, он раздумывал о Клавдии и почти не слышал того, что говорил Георгий Трофимович.

И вдруг разобрал:

— ...Как против этого возразишь? Да, конечно, очень важно найти такого спутника в жизни, с кото-

рым вы бы стали не просто супругами, мужем и женой, а друзьями, знаете ли, настоящими друзьями, когда один без другого обойтись не может, когда одному без другого жизнь не в жизнь. А часто так случается? Случается, но не очень часто.

— К чему вы это, Георгий Трофимович? — удивился Лаврентьев.

— Ну как к чему! Говорю же вот — эта женщина...

— Какая женщина?

— Прослушали вы, что ли, Петр Дементьевич? Вот эта, золотистая, которая сейчас плакала в соснах.

— Плакала в соснах?..

— Да, да, совсем прослушали! Я подхожу, спрашиваю: «Отчего так горько? Кто вас обидел?» Она мне: «Отстаньте. Какое вам дело? Ну какое?» И в самом деле — какое? Интеллигентская привычка. Ребенок ли плачет на улице, женщина — непременно тянет подойти: что да как, кто обидел? Вот я съел пилюльку, пошел к вам, а сам думаю: семейная драма. Разлад, размолвка. Она страдает, тот страдает. Оба страдают. Ошиблись, значит, — супруги, а не друзья. Сложно все как в жизни, Петр Дементьевич, до чего же сложно...

Он замолчал, через желтые свои очки смотрел на огромное багровое солнце, которое опускалось за лес. Река отражала малиновый свет облаков.

— А красивая женщина, — добавил Георгий Трофимович. — Жаль ее...

3

Лаврентьев вошел в кабинет секретаря райкома. Карабанов встал ему навстречу из-за стола.

— Ну, как там дела, на Лопати?

— Как дела? — Лаврентьев огляделся. Кабинет Карабанова напоминал краеведческий музей в миниатюре. Многие секретари сельских райкомов любят такие кабинеты. Тут и модели местной продукции, и тыквы в три пуда весом, и диаграммы роста урожайности, и снопы различных злаков. Среди снопов стоял и сноп

из анохинской бригады. Не сноп, правда, — маленький снопик: Ася пожалела отдать много колосьев. В граненом стакане рядом с чернильным прибором желтела и Асина пшеница — чистое, отборное зерно. Приедут товарищи из области, Карабанов похвастает — вот-де вырастили, даст попробовать зернышко на зуб, прикинуть стакан на вес — тяжеленькая, тянет! Кто не любит похвастать своими успехами, результатами своих усилий, своего труда — какой человек? А Карабанов был человек, с достоинствами и недостатками, он сам это всегда подчеркивал.

— Дела идут, Никита Андреевич. — Лаврентьев сел в кресло и закурил папиросу. — О них и поговорить приехал. — Он стал подробно рассказывать о результатах похода на Кудесну через заболоченный лес, о предположениях и выводах, сделанных Георгием Трофимовичем, о телеграмме из Минска. Закончил тем, что сообщил просьбу правления колхоза поторопить гидротехников из области, пусть поскорей приедут, разберутся на месте и составят план или проект сооружений для регулирования уровня обеих рек. Стройку же — правление и партийная организация решили — можно будет вести народным способом, народ откликнется: три сельсовета и совхоз — шестнадцать селений Междуречья — страдают от болот.

— Идея неплохая. — Карабанов долго барабанил пальцами по коробке папирос. — Какие-то вы там, в Воскресенском, удивительно боевые стали и инициативные. Просто на пятки нам наступаете. Это здорово хорошо. Честное слово, хорошо. Я созвонюсь с обкомом, Петр Дементьевич, объясню все и посоветуюсь. Ты знаешь нашего секретаря обкома? О! Вот приедет, собирается к нам, познакомлю вас. Для него услышать о чем-нибудь новом, что зарождается в области, — целый праздник. Если убедится в необходимости канала, сам лопату возьмет в руки. Не преувеличиваю, не думай. Позапрошлой зимой на лесоразработках новую электропилу не могли освоить. Прикатил и три дня орудовал с лесорубами. Надел ватник, валенки, — семь норм выполнил. Скажешь, что это не обязательно, что для секретаря обкома нормы другие?

Правильно — конечно, другие. Но он все должен уметь. Партийный работник, Петр Дементьевич, скажу тебе прямо, — работник особой категории. Очень велики требования, предъявляемые к нему, очень. Спрос с него большой. Он человека отлично должен знать, человека, понимаешь. А как узнать человека, не находясь постоянно с ним вместе, не вникая в его труд, в его жизнь? Невозможно. Я работник маленький, но стал бы ничтожным, вздумай ограничиться вот этим кабинетом. Тыквы, снопы — цацки, забава глазу. Жизнь-то ведь там, там! .. — Карабанов махнул рукой в сторону окон, через которые за крышами городка были видны поля и синие полосы лесов на горизонте. — Оторваться от жизни, от людей — это, знаешь, в конечном счете, оторваться и от партии. Небольшой тебе примерчик. Был у нас начальник областного земельного управления. Так себе, дядька как дядька, работник как работник. Выдвинули на должность заместителя председателя в облисполком. И что ты скажешь — полгода не прошло, переменился человек. Первым делом дачу завел. Но хорошо бы просто дачу, каждый имеет право ее завести. Нет, забор в три метра высотой отгрохал, гектаров пятнадцать земли отхватил, пруд приказал там себе вырыть — колхозников на это дело гонял; карасей напустил. Фонтан потом придумал с какими-то световыми эффектами. Смешно — сидит один человек за забором, карасей удит, на фонтан любуется. Какое ему дело до народа, до партии, — отсидел в кабинете, шмыг на машине за город, на дачку. Понятно, заскучал там в одиночестве, собутыльники пошли и тому подобное. А раз так, то уже не государственная, не партийная дисциплина вокруг него установилась, а групповая, семейственная. Так называемые «свои люди», свои прожектики, свои мыслишки. Скатился человек с линии партии. А партия, Петр Дементьевич, ой, как строга к таким фокусам. С самых давних времен, с подполья эта строгость в ней.

— Ну и как с ним, с начальником этим? — спросил заинтересованный Лаврентьев. Он же знал его, работая в облземотделе агрономом-плановиком, знал, что

тот никогда не выезжал в область, не здоровался с сотрудниками, кричал на подчиненных, стучал кулаками по столу; самой страшной угрозой в его устах было обещание отправить в район, в колхоз, на участок.

— С дачником-то? Исключили из партии, сняли с работы, отправили на участок. Он агроном по образованию. Дали, как говорится, возможность подумать над самим собой. Вот так обстоят дела, Петр Дементьевич. Что намерен сегодня делать?

— Домой поеду.

— Обожди, успеешь. До чего работяга стал, сил с тобой нету. Походи, погуляй по городу, городок у нас старинный, в крепость загляни, церквушки тут есть шестнадцатого века, завлекательные. Я тем временем с обкомом созвонюсь, закажу сейчас разговор. А вечерком — ко мне. С женой, с дочкой познакомлю. Есть? Ну то-то. Часикам к восьми возвращайся. Жду.

Лаврентьев обошел весь городок, заглянул и в крепость и в церквушки шестнадцатого века. Его там поразили необыкновенно хмурые лики святых. Расписанные по черному лаку, извивались языки адского пламени, возле них лежали в кучах цепи, висели плети. «А страшновато было жить, однако, в те времена, — подумал Лаврентьев, разглядывая эти памятники средневековья. — Насмотришься таких красот — и спать не будешь».

Побродил он по бульвару над рекой. Река здесь была та же, что и в Воскресенском, — Лопать, но только мельче; местами она едва пробивалась по каменистым перекатам, и там мальчишки строили запруды.

Было уже около восьми. Лаврентьев держал путь к райкому, когда его окликнули:

— Товарищ агроном!

С коня соскочил Лазарев, колхозный председатель из Горок, который защищал его на исполкоме.

— Слух идет, задумываете что-то в Воскресенском? Большие переустройства?

— Как будто бы большие, — с готовностью ответил Лаврентьев.

Присели на лавочку возле ворот конторы «Заготзерно». Лаврентьев рассказал о предполагаемых работах в Междуречье.

— Вот это сила! Вот это по душе мне! — восторгался Лазарев. — Большой размах! Силенок-то хватит ли?

— Своих? Своих — нет. Помощь нужна.

— Ну так ведь как не помочь! И государство поможет и народ.

— На это и рассчитываем.

— Расчет правильный. Погодь-ка, мы к вам с делегацией приедем, что да как, подивиться.

— Дивиться еще нечему. Все пока на бумаге.

— Хе, на бумаге! Я, товарищ Лаврентьев, помню годочки — завод в Сталинграде тоже был на бумаге, а теперь села не найдешь, где бы сталинградскими тракторами не пахали. Мы затем и приедем — поучиться, как такие бумаги составляются.

— Если так — ждем, товарищ Лазарев. Рады будем гостям.

— Куда путь держите? — Лазарев поднялся. — Может, в чайную зайдем, по кружечке пивка?..

— Карабанов пригласил.

— Ну, коли так, будем здоровы, товарищ Лаврентьев. Приветствие от меня Антону Суркову. Третьим годом самим им было трудно с тяглом, а бригаду пахарей прислал нам в помощь. Крепко подсобил. Я его, Антона, уважаю. Мягковат, толкуют тут, в районе. А что им, Малюту Скуратова надобно?..

— Или Егория на белом коне?

— Во-во! — усмехнулся Лазарев в клочковатую бороденку. — Приветствую в общем и целом на данный момент. — Взобрался на седло и тронул лошадь.

Карабанов встретил Лаврентьева возгласом:

— Думал, пропал ты, Петр Дементьевич! Без четверти девять.

— Лазарев задержал.

— Из Горок? Поговорить любит. Как придет, на три часа разговоров. То объясни, да это, того дай, третьего... Но дело свое председательское знает. Двадцать лет председателем работает. Ну, пошли.

— А разговор с областью был? — Это больше всего интересовало Лаврентьева.

— Был, был, все в порядке. Удачно секретаря застал на месте. Обещал подумать.

— Только подумать?

— Ты его, Петр Дементьевич, не знаешь. Если дело не годится, так сразу и скажет: не годится. Сказал: подумает, — имеем семьдесят пять шансов за. Идем!

Дверь им отворила жена Карабанова Раиса Владимировна.

— Вот он, Рая, отчаянный охотник! — представил Карабанов гостя.

Раиса Владимировна, тоненькая, живая, с девичьей прической — косы над ушами венскими булочками, взглянула веселыми карими глазами.

— Спасибо за лисичку, товарищ охотник. Мы из нее дочке воротник сделали. Модницей поедет в институт.

— Лисичка была общая, Раиса Владимировна. — Лаврентьев сразу усвоил простой тон разговора. — На мою долю разве только хвостик пришелся. А его, понятно, и выкинули?

— Что вы! Хвостик — главная красота. Натка его приспособила какой-то висюлькой на плече, очень кокетливо получилось. Проходите, пожалуйста, проходите.

Квартира у Карабанова была уютная, но небольшая — три тесноватых комнатки: кабинет, спальня и столовая. В столовой, в кресле с высокой спинкой, сидела бабушка с двумя парами очков на носу и вязала полосатый носок. Из кабинета вышла рослая девушка, дочка, на голову выше своей матери.

— Ната, — сказала она, представляясь гостю.

Гость в доме Карабановых считался, видимо, особой священной. Для гостя все оставляли свои дела. Бабушка, и та отложила вязанье и сняла вторую пару очков, как бы желая этим сказать: ну вот я свободна, к вашим услугам.

Лаврентьева усадили на единственный — кроме бабушкиного кресла — мягкий стул. Раиса Владими-

ровна хлопотала, раскидывая свежую скатерть, выставляя на ней тарелочки с закусками; Ната, как все великовозрастные дочки, не находила себе дела, с полотенцем через плечо бродила за матерью, выглядевшей ее сестрой, и спрашивала: «А эту чашку тоже мыть?» или: «Где же вилки, мама? Я их положила сюда». Бабушка расспрашивала Лаврентьева об урожае. Она не была из тех бабушек, которые интересуются астрономией, атомной физикой и палеонтологией, она была просто бабушкой, любила ворчать, играть в подкидного или в Акулину и вязала чулки. В чулках этих никто не нуждался, даже и новые, они пахли нафталином, и домашние носили их только из вежливости, чтобы не обидеть старуху.

— Голоду не будет, говоришь? — спрашивала она Лаврентьева. — Ну и слава богу, не допустил. — Об урожаях она спрашивала всех и вся с тысяча девятьсот сорок шестого неурожайного года.

— Да это же сам бог и сидит, мамаша, — сказал ей Карабанов, указывая на Лаврентьева. — Это он не допустил. У него еще там два взвода ангелочков есть, помощниц. И все — комсомолки.

— Оставь, Никита, — отмахнулась рукой бабушка. — Человек придет, поговорить не даст с ним.

Карабанов вынес из кабинета ружье, заставил Лаврентьева попробовать — каково на **вскидку**, прикладистое ли, прицелиться в глиняную тарелочку на стене.

Разговаривали в семье несколько ворчливо. Но ворчание было дружественное, шло оно, вероятно, от бабушки. Все здесь любили друг друга, — это Лаврентьев видел, и завидовал Карабанову. Особенно ему нравилась Раиса Владимировна; он украдкой следил за каждым ее шагом, за каждым движением, но, как ни скрывал своих взглядов, Карабанов их заметил.

— Гляди, Дементьевич, не влюбись в мою женку. Врагами станем. Я домостройщик, — посмеялся он.

Домостройщик встретил Раису Владимировну еще в совпартшколе, где молоденькая, краснощекая учительница преподавала историю и географию людям

гораздо старше ее по возрасту. Недавний машинист так в нее влюбился, что забросил занятия, ходил с красными глазами от бессонницы, был намерен вернуться на паровоз. «Все равно теперь жизнь моя на конус пошла», — писал он шальные записки предмету своей любви. Раисе Владимировне большого труда стоило вернуть его на путь истинный. Двадцать лет она была верным спутником и другом Карабанову, помогала ему учиться на рабфаке, в институте, проверяла его тетрадки и записи, придумывала темы для сочинений, и нисколько не огорчилась, когда почувствовала, что Никита ее перерастает, уходит вперед. Напротив, только гордилась и радовалась. Она преподавала и сейчас в десятилетке и была самой любимой учительницей в школе.

— Не смущайтесь, — ободрила она Лаврентьева. — Никита Андреевич всех предупреждает о том, что он ревнив. Он меня даже поколотить хотел однажды, лет восемнадцать назад, когда слишком поздно засиделась с его товарищами по рабфаку. Ворвался в класс, схватил — и бегом домой. Чуть руку не оторвал.

— Поклеп, поклеп! — возмутился Карабанов. — Просто крепко держал, чтобы не убежала. Придвигай стул ближе, Дементьич. Водочки выпьешь?

— Давно не пил.

Раиса Владимировна придвигала к Лаврентьеву масленку, хлеб, тарелки с закусками.

— Я была страшно возмущена, когда Никита Андреевич рассказал мне о том, что произошло на исполкоме, — говорила она. — Дичь какая! Отвратительный человек этот Серошевский. Мне теперь неприятно на него смотреть, после всего этого.

— Товарищи, товарищи, не обрабатывайте секретаря райкома, — раздельно, как бы отрубая нечто невидимое на скатерти ребром ладони, сказал Карабанов. — За столом не будем говорить ни о людях, ни о делах.

Но все равно и о людях и о делах говорили. Говорили о будущем Наташи, о том, что улетает дочка в жизнь. И совсем не так говорили, как Ирина Арка-

дьевна о Кате. Катя вышла на самостоятельную дорогу — жизнь матери, по мнению Ирины Аркадьевны, кончена, старой птице пора на покой.

— Вот семейка будет, — радовался Карабанов вместе с Раисой Владимировной. — Натка учительницей станет, мужа приведет... Ну не красней ты, не красней — все равно этим кончится твоя юность, доченька. Приведешь его, может быть толковый парень окажется — и так ведь бывает, — заживем, дел натворим каких!

Потом завели патефон, потанцевали. Бабушка сидела, притворно хваталась за голову: «Вскружили, совсем вскружили!» — но была довольна: любила, когда в доме весело. Специально для нее сыграли в домино вчетвером. Раиса Владимировна в игре участвовала в качестве консультанта — сидела за спиной Карабанова и подсказывала ему, какой костью ходить. Все делали вид, что яростно борются с бабкой, партнером которой был Лаврентьев, но втихомолку старались ей подыгрывать, и она выигрывала, именно она. Партнер в счет не шел. Старуха не скрывала своего торжества: «Вот как в старину-то игрывали!» Лаврентьев с этой минуты был ею признан: хороший человек, понимает что к чему.

Хорошего человека, понимающего что к чему, уложили спать в кабинете. Он поднялся рано; не дожидаясь завтрака, попрощался и ушел. Во дворе Дома Советов его ждала понурая, проголодавшаяся Звездочка. Он обнял лошадку за шею, она тихо и нежно проржала. У нее не было обиды на хозяина за долгое отсутствие, она радовалась ему, проскучав ночь у коновязи.

Лаврентьев купил в фуражном лабазе овса, свел Звездочку на реку и только тогда успокоился и поехал домой. Верхом ли на коне, в машине, у окна вагона — в дороге всегда много думается. Всю дорогу до Воскресенского думал и Лаврентьев. Он думал о семье Карабановых. Пытался на место Никиты Андреевича поставить себя, а на место Раисы Владимировны — Клавдию. Не получалось. Даже в мыслях не получалось.

4

Бабушка Устя и Клавдия говорили неправду, что Лаврентьев закрыл семеноводство. За семеноводками он следил внимательно, но следил так, чтобы напрасно не вмешиваться в их дела; дела и без его вмешательства шли хорошо, недаром Клавдия слыла лучшей семеноводкой в области. После того как весной удалось сбить немножко Клавдину спесь, урезать ее непомерные требования, он сам нет-нет, да подбросит народ в помощь на прополке, добавит коней и пропашников для междурядных рыхлений, калийной соли, суперфосфата для подкормки. Клавдия объясняла помощь агронома тем, что он расшумелся вначале, а потом струсил — как бы не провалить важную статью колхозного дохода.

Клавдины участки — не то, что участки полеводов. Они были раскиданы в заречье далеко один от другого, и некоторые из них даже и участками не назовешь; так — десяток гряд где-нибудь в кустах или возле озерка. Разбросаны они были для того, чтобы не происходило переопыления и скрещивания сортов овощей.

Лаврентьев изредка наведывался в заречье — не столько для проверки Клавдиной работы, сколько для пополнения своих знаний. Оставит Звездочку возле парома — и пойдет от свекольных семенников к брюквенным, от брюквенных к морковным, от капусты «Слава» к поздней капусте «Ладожской». Разглядывает, сколько стеблей Клавдия оставила, какие вырезала, — старается сам решить, почему она так сделала. Клавдия была не просто семеноводкой, не просто размножала семена, получаемые колхозом от зональной овощеводческой станции, но и сама, как рассказал Антон Иванович, третий год работала над выведением нового сорта моркови, пригодного для сырых почв с высокими грунтовыми водами. Лаврентьев своими глазами видел весной ящик морковок, больше похожих по форме на свеклу или репу, чем на морковь. Колдовала Клавдия и над помидорами, искусственно переопыляя их цветы и затем пряча стебли с переопыленными цветами под колпачки, сшитые из пергамента.

Под колпачками, по воле Клавдии, происходили незримые процессы взаимного влияния одного растения на другое, в результате чего должен был возникнуть зародыш третьего. Что нового будет в нем, в третьем, отличного от первого и от второго, — такой вопрос волнует каждого селекционера. Лаврентьев не увлекался селекцией — делом кропотливым и требующим душевного призвания, — его натура жаждала размаха, борьбы, крупных переворотов; переносить кисточкой пыльцу с тычинок на пестики и ждать годами, что в конце концов получится, — об этом ему даже подумать было страшно; тем более он удивлялся упорству селекционеров и смотрел на них, как на истинных творцов нового, как на скульпторов природы. Тяга Клавдии к такому ваянию, где материалом служит не глина и не мрамор, а живое растение, вызывала его тайное уважение. Он вообще всегда уважал искусников. Искусником в своем ремесле был Карп Гурьевич, — Лаврентьев его уважал. В институте с ним вместе учился Толя Бренчанинов, который разрисовывал шкатулочки и портсигары совсем как палехские мастера, — Лаврентьев очень дорожил дружбой с Толей. На батарее у него служил солдат, ящичный Гуськов; он резал из дерева смешные фигурки по басням Крылова. В искусниках Лаврентьева прежде всего занимало то, что они очень и очень много делают сверх требуемого от них.

Так и Клавдия. За свои опыты она не получала ни дополнительных трудодней, никаких лишних материальных благ, ни славы, но тратила на эти опыты не меньше труда и времени, чем на основную работу. Выдастся свободная минутка — Клавдия среди цветущих семенников, мудрит над ними, прищипывает, переопыляет, надевает колпачки, которые сама же и шьет дома. Солнце уже уйдет, летучие мыши с тонким писком вьются в сумеречном небе, а Клавдия все еще там — где-либо на дальней делянке, иногда с бабушкой Устей, увязавшейся за ней для компании, чаще — одна.

Оттого что участки Клавдины были разбросаны по всему заречью, Лаврентьев, обходя их, обычно не стал-

кивался с семеноводкой, да и Клавдия его избегала. Увидит издали и уйдет на другое поле. Погрозила под ивой не обмолвиться с ним ни единым словом, — ни одного слова не было сказано с того вечера, а прошли добрые две недели. Начинался сентябрь.

Погожим днем, пустив на лужок Звездочку, Лаврентьев шагал к лесу, расцвеченному первыми осенними красками, багрянцем иудина дерева — осины, желтизной берез и рябин. Возле леса было большое поле семенной свеклы, ее вот-вот начнут убирать, и следовало выяснить, сколько выделять дополнительных подвод, покупать ли специальную машину, или семеноводки вручную справятся с молотьбой свекольных семян. Тратить лишние деньги Антон Иванович не желал, в колхозе установили режим строжайшей экономии средств, такой строжайшей, что, пожалуй, и чересчур. Придет Носов: «Вожжи бы новые, пар пять, Антон Иванович? Поизносились наши. . .» — «Потерпим, потерпим, Илья. Надо потерпеть, свяжи как-нибудь, слатай. Потом сразу всем разживемся». Или дядя Митя явится: «Дымарь купить надо, меха прохудились». — «Сколько стоит?» — «Рублей сорок — полсотни». — «У меня не госбанк, заработайте прежде — тогда хоть золотую карету покупайте». — «А разве мы не заработали, Антон Иванович?» — «Мало, мало, больше надо. Жмите». Вот Клавдия, впервые за все лето, попросила председателя приобрести овощную молотилку, прочла в районной газете, что такие поступили на склад Сельхозснаба. «Будь добренький, Петр Дементьевич, — сказал Антон Иванович Лаврентьеву, — посмотри сам. Если решишь — надо, — купим. Но хорошо бы — не надо». Лаврентьеву Антон Иванович доверял больше, чем себе. Сам он увлекался и от этого решал иной раз неправильно — по настроению. Лаврентьев же, прежде чем что-либо решить, все тщательно взвешивал. Этому Лаврентьева научили жизнь и те немногие, но грубые ошибки, которые он совершил на первых порах своей деятельности в Воскресенском. В частности, очень многому его научила ошибка с телушкой Снежинкой. Спешить и кустарничать он перестал. Дарье Васильевне больше не приходилось жаловаться на то, что агроном

забывает о колхозном активе. Задумав новое, он непременно шел к Дарье Васильевне. У нее была особенность смотреть на вещи удивительно трезво и правильно. Когда Лаврентьев на партийном собрании доложил о своих и Георгия Трофимовича предварительных выводах и сказал, что, возможно, понадобится рыть канал — силами воскресенцев такую работищу не одолеешь и за две пятилетки, — Дарья Васильевна подумала-подумала, да и нашла выход: «А про Ферганский канал ты запамятовал, Петр Дементьевич? Позвали там — тысячи народу сошлись, лихо как дело-то двинули. И мы позовем, — не без языка на свет родились».

Лаврентьев говорил себе, что ему очень повезло оттого, что он окружен такими людьми, как Никита Андреевич, партийный руководитель с большим жизненным опытом; как Антон Иванович — человек с мечтой и светлыми помыслами; как Дарья Васильевна, сочетающая в себе недюжинный ум, твердость характера и женский такт, материнскую теплоту. В подобном окружении, с такой поддержкой только работать да работать. Он не знал, что эти люди, о которых он думал так хорошо, и о нем тоже хорошо думали. «Приехал — все перевернулось, будто подземный ключ прорвало. Забурлила жизнь в Воскресенском».

Выполняя просьбу Антона Ивановича — посмотреть лично, нужна или не нужна молотилка Клавдиному звену, Лаврентьев шел по заречью. Тут за полями овощеводов стояли побуревшие стога, почти на каждом недвижно сидели ястреба, скошенная трава на лугах вновь отросла, и ее можно было косить на силос. Промчался, делая саженные прыжки, испуганный заяц. Один из ястребов кинулся было за ним, но заяц юркнул в кусты и залег меж корней. Ястреб сделал вид, будто и не за добычей сорвался со стога, а просто так, размять крылья, и стал медленно уходить ввысь, паря над лугом широкими кругами. Потом Лаврентьев заметил шевелящийся бугорок свежей земли, подкрался к нему на цыпочках, присел, стал ждать, что будет дальше. Но крот уже почуял человека и убежал от него подземными лабиринтами подальше. Бугорок больше не шеве-

лился. Потом над головой низко пролетела цапля, с вытянутыми тонкими, как две палки, ногами. Все это задерживало на пути, привлекало внимание.

Лаврентьев прибавил шагу. Впереди он заметил двух женщин, сидевших на обочине полевой канавы. Подойдя ближе, узнал Клавдию и бабушку Устю, которая сухими пальцами ощупывала ступню Клавдиной босой ноги.

— Петр Дементьевич, Петр Дементьевич! — заговорила старуха, увидав Лаврентьева. — Подводу бы, коня какого...

— Перестань, — пыталась остановить ее Клавдия.

— Чего переставать, чего переставать... Петр Дементьевич! Гляди, ножку красотка наша повредила. Прыгнула, вишь, через канаву — и матушки мои!.. Что как жилы порвались? Ступить не может.

— Ступлю, не шуми, пожалуйста.

Клавдия поднялась, сделала шаг и закусила губу от боли.

— Коня бы, а? — твердила бабка. — Где он, конь-то твой?

Конь был далеко, возле парома.

— Клавдия Кузьминишна, — сказал Лаврентьев, — обхватите меня за шею, я помогу вам.

Клавдия отстранилась.

— Обойдусь без помощи.

Она сделала еще несколько шагов, изо всех сил стараясь не хромать. В глазах ее Лаврентьев заметил слезы. Клавдию мучила не только боль, но и досада на то, что она предстала перед Лаврентьевым в таком жалком, беспомощном виде.

— Вот что, Клавдия Кузьминишна. Стойте! — решительно заявил Лаврентьев. — Отбросим-ка наши ссоры. Возобновить мы их успеем и в другое время. А пока...

Он подхватил Клавдию на руки таким ловким и быстрым движением, что она не успела во-время воспротивиться. Рванулась, толкнула в грудь руками, но он только крепче прижал ее к себе, нес, как ребенка, — левая рука обхватом под колени, правая под спиной; щека Клавдии на его плече. На руках Клавдия была

что двенадцатилетняя девочка — не в пример своей пышной сестрице. Казалась всегда такой высокой, величавой, а сама худенькая и легкая. Лаврентьев шел, почти не ощущая тяжести ее тела. Он ощущал только ее тепло и биение сердца. Бабушка Устя едва поспевала за ним, семенила по-старушечьи, горбясь и придерживая сзади длинную сборчатую юбку.

Он совсем не ожидал, что Клавдия так быстро смирится. Он думал — будет биться, рваться, говорить свои злые, резкие слова; приготовился к борьбе. Но она, толкнув его в грудь, вдруг закрыла глаза и притихла. Лаврентьев впервые увидел краску на ее белом, не подверженном загару лице.

Против всяких ожиданий, Клавдии было так хорошо на руках Лаврентьева, что она согласилась бы вывихнуть и вторую ногу, лишь бы он все нес ее, нес бесконечно долго и никогда бы не отпустил. Она тоже слышала стук его сердца и незаметно еще крепче прижималась щекой к его плечу. Откуда было знать это Лаврентьеву? Состояние Клавдии он объяснял болью в ноге и все убыстрял и убыстрял шаг.

На полпути Лаврентьев выбился из сил, но скорее готов был свалиться в изнеможении, чем выпустить из рук свою бесценную ношу.

Пройдя километр-полтора, он все-таки вынужден был ее выпустить. Смущенно поставил Клавдию на ноги и свистнул несколько раз. Это был условный сигнал для Звездочки. Звездочка услышала, вскоре примчалась, гулко стуча копытами о плотную, не тронутую дождями землю.

Клавдия уже не пыталась протестовать, когда он подсаживал ее в седло, когда шел рядом и придерживал, чтобы не упала.

— Савельич! — крикнул Лаврентьев старику, подойдя к парому. — Живее! Клавдия Кузьминишна повредила ногу.

Савельич видел: пререкаться не думай, ухватился за канат, заработал жилистыми сухими руками, погнал паром наперерез течению. Отставшая бабка хлопала на берегу руками по бедрам и что-то кричала — казалось, кудахчет наседка.

Лаврентьев хотел доставить Клавдию прямо в амбулаторию, к Людмиле Кирилловне. Но Клавдия, когда поровнялась с крыльцом своего дома, сказала:

— Дальше не поеду. Хочу домой. И вообще мне ничего от вас больше не надо.

Оставив ее на постели, Лаврентьев выбежал на улицу, вскочил на Звездочку и помчался к амбулатории. Людмилы Кирилловны там не было. Погнал к ней домой. Людмила Кирилловна обедала.

— Прошу вас... — сказал он, запыхавшись от быстрого подъема по лестнице. — Клавдия Кузьминишна нуждается в вашей помощи.

Людмила Кирилловна поднялась из-за стола и вытерла губы салфеточкой. Она смотрела спокойными, меняющимися в оттенках, чуть насмешливыми глазами, хотела бы, наверно, сказать: «Как вы взволнованы, Петр Дементьевич. Не ожидала от вас, такого рассудительного», — а стала расспрашивать о том, что случилось с Клавдией. Ничего не поделаешь: к ней пришли не как к Людмиле Кирилловне Орешиной, а как к врачу, от нее ждали не сарказмов, а помощи.

— На лошади можете? — спросил Лаврентьев, когда вышли на улицу.

— Могу, отчего же. Я была на войне. Все могу. Но пойду пешком, недалеко.

Лаврентьеву казалось, что Людмила Кирилловна идет слишком медленно. Он ее опережал, ведя Звездочку в поводу, но не оглядывался, знал, что встретит невыносимо спокойные, полные грустной иронии, устремленные на него глаза.

Возле Клавдиной постели Людмила Кирилловна присела на стул, ощупала опухшую щиколотку, вытащила из-под одеяла тонкую руку, шевеля губами, отсчитывала пульс, но смотрела не на часы, а внимательно и ревниво разглядывала ту, кого ей, Людмиле Кирилловне, предпочел Лаврентьев. Чем рыжая его привлекает? — непонятно. Да и понимать не хотелось.

— Все-таки надо в амбулаторию, — сказала она. — Прикажите отвезти, пожалуйста. Опасности, конечно, нет, только неприятность.

Лаврентьев окликнул мальчишек, вертевшихся на

улице, велел сбегать на конюшню, чтобы Носов запряг и пригнал рессорную тележку.

Клавдию отвезли, фельдшер Зотова с тетей Дусей повели ее под руки по коридору. Лаврентьев присел на крыльцо амбулатории, на теплые, нагретые солнцем доски. Звездочка терлась мордой о его плечо.

— Иди домой, — потрепал он ее по шее. — Все, на сегодня отработала. Иди.

Звездочка послушно повернулась, пошла мелкими танцующими шажками по дороге, фыркнула на козла, который глодал кору на ветле, попыталась затоптать кудлатого пса, выскочившего из подворотни, потом вдруг вскинула задними ногами, скрылась в клубах пыли и вместе с пылью унеслась в сторону конюшни.

5

Лаврентьев налегал на весла, лодка быстро скользила вниз по течению. Он исподлобья поглядывал на Людмилу Кирилловну, сидевшую на корме, и мысленно усмехался: вот кадр, так недостающий в ее альбоме. Река, лодка, герой и героиня, только бы еще ворох лилий сюда...

Как это произошло, что без всякого на то желания он отправился кататься? Он просидел на крыльце минут сорок. Вышла, вытирая руки полотенцем, Людмила Кирилловна.

— А вы еще здесь, Петр Дементьевич! Необыкновенно хорошо. У меня к вам большая просьба... Покатайте меня на лодке.

— На лодке?! Людмила Кирилловна...

У него в глазах была, видимо, такая растерянность, что Людмила Кирилловна засмеялась:

— Пять-шесть дней, и ваша подруга пойдет домой, все, что надо, мы ей сделали. Кататься можно вполне спокойно, с чистым сердцем.

— Насчет подруги, это...

— Меня не касается, да? Согласна.

— Нет, не то. Просто вы ошиблись.

— Неразделенное, значит, чувство? Это хуже. А на

катанье все-таки настаиваю. Мне надо с вами поговорить. Сама судьба нас столкнула сегодня. Я хотела оставить вам письмо. Но зачем письмо, когда наконец состоялась долгожданная встреча.

— Почему? Почему оставить? Где оставить?

— Идите за веслами, и все выяснится. Я хочу кататься на лодке, слышите?

Она пошла к реке, Лаврентьев свернул во двор Карпа Гурьевича, взял весла под навесом и догнал ее у самой воды. И вот они плывут — зачем и куда?

— Не буду вас мучить, товарищ влюбленный, — заговорила Людмила Кирилловна, когда поровнялись с заброшенной церковкой. — Я всегда была откровенной с вами, возможно слишком откровенной. Нет нужды скрытничать и сегодня. Знаете вы или нет — это наша последняя встреча, последний разговор! .. — Голос Людмилы Кирилловны дрогнул. — Да, последний. Я уезжаю... В субботу. Сегодня — среда. Мне бесконечно тяжело... Бесконечно горько... Я не могу вас ни в чем винить, ни в чем упрекать. Вы не дали мне ни малейшего повода думать, что я имею на вас какое-то право. Но мы встретились, там еще, в сарае, скрываясь от дождя... Помните? Потом вы были у меня, дружески так, хорошо беседовали. Во мне возникла надежда... выросла в большое чувство... Нет, нет, не говорите ничего, молчите! Дайте высказаться мне. Для чего это я все открываю перед вами, зачем? Чтобы вы не думали обо мне плохо, Петр Дементьевич, чтобы поняли меня, чтобы хоть изредка вспоминали. Да, вы ни в чем не виноваты. Ну, не понравилась, не понравилась — что поделаешь. Мне тоже долгие десять лет никто не мог понравиться. Почему не понравилась — это другой вопрос. Может быть, тут была моя ошибка, может быть, устремив всю душу вам навстречу, я показалась... — она помолчала, — слишком доступной. Ужасно горько, если вы думаете так. За десять лет после мужа не было человека, который мог бы сказать эти два страшные слова. Я вам, кажется, уже рассказывала, что разуверилась в любви, в настоящих чувствах, — неудачное замужество было тому виной. А раз не было любви, не было и встреч. Зачем? Знаете, как

это бывает с одинокой женщиной? Сначала один, а раз был один, будет и второй, за вторым придет третий... Границы возможного и невозможного перестают существовать. Наклонная плоскость... Ходьба по ней имеет свои неумолимые законы. Я крепилась, держалась. Одинокой держаться трудно, ой, как трудно. И угрозы, и мольбы, и — боже мой — чего только на тебя не обрушат, вплоть до жалоб на загубленную жизнь, на нелюбимую жену, и так далее, и тому подобное. Прошла через все искусы. Вы, может быть, мне не верите? Вас, может быть, смущают мои альбомы? Да, альбомы полны фотографий мужчин. У меня есть от них еще и толстая пачка писем. Эти мужчины глядели в глаза смерти, они проливали кровь за родину, я просиживала ночи возле их постелей, я щупала их пульс и, когда он ослабевал, бежала за шприцем с камфорой и кофеином. Сняв госпитальные халаты, вновь надев старенькие гимнастерки, эти мужчины хотели, чтобы я непременно сфотографировалась вместе с ними. И я этого хотела. Альбомы с мужчинами — это моя биография, Петр Дементьевич, но биография не женщины, а медицинской сестры.

Людмила Кирилловна то бледнела во время своего рассказа, то заливалась густой краской волнения, то утирала слезы, то улыбалась виноватой улыбкой. Лаврентьев несколько раз порывался прервать ее, но Людмила Кирилловна махала руками, головой, не давала ему сказать слова и все рассказывала, рассказывала.

— Кажется, все! — всей грудью вздохнула она наконец. — Теперь мне легче.

— Вышло плохо, очень плохо. — Лаврентьев бросил весла, которыми и так давно перестал работать.

— Но зато очень честно и чисто. Мне отвратительны те женщины, которые, подличая, изворачиваются, лавируют, завлекают и увлекают — лишь бы добиться своего, какой угодно ценой и какими угодно средствами. Чистая цель требует чистых же и средств. Вот мое убеждение. Я остаюсь при нем. Вернее — с ним уезжаю. Завтра — мы получили телеграмму — к нам прибудет Катя Пронина. Райздрав направляет

ее в Воскресенское. А мне разрешили поехать в институт усовершенствования врачей. Не думайте, это не бегство женщины, утратившей силы и сломленной судьбой. Нет, но нам лучше не видеть и не встречать друг друга. Тогда, возможно, у нас останутся хотя бы теплые воспоминания. У меня, по крайней мере. После института я снова вернусь в деревню, я ее полюбила.

Вечер спускался над рекой, лодку несло течением, под бортами лопотала вода. В темнеющем небе, как искра, проступила яркая голубая звезда.

В эти минуты Лаврентьев был ненавистен себе. Кто он такой, вставший на пути этой женщины? Зачем он возник тут и причинил ей столько горя?

— Людмила Кирилловна, может быть, не вам, а мне уехать? — сказал он тихо. — Вас здесь так любят, так привыкли к вам.

— Петр Дементьевич, не обманывайте ни меня, ни себя. Вы никуда не уедете. Вас растрогало мое горе. Это лишнее свидетельство, что я не ошиблась в вас, что вы очень хороший человек. Но вы, повторяю, никуда не уедете. Для вас — знаете же отлично это — дороже моего покоя, дороже самого себя, дороже вашей Клавдии дело, начатое вами в Воскресенском. Я слыхала о нем. Мне жаль вашу Клавдию.

Они вернулись в Воскресенское заполночь, потому что их снесло километров на восемь и грести против течения было трудно, подвигались медленно.

Лаврентьев примкнул лодку к плоту, вышел за Людмилой Кирилловной на берег.

— Провожать меня не надо, — предупредила она. — Простимся тут. Будьте здоровы, Петр Дементьевич. Желаю вам только счастья, много счастья.

Он держал ее мягкую узкую руку и ужасался: неужели в последний раз эта рука в его руке?

Она осторожно, но настойчиво отняла руку, повернулась и пошла, освещенная луной, гибкая, стройная, и такая как будто бы близкая, что разве можно ее терять? Вместе с нею уходил навсегда большой и значительный кусок жизни Лаврентьева в Воскресенском, ставший дорогим только теперь, когда думать о нем можно было лишь как о чем-то минувшем.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

По окончании основных осенних работ, после уборки и молотьбы, в Воскресенском устроили праздник и назвали его Днем урожая. В школьном зале был общий стол, были вино и обильные закуски. Прежде чем приступить к питиям и яствам, говорились речи. Когда выступил Антон Иванович, его сразу предупредили: «О миллионе. Толкуй, председатель, о миллионе. Заработали или нет? Есть ли он в колхозной кубышке?»

— В кубышке, дорогие граждане, миллиона я не наблюдаю, — ответил Антон Иванович. — Да и, в общем и целом, судить о полных итогах рановато, не подбили сальдо, щелкаем пока на счетах. Что известно? Про полеводство известно. Урожай плановый вытянули. Ульян Анохин и наши комсомолки — за них чокнуться сегодня желаю от всей души — своим достижением на пшенице подняли общую среднюю цифру по колхозу, — значит, что? Значит, с хлебопоставками мы не последние в районе. На трудодень хлеба будет. Не так уж, чтоб через край, но будет. Животноводству кормов на зиму тоже, можно надеяться, что хватит.

— Ну, а миллион, миллион?! — крикнули.

— Миллион? Как я буду о нем говорить, граждане, ну как? Овощишки еще возим да возим, мед не реализовали, у животноводов год не кончен — осенние опоросы идут, дойка продолжается. Главная сила наша, овощные семена, в мешках лежит, — попробуй тут судить о миллионе! Эдак, если общим глазом окинуть, вроде бы что-то такое близкое к делу виднеется. А конкретно, вынь да положь, полный баланс, — извиняюсь. . .

— С селом-то, скажи, как? Скринемся иль нет? — задал вопрос кто-то из стариков. — Зóрить будешь гнезда?

Антон Иванович, хоть он и махнул тогда рукой и обозлился на Карабанова, не мог не понимать, что Карабанов, в сущности, был прав, предупредив воскресенцев от увлечения планом перенесения поселка. О плане

своем он теперь не поминал, старался пересилить себя, бороться за миллионный доход только во имя укрепления общественного хозяйства и высокой стоимости колхозного трудодня, но в душе мечта его продолжала жить. Он, правда, многое из того, что было вычерчено на листе александрийской бумаги, уже стер резинкой, — а все-таки лист этот был ему попрежнему дорог. Не он, не Антон Иванович, начал сегодня разговор о переселении из низины на верхние места, но поскольку разговор начат и заданы вопросы, ответить на них надо.

— Зо́рить! Какие слова говоришь противусмысленные, — с укором ответил Антон Иванович. — Не зо́рить, а переносить на другое место. Точно, перенесем, не сразу, понятно, исподволь. Может, и не в этом году, а в том, следующем, а перенесем. Важно что? Важно то — силу свою почуяли.

— Дрова ломать!

— Да оно, Воскресенское наше, только и годно что на дрова, — послышался рассудительный голос Карпа Гурьевича.

— Кто съедет, а кто и нет, — не унимался все тот же старик. — Вот Савельич толкует — никуда не скринется.

— Про Савельича решено, — заявила Дарья Васильевна. — Оставляем на месте. Авось, в одиночку-то его избу половодьем снесет, уплывет, что Ной в ковчеге, в лесные трущобы. Лапу ему сосать там, с медведями, сподручней, чем с нами, с людьми.

— Савельича не замай! — крикнул сам Савельич. — Савельич до прокурора дойдет, до правительства и партии за издевку над старым человеком. Не имеете права! В конституции что записано? Обеспеченная старость! Изгаляетесь — к медведям! . . Мне медведь не кум и не свояк.

— А взревел, что медвежий сродственник. На-ка, выпей лучше, — Карп Гурьевич налил ему в стакан. — Да не порти людям жизнь.

Пили, ели, гудение стояло в зале от застольного собеседования, каждый старался что-то объяснить и втолковать соседу. Все, конечно, были правы.

Лаврентьев сидел между Дарьей Васильевной и

Елизаветой Степановной. Они ухаживали за ним, подкладывали куски на тарелку; Илья Носов, чуть не ложась животом в блюдо с винегретом, тянулся через стол, подливая вина в его стакан. Ни пить, ни есть не хотелось. На противоположном конце стола Георгий Трофимович и Катя Пронина, новый врач Воскресенского, развлекали Клавдию и, кажется, небезуспешно — у Клавдии на лице появилась улыбка, что бывало редко. Лаврентьев, во всяком случае, Клавдиной улыбки еще ни разу не видал. Улыбка делала ее совсем привлекательной. Лаврентьев еще от матери слыхивал, что хорошего человека улыбка красит, скверного безобразит. Клавдию она красила, явно красила. Куда только и девалась гордячка с холодным взглядом. Он видел перед собой милую, молодую и жизнерадостную женщину. К сожалению, такой она была не для него. Он надеялся, что после случая в заречье все переменится. Ничто не переменилось. Клавдия вернулась из больницы домой и снова избегала встреч, снова стала чужой и далекой. Будто и не нес он ее на руках как девочку, будто и не прижималась она горячей щекой к его плечу.

Чужая душа — потемки. В потемках Клавдиной души соседствовали противоречивые чувства. Клавдия не могла забыть те неожиданно встревожившие ее минуты, когда Лаврентьев нес ее на руках. Во всем теле как бы еще отдавался, не умолкая, тяжелый стук его сердца. Она хотела бы пойти навстречу этому человеку, но не могла, смертельно боялась взгляда на себя сверху вниз. А как иначе может смотреть Лаврентьев? Он же выше ее во всех отношениях, выше и сильней. Это Клавдия вынуждена была признать против своей воли, против желания. Одно такое признание само по себе заставляло ее избегать Лаврентьева и думать о нем враждебно. Никто над ней не верховодил и не будет верховодить. Верховодить должна она.

Люди сильных характеров трудно сходятся.

За окнами стемнело, зажглись электрические лампы. Их было лишь три под потолком, но, яркие, сильные, они не только вполне заменяли те пятнадцать или двадцать «молний», какие в феврале развешивал на

потолочных крюках Антон Иванович, но и в несколько раз превосходили их по яркости и мощи света. В зале не осталось ни одного сумеречного уголка. Столы убрали, начались танцы. Свет вздрагивал, лампы и мигали и по временам гасли. На это никто, кроме Антона Ивановича, не обращал внимания. Веселились. Антон Иванович впервые после операции кишок выпил стопочку — за здоровье Асиных комсомолок, и с непривычки слегка осоловел.

— Павлуша, — манил он пальцем Павла Дрёмова. — Ты начальник электричества. Чего оно мигает? Поди-ка, брат, на станцию, удостоверься.

Павел танцевал с Асей и вел с нею страшно важный и совершенно безотлагательный разговор.

— Чего ходить? — отмахнулся он. — Регулировка автоматическая. Заправил на всю ночь. А мигает? Ветер же на улице, провода схлестывает.

— Ну гляди, брат! Чтоб без осечки! Вздрючим, ежели что. Понимаешь, какова задача?

— Понимаю, понимаю. — Павел оглядывался. Асю уже подхватил шофер Колька Жуков. Черти бы его съели, левача.

Илья Носов, покинув школу, тихо брел по селу. Он свое съел и выпил, в смысле выпивки и чужого, пожалуй, прихватил. Делать ему в школе было уже нечего. Ну, прошел по кругу разик-два, до коих же пор на каблуках вертеться. Не молоденький — возле пятидесяти возраст. Его дело бобыльское и неприкаянное. «Только в смерти ресница густая не блеснет безнадежной слезой», — себе под нос гудел он песенку, слова которой лет двадцать назад вычитал в нотах Ирины Аркадьевны, а мотив, не зная черных секретных значков, подобрал сам — жалостный, душу скребущий мотив. Трижды в своей жизни красавец цыганский сын имел намерение жениться, и каждый раз не получалось у него. От планиды такой тишком в сильных дозах потреблял спиртное. Запрется в избе, один на один с полупустой бутылкой останется и пойдет тянуть: «Спи спокойно, моя дорогая, только в смерти желанный покой». Кокетничал со смертью, а сам и думать о ней

не думал, — жизнь любил всей душой. Протрезвеет наутро — пашет, косит, молодых коней объезжает, скачет на них через изгороди, что дикий человек, — кочевая кровь в жилах бродит, дает себя знать. Помоложе был — на охоте пропадал, зайцев носил десятками, раздавал соседям; лисами обвесится, с медведями врукопашную схватывался — с одним ножом в руках. Обдирали его, мяли, кости вредили — все заживало, как на волке, проходило бесследно.

Да, жизнь Илья Носов любил, а она его не очень. Заглядываться девки, конечно, заглядывались, позже вдовицы дарили вниманием, но и тем и другим он был, видать, что портрет — постреляют глазами, повертятся около и точка. Замуж ни одна не согласилась выйти. Какая сила отпугивала их? Не тени ли отцов и дедов носовских, конокрадов, поножовщиков, в огне кончавших жизнь, на каторге? Неужто об этом помнили и этим тревожились? А может, просто диких глаз его пугались, когда объяснялся в душевных чувствах.

«Только в смерти ресница густая. . .» — бубнил он, покачиваясь, шел неизвестно куда, навстречу ветру и дождю, мелкому, как пыль. Он думал, что отворяет дверь конюшни, а увидел перед собой внутренность бревенчатой избушки, которую в колхозе называли гордым именем электростанции. Увидел — и хмель с него сдуло: двигатель сорвался с места, стоял вкось от угла к углу избенки, и не стоял, а при каждом ударе поршня полз то вправо, то влево. Оттого и свет мигал.

— Эй, люди! — гаркнул Носов, выскочив на улицу. Ночь шумела ветром в ответ.

Кинулся обратно. На полу лежал ржавый погнутый лом, каким зимой колют лед на реке, схватил его и, подсовывая под сосновые брусья, на которых был смонтирован двигатель, стал ворочать тяжкую махину.

— Говорено им было, — бормотал он, — на бетонный фундамент ставить. «Временно, временно!» Скоб набили, радуются. Что эти скобы? Тьфу!

Силища огромная, — одолел, всадил лом в щель пола, с натугой держал двигатель на месте. Но только

отпустит руку, он опять ползет, — и лом гнется, и брусья трещат. Лягнул дверь ногой, оставил распахнутой.

— Народ! — кричал. — Пляшете, ни лысого дьявола не знаете. Сюда, говорю! Сюда!

Ему становилось трудно единоборствовать с машиной, толчки ее рвали руки в суставах.

— Чего ты кричишь, дядя Илья? — В дверях стояла Марьянка в черной шали поверх пальто — от дождя накинула. Модница бегала домой переменить туфли. Такие фасонистые, на высоченных каблуках надела по началу, что пальцы болью зашлись.

— Авария, гляди. Сорвало. Беги живо! .. Постой хотя. Не бегай. Подержи чуто́к, одну минутку. Вот за это... здесь... выше берись, легче будет.

Испуганная Марьянка послушно ухватилась за лом, где указывал Носов, ее сразу потянуло на двигатель. Она уперлась ногами в пол, напряглась вся. Носов же поднял топор и принялся обухом заколачивать вывернутые скобы. С каждой забитой скобой Марьянке становилось легче держать лом.

В полчаса все было закончено.

— Упарился. — Носов отшвырнул топор и сел прямо на пол, прислонясь к стене. — Передохни. Тоже, поди, замаялась.

— Побегу, дядя Илья.

— Неужто не напрыгалась?

— Антон искать будет.

— Не будет, в углу дремлет. И что это ты так думаешь — искать? Часа муж без женки не проживет, получается. Я полвека живу один — ничего, не скучаю.

— Кто же тебе, дядя Илья, не велел жениться?

— Эх, ты — не велел! Умом, Марьянушка, не вышла. Скоро судишь.

— Извините, если так. — Она повернулась к двери и попала прямо в объятия к Лаврентьеву.

— Что за посиделки? — спросил он.

Лаврентьев шел домой и, услышав голоса, заглянул на электростанцию. Удивился такому обществу: Носов и Марьяна.

— Не посиделки, а героический подвиг, — ответил,

не вставая, Носов. — Двигатель сорвало, ставили на место. Седай рядом, Петр Дементьевич. Тоже, гляжу, на танцы не горазд.

— Да разошлись все, одна молодежь осталась.

— И Антон Иванович ушел? — забеспокоилась Марьяна.

— Ушел.

— Ой, побегу! — В темноте за дверью метнулась и исчезла черная шаль с кистями.

— Покурим, Дементьич. — Носов подвинулся у стены. — Посиди возле.

Он принялся длинно и мрачно рассказывать историю своей неудачной любви к какой-то Варьке, которая в конце концов наплевала ему в душу. И чтобы показать, как это было сделано, зло и досадливо сплюнул прямо на двигатель. Потом подобрал с полу ржавую гайку и так же зло швырнул ее за порог. В дверь тотчас ворвался Антон Иванович, мокрый, без шапки.

— Илья! Что делаешь-то, что делаешь! Ты... ты!.. — Антон Иванович зашелся, не находя слова. Лаврентьев еще никогда не видел председателя в таком расстройстве.

— А что ты взыграл? — обиделся Носов и встал с пола. — Чего лаешься? — огрызнулся он, хотя Антон Иванович в своем расстройстве не сказал ему ни единого бранного слова.

— Марьянка... Беременная баба... Ломы ворочать заставил!

— Эх, мать пречистая богородица! — Носов полез под шапку пятерней. — Знато б было... Не акушерка же я, Антон.

Антон Иванович неистовствовал и горевал вслух. То, что Марьянка забеременела, было для него великой радостью. Он до этого сокрушался: «Ожирела ты, Марьянка, расплылась, бесплодная стала. Беда какая!» Ему хотелось сына, непременно сына. Дома он то и дело обнимал теперь Марьянку, целовал в плечо, в шею, твердил одно и то же: «Вот человек родится — и знать не будет, какое такое было село Воскресенское. Ни жаб в подпольях не увидит, ни половодья, ни гнилых стен. Ему и в метриках запишут: место рожде-

ния — поселок Ленинский. Чуешь, дуреха? До чего счастливый человек в тебе сидит!»

— Беда, беда будет, — ты, Илья, ты один виноватый, — кричал он. — Никогда не прощу. Последний враг!..

— Антон Иванович, поспокойней, — сказал, поднимаясь, Лаврентьев. — Все обойдется. Марьяна Кузьминишна не из слабеньких. Носов сейчас запряжет тележку — и к врачихе. Иди домой, иди. Простудишься.

2

Приехал Карабанов. Был озабочен.

Стояла та пора, когда по утрам каменеет почва, когда в дорожных колеях иней и ледок, когда можно встать однажды с рассветом и увидеть, что уже зима на дворе. Время свершило свой круг. В такую пору год назад Лаврентьев бродил по колхозным угодьям и службам и мучил себя мыслью, где же и каково его место среди новых людей, способен ли он принести им какую-либо пользу, — они без него, казалось, прекрасно обходились.

Но год миновал, и без агронома в колхозе теперь ничего серьезного не делалось. И даже Карабанов, секретарь райкома партии, приехал в Воскресенское именно из-за того дела, которое затеял он, Лаврентьев.

Карабанов собрал колхозный актив в правлении. Был приглашен сюда и Георгий Трофимович. Здесь под нажимом Лаврентьева Антон Иванович все-таки произвел за лето необходимые изменения. Отгородили комнатушки для счетовода и для председательского кабинета — в три шага длиной, помещение для заседаний оклеили свежими обоями, поставили новый стол, стулья вместо прежних скамеек и лавок, выкрасили пол, окна, двери и сделали крыльцо. Кто-то принес на подержание большой фикус, и в бывшем свинушнике, как правленческую избу называл в свое время Антон Иванович, стало приятно посидеть.

— Товарищи! — Карабанов окинул долгим испытующим взглядом собравшихся, все знакомые ему

лица. — Вчера со мной разговаривал секретарь областного комитета партии. В самый кратчайший срок мы должны с вами подготовить детально и солидно обоснованный материал для облисполкома о том, как с нашей точки зрения должна быть решена проблема осушки и коренного окультуривания воскресенских земель. Дело, конечно, ставится шире, оно, не сомневаюсь, коснется всего Междуречья, но ваш материал ляжет в основу дальнейших разработок. Настало время основательно решать задачу поднятия урожайности наших полей. Иначе — вечно здешние колхозы будут бедствовать и жить на голодном пайке. Полумерами не обойтись.

Лаврентьев слушал, и его охватывало волнение.

Партия — сначала через колхозную партийную организацию, дальше через райком, а вот уже и через обком — услышала голос одного из своих коммунистов, увидела его усилия, его готовность к решительному переустройству природных условий хотя бы на небольшом клочке родной земли и сказала: надо поддержать, взять задуманное дело в большевистские руки. Коммунист, которого услышала партия, — это он, Лаврентьев; он вырастал в собственных глазах, ощущал в себе такой прилив энергии, какого, пожалуй, у него еще никогда не бывало, даже в дни самых горячих сражений. Его услышала партия! Значит, он поступал и мыслил правильно, значит, он не зря, не напрасно носил в кармане партийный билет; а еще все это значит, что впереди громадная, захватывающая работа. Так построена партия большевиков, так построено Советское государство: инициатива идет и сверху и снизу, но вверху всегда подхватят, поддержат все ценное, дельное, идущее снизу, и тогда оно становится общим делом партии, общим делом государства. Тот, кто сидит в своей норе, ждет только указаний, указаний и указаний, — если разобраться, безусловно лишний в нашей стране человек. Теперь этот обратный ход нетрудно предугадать: начатое в Воскресенском приобретет вверху силу плана, и партия потребует от Карабанова и Лаврентьева, чтобы план был выполнен. Много придется потратить сил, ума, энергии, времени, куда

больше, чем тратится сейчас. Может быть, поэтому премудрые люди типа Серошевского так тихо и живут, чтобы текли дни за днями без лишних хлопот, по заведенному распорядку. Начнешь что-нибудь новое — с тебя же и потребуют продолжить и закончить его.

Лаврентьев думал иначе, чем Серошевский. Вся радость жизни, казалось ему, была заключена в том, чтобы новый день приносил с собой новое, пусть трудное, едва одолимое, но лишь бы новое. Жизнь — это развитие, движение вперед. Отсиживаться в норе, отсчитывать дни, идущие без волнений, — прозябание. Зачем тогда было родиться человеком?

— План работ, — говорил Карабанов, — составят потом специалисты. Мы только расскажем о наших требованиях, о проведенных нами исследованиях и изысканиях, о наших предположениях и той доле труда, которую мы можем внести и внесем в решение проблемы Междуречья. Кто хочет взять слово?

Выступил Георгий Трофимович. В правлении стоял мягкий сумрак осеннего дня, и геолог снял свои желтые очки; то на Карабанова, то на Дарью Васильевну, или на Лаврентьева с Антоном Ивановичем переводил он взгляд серых, щурившихся глаз, — глаз, которые видели и систему каналов в Фархадской долине, и Большой каскад Севана, и подземные протоки Невинномысской и Маныча, и множество иных сооружений, воздвигнутых людьми во имя расцвета советских земель. Глаза эти видели сквозь летящее время, вероятно, и те каналы, которые изрежут болотистую низменность меж Кудесной и Лопатью. Он, пока Лаврентьев был занят уборкой хлебов, подъемом зяби, обмолотом, много поработал и имел ясное представление о водном режиме Междуречья. У него были намечены примерные трассы каналов, места расположения плотин и водосбросов, вычерчены планы и схемы, — их передавали из рук в руки, разглядывали, шептались над ними.

За Георгием Трофимовичем выступил Лаврентьев, затем взяла слово Дарья Васильевна. Они говорили о том, как им представляется организация будущих работ.

— Все понятно, — подвел итог Карабанов. — Сроку у нас два дня, за эти два дня надо составить подробный толковый документ. Мы его рассмотрим на райисполкоме, придадим ему законную силу и отошлем в область. Приступим, товарищи, к делу. Где отчет почвенной экспедиции?

— Никита Андреевич! — Все говорили сидя. Антон Иванович встал, в глазах его была решимость. — Водная проблема — еще не все, извините. А село? Будем мы его переносить или нет?

— Как со средствами?

— Найдем средства. Годовой отчет подбивается. Подходящие средства. Силы найдем, все найдем. — Антон Иванович разгорячился. — Никакого интереса не вижу у районных организаций. Не можем мы бедовать в гнилой ямине. Сами говорите: культуру полей будем подымать. Значит, специалистов понадобится разных немало. Где они будут жить у нас? Да они сбегут от таких условий! Свои, и те разбегаются в города. Если вы не решите вопрос, в Москву тогда писать буду. Нам не нянька нужна, не бутылка с соской, нам скажите прямо — правильная затея или нет. Если правильная — засучиваем рукава, скидаем пиджаки, за топоры беремся. Если нет. . .

— Опять скидаем пиджаки, и опять топоры в руки? — Карабанов рассмеялся. — Интерес, Антон Иванович, у районных организаций есть. Но мне кажется, вопрос о новом селе будет решаться в общем комплексе междуреченской проблемы. Я не против, давай заодно вынесем и его на исполком. Благословим, подумаем о лесе, о материалах. Одних засученных рукавов ведь мало. Так где же отчет почвенной экспедиции? Давайте его сюда, Георгий Трофимович. Возьмем из него мысли для констатирующей части, для преамбулы, как говорят дипломаты. . .

На заседание президиума райисполкома явились все — Антон Иванович, Лаврентьев, Дарья Васильевна и Георгий Трофимович. Видя умоляющий взгляд Кати, которая провожала мужа как в дальнюю экспедицию — повязывала ему шарф на шею, совала в карманы носовые платки и бутерброды, — Антон Иванович

заявил: «Товарищ геолог — в кабинку с шофером, мы — в кузове». Втроем уселись за кабинку на сенник, ехали молча; Лаврентьев держал на коленях пакет, похожий на стопку книг, завернутых в газету.

О гидросистеме докладывал исполкому Лаврентьев, содоклады сделали Георгий Трофимович с Антоном Ивановичем. Антон Иванович ратовал за новый поселок. В колхозе он говорил только о топорах, тут развернулся, потребовал, назвав цифры, множество бревен и досок, стекла, гвоздей, кирпича, извести, цемента. Районный инженер-строитель только ахал при каждой новой цифре.

— Лесу дадим, — бросил реплику председатель исполкома Громов. — Кругляку. Доски сами пилите. Устраивайтесь как-нибудь. А то вы этак весь район на ваш колхоз работать заставите.

Лаврентьев наблюдал за главным агрономом. После заседания, закончившегося выговором, он с ним не встречался, получал по почте его агротехнические директивы на папиросной бумаге, выслушивал устные распоряжения, передаваемые через специалистов отдела сельского хозяйства, которые приезжали в колхоз, но сам к Серошевскому, бывая в городе, не заходил и даже по телефону не разговаривал.

Серошевский сидел молчаливый, — он был уязвлен тем, что решение о выговоре Лаврентьеву отменили, струхнул тогда немало от резких, сказанных в его адрес слов, пообещал себе держаться в дальнейшем осторожней и смотрел теперь по обыкновению в верхний угол кабинета Громова. Поблескивали его очки да вращались один вкруг другого большие пальцы рук, сцепленных на столе. У него был такой вид, будто все, о чем тут говорилось, ему крайне безразлично. Но это было не так. Серошевский внимательно слушал и взвешивал каждое слово, особенно слова, сказанные Лаврентьевым.

Отвечая на вопрос зоотехника, планируется ли в колхозе отдельный кормовой севооборот, Лаврентьев заговорил о том, что вообще все севообороты — и полевой, и кормовой, и на овощных участках — придется в корне пересмотреть, что они составлены без учета

особенностей воскресенских почв и что он уже начал такой пересмотр, введя с будущего года еще одно поле клевера. Услыхав это, Серошевский немедленно поднял руку:

— Разрешите, Сергей Сергеевич?

— Прошу.

— Товарищи, мы все знаем агронома Лаврентьева, — заговорил Серошевский деловым, будничным тоном. — Инициативный, вдумчивый агроном. Я признаю свою ошибку, совершенную мною на исполкоме летом. Перегнул. Своевременно меня подправили. Но, извините, агроном Лаврентьев снова, по-моему, заблуждается. Во-первых, клевера в Междуречье, давно доказано, вымокают. Целое поле, следовательно, будет работать вхолостую. Во-вторых, что же это такое! Опять самостийность. Он ломает, пересматривает севооборот — святая святых планового землепользования, а мы об этом ничего не знаем. Разве трудно было согласовать с районом? Ум хорошо, два лучше. Я разослал инструкцию о севооборотах... Кстати, во избежание анархии и для проверки исполнения мною разработана система. Она заключается в том, что при каждой инструкции, вышедшей из отдела сельского хозяйства, имеется отрывной талон. Адресат обязан расписаться на нем: получил, прочел, и отослать обратно. Ни единой расписки от агронома Лаврентьева, простите, мы не получили.

— Давно введена такая система? — спросил Карабанов.

— Уже четыре месяца, — с готовностью ответил Серошевский.

— Жаль, не знал об этом раньше. Я, кажется, вас прервал. Продолжайте.

— Я, собственно, уже кончил, Никита Андреевич. Я выступил с целью сказать о несколько вольном отношении агронома Лаврентьева к агротехническим указаниям, исходящим от руководящих организаций. Для всех они обязательны, только для товарища Лаврентьева — звук пустой. Я считаю...

— Слова! Прошу слова! — Лаврентьев поднялся, подошел к столу президиума, разложил на углу пачку

папиросных листов, густо исписанных на машинке, и раскрытую книгу; как показалось встревоженному Серошевскому, в ней были стихи.

— Прошу не думать, товарищи, — заговорил Лаврентьев, хмуро поглядывая на членов президиума, — что я выступаю в порядке самозащиты. Я выступаю в защиту сельского хозяйства нашего района. Даже если бы сейчас передо мной не говорил о своих инструкциях товарищ Серошевский, о них заговорил бы я. Это мой особый вопрос исполкому, но он связан со всем предыдущим, и думаю, что и с последующим. Мы знаем об агротехнике передового земледелия, мы слышим о ней повседневно, мы о ней читаем в газетах, ее разрабатывают передовики социалистических полей и советские ученые. Она творит чудеса. Что же происходит в нашем районе? Как высока агротехника и как ею руководят? Прослушайте, пожалуйста, — он взял в руки раскрытую книгу, — несколько строк, не очень понятных, но очень поучительных:

Ранней весной, когда от седых вершин ледяная
Влага течет и Зефир рыхлит праховую землю,
Пусть начинает тогда мычать при вдавленном плуге
Вол и пусть заблестит сошник, бороздою оттертый.
Нива ответит тогда пожеланиям всем хлебопашцев...

— Дальше:

Также терпи, чтобы год отдыхало поле под паром,
Чтоб укрепилось оно, покой на досуге вкушая;
Или златые там сей — как солнце сменится — злаки,
Раньше с дрожащим стручком собрав горох благодатный
Или же вики плоды невеликие, или лупинов...

Тяжелый гекзаметр непривычно звучал в кабинете председателя райисполкома. Люди слушали, переглядывались, недоумевая, кое-кто думал: «Неужели это Серошевский написал? С ума сошел, что ли, — стихами!»

— Если не очень надоело, еще несколько строк. — Лаврентьев перевернул страницу:

А с промежутками в год — труд спорый: лишь бы скупую
Почву вдоволь питать навозом жирным, а также
Грязную сыпать золу поверх истощенного поля.

— Я, конечно, мог бы читать и читать сотни таких строк необычного наставления земледельцу. Но прочту десяток строк из другого наставления. Вот они: «Весновспашку надо начинать, как только оттает земля, отбросив так называемые «сырые настроения». Чем раньше, тем лучше, потому что. . .» Ну, это неважно — почему. Слушайте: «Ни в коем случае нельзя выворачивать подзол, если в колхозе нет достаточного количества навоза». Это вам не что иное, как стихотворение «будет довольно ее поднять бороздой неглубокой». Сравним дальше: «отдых поля под паром», «вкушение покоя на досуге», «обиду от плевл», «дрожащие стручки гороха» и «вики плоды невеликие», затем «жирный навоз», «грязную золу», «пользу от мотыги», «наклоненный в сторону плуг меж гряд» с тем, что мы услышим еще. — Лаврентьев перебирал листы папиросной бумаги, читал общие, давно известные положения о плодосмене, о нормах внесения золы и навоза в почву, о пропашке борозд и окучивании. Говорилось это проще, понятней, чем в книге, но ничего нового по сравнению с ней слушателям не давало.

— Где же, товарищи, яровизация? Где черенкование картофеля? — спрашивал Лаврентьев. — Где обработка почвы, рекомендованная академиком Вильямсом, где увеличенные нормы высева? Где сознательный, а не механистический подход к каждому полю, к каждому растению? Где указание на то, что земледелец — это творец, созидатель. Одни рецепты, готовенькие, общие для всех. Кому они нужны? . . К почвам, к условиям каждого колхоза нужен свой, особый, индивидуальный подход. Так я понимаю задачу специалистов сельского хозяйства.

Серошевский понял, какой неотразимый наносится ему удар, побледнел и, пока раздавалась взволнованная, гневная речь Лаврентьева, полная убийственных вопросов, он хватал из портсигара папиросы и курил их одну за другой, прикуривая от окурков.

— Что это за стихи и что за бумажки? — сказал Громов. — Назовите источники, товарищ Лаврентьев.

— Второй источник, вот эти листки, разбирать которые должен опытный шифровальщик, потому что

они в десятке экземпляров закладываются в машинку, — те самые бесчисленные инструкции, о которых хлопотал сегодня главный агроном. Написаны, согласно дате, аккуратно проставленной на каждом, в марте, в мае, в июне, в августе текущего года. Автор С. П. Серошевский. Первый источник — эта книга. «Сельские поэмы». Агротехника в стихах гекзаметром. Когда-то она была большим шагом вперед, и мы должны ей отдать заслуженную дань почтения. Но сейчас — это лишь памятник прошлому, и очень далекому прошлому. Написана книга, согласно дате, две тысячи лет назад.

— Две тысячи? — ахнул инженер-строитель.

— Да ну? — Громов заерзал в кресле. — Кто же автор?

— Виргилий.

В кабинете поднялся шум. Лаврентьева уже не слушали, говорили, удивлялись, возмущались все одновременно. Громов позабыл о том, что он председатель, тянул за рукав Карабанова, которого в свою очередь пытался повернуть к себе за плечо заведующий райфинотделом.

— Товарищ председатель, ведите заседание! — не выдержал Карабанов. — Базар получается, а не исполком. — Когда утихли, он взял слово. — Мы получили сегодня урок. Очень поучительный и очень серьезный. Глядим по верхам. Плохо знаем прошлое и еще хуже настоящее. Погрязли в делячестве. Товарищ Ленин предупреждал, что коммунистом можно стать, лишь овладев знаниями, накопленными человечеством. Товарищ Сталин постоянно указывает: учитесь, постигайте теорию, практика без нее слепа. А мы даже и за достижениями практики как следует не следим. Мы из рук вон скверно знакомы с богатейшим опытом передовиков сельского хозяйства. Я обращаюсь отнюдь не к одному товарищу Серошевскому, который, видимо, штампует свои инструкции по отсталым, давно опереженным руководствам. Для него бесследно прошел разгром реакционеров от биологии. Ничего не почерпнул главный агроном из мичуринской науки. Это факт. Но факт и другое. Мы, руководители, которые обязаны

были овладевать специальными знаниями, без которых современным хозяйством руководить нельзя, — мы больше обращали внимание на организационную сторону всякого дела, чем на техническую. Это — однобокость, это — промах. Виргилий! Черт возьми, в середине двадцатого века оказаться на позициях древнего Рима! .. Я отлично понимаю товарища Лаврентьева — понимаю, что он сознательно преувеличил степень отсталости агротехнических указаний, на которые так щедр наш отдел сельского хозяйства. Но ведь ясно же: вперед идем медленно, за наукой не следим, а значит — и отстаем, не так ли? А значит — от Виргилия не слишком далеко ушли. Позор! У нас есть Тимирязев, есть Мичурин, Вильямс, Костычев, Докучаев, — мы оглядываемся на Виргилия! Выводы придется сделать, и выводы серьезные, товарищи. Отдел сельского хозяйства не стал у нас штабом передовой агротехники. Это еще счастье, что в колхозах его инструкций не читают, а прислушиваются к голосу передовых земледельцев страны. Теперь о практическом...

Серошевский поднялся и пошел к дверям походкой, которая долженствовала выражать, что все на свете преходяще, — этакой походкой независимого человека. Но походка плохо маскировала его внутреннее состояние. Лаврентьев смотрел ему в спину холодными глазами. Иди, иди, Серошевский, за калитку с надписью: «Осторожно, собака», у тебя есть кубышка «на черный день», набивай папиросы табаком высшего сорта номер три. Ты еще, может быть, останешься работать в отделе сельского хозяйства, но пафосных речей твоих слушать уже не будут, ты ими уже никого не обманешь. Законы борьбы жестоки, особенно — законы борьбы за новое, за нарождающееся.

3

Решение районного исполкома пошло в область. Антон Иванович развил кипучую деятельность. В окно его кабинета декабрьские вьюги плескали сухим жестким снегом, который стучал по стеклу, как дробь. Один

за другим перед председательским столом появлялись руководители хозяйственных отраслей колхоза. Если это был Анохин или Носов, то вместе с председателем они так накуривали, что с трудом различали друг друга в сизом дыму.

По мере того как заполнялись графы счетоводных книг, контуры большого дохода вырисовывались все яснее и четче. До миллиона, правда, не дотянули, но были от него не так уж далеко. И чтобы так вышло, пришлось учесть каждый грамм зерна, каждую каплю меда, каждую вязанку сушеных яблок, молочную струю, звонко ударившую в подойник, шкуру забитого бычка и каждый клок овечьей шерсти. Много возни было с дядей Митей. Пчеловод не мог отрешиться от закоренелой привычки оставлять в ульях на зиму такое количество меду, что для всей пасеки оно исчислялось бочками.

— Ты пойми, дядя Митя, — втолковывал Антон Иванович, — какую ценность мы зря морозим. Прикинем-ка на бумаге, килограмм сколько стоит?

Председатель прикидывал, считал — множил и складывал; никогда еще за всю его председательскую деятельность ему не приходилось так дотошно и глубоко проникать в экономику колхоза. Обычно он осуществлял то, для чего придуман расплывчатый термин — общее руководство. Счетовод представлял годовые отчеты, их утверждали на правлении, и никто, в том числе и Антон Иванович, толком не знал — хозяйственно или бесхозяйственно распорядился колхоз своими натуральными доходами. Теперь Антон Иванович готов был в самом дальнем углу кладовых разыскать самый завалящий лишний чересседельник, поднять в поле самый хилый кочешок капусты, сброшенный с воза, и задуматься, как бы и где бы реализовать их повыгодней. А тут — бочки меду! . .

— На крайней скудости пчелку держать нельзя, — возражал дядя Митя. — Вдруг зима будет холодной. В холоде пчелка больше потребляет, и останемся мы к марту при пустых ульях. Несогласен, Антон Иванович, совсем несогласен.

Рядом с дядей Митей, на углу стола, из чего явство-

вало, что он семь лет не женится, сидел Костя Кукушкин и сопел носом. У него была своя бухгалтерия, собранная в папке, через которую косо шло тиснение: «На подпись».

— А вот и не останутся пчелы без корма, — вступил он в разговор взрослых. — Двадцать шесть пудов можем отдать свободно. На, гляди, нормы министерства. — Костя подал дяде Мите исписанный крупными буквами листок.

— Нормы твои мне ни к чему, — дядя Митя отстранил листок. — У меня свое собственное соображение имеется. Молод ты меня учить. Твой отец еще из рогатки по воробьям пулял, а я уже в пасечном деле не первый годок работал. Я, милочек Костенька, пчелку знаю, и пчелка меня знает. У нас с ней разногласий нету, не водится. Книжечки-бумажечки для этаких сопливеньких пишутся, с нашего, стариковского, опыта пишутся. Мы, старики, сами книга, — читать только ее надо с умом, прислушиваться к ней да разбираться...

Дядю Митю понесло, заговорил, не остановишь. Антон Иванович, не слушая его, взял у Кости листок с нормативами, подчеркнул несколько цифр карандашом, принялся множить.

— Верно! — Удивляясь, он обвел итог жирным овалом. — Точно! Двадцать шесть пудов зажимаешь, дядя Митя, без нужды.

— Ему веришь, врунишке? Чай, сам убедился, каков он есть, этот Костенька.

Что Костя Кукушкин — врунишка, так думать Антон Иванович оснований не имел, напрасно дядя Митя наводил на паренька тени. Если в чем и пришлось убедиться председателю, то только в излишней Костиной подозрительности. Криво усвоив принцип соревнования, Костя долго хранил верность этому принципу, — от дяди Мити он ждал подвохов постоянно. После того как по требованию Лаврентьева пришлось снять колючую проволоку, которой Костя старательно отгородил свой участок пасеки, он не успокоился — натягивал в траве незаметные нитки. Помешать конкурирующей стороне проникнуть в запретную

зону они, понятно, не помешают, но во всяком случае видно будет — ходил вокруг Костиных ульев дядя Митя или нет. Нитку он довольно часто находил оборванной, кричал на дядю Митю, вызывая этими криками со стороны старого пчеловода длиннейшие речи в защиту нравственности и морали. Не вытерпел и пошел жаловаться к председателю. Костя вообще признавал иметь дело только с председателем. К Лаврентьеву он никогда не обращался, считая, что агроном — это по растениеводству, по зерну, картошке, а пчелы не картошка.

— Костенька, — выслушал его Антон Иванович. — Мне нравится, что ты такой заботливый до общественного дела. Мы в твои годы про то не задумывались. Мы единоличники были, тебе даже и не понять, какая это штука — единоличник. Словом, за батькино поле держались, за батькин огород. А что там общество, что народ — хоть огнем гори, лишь бы мое в целости было. Нравится, говорю, твое умственное направление. Однако осечку придется тебе, друже, произвести на данном примере. Проволоку, нитку натянул — какое же это соревнование? Чему вас, чертей, в школе учили! Таблице одной да про имя существительное. Вот пойду ужо к Нине Владимировне, просмотрю ихние планы. Соревнование, товарищ Кукушкин, — по-взрослому с тобой разговариваю, — оно чего требует? Не только за себя думать, а и другим, знаешь, помогать. Вот эдак-то. Опытом помогать, советом, где надо и плечо подставить, подсобить. Плечо, заметь, а не ножку. Что толку — один вырвешься вперед! А какая другим польза? Ты малая росинка в человеческом море-океане. Как там ни вырывайся, как в гору не лезь, тебя без увеличительного стекла все равно и не видно. А вот ежели сообща, друг другу подсобляя, целой дивизией, в гору двигаться — нас увидят, такую силу! Увидят и похвалят, учиться у нас будут. Смикитил?

Антону Ивановичу понравилась собственная речь. Он закурил, пустил дымок к потолку, довольно поразглядывал озадаченного Костю и снова заговорил:

— К чему это все толкую? Сейчас увидишь. Дядя Митя, говоришь, нарушает твой суверенитет и возле

пограничного столба номер семнадцать злодейски, тайком, пересекает твою границу. Уверен, значит, — с диверсионной целью. Эх, Костюха! Дядя Митя на пчелах своих не то что собаку — слона съел. Он их, может, больше чем нас с тобой уважает. Разве он сделает вред пчелам! Да руку даст топором оттяпать, а пчелу не обидит. Сам видал, вот этими самыми глазами, как противник твой твои ульи обихаживал, чистил их, проверял. Видишь, деликатно как, — не больно тебе доверяет — молод, значит, опыту нет, — а и обидеть не хочет, тишком тебе помощь, дурню, оказывает. Вот это, понимаю, соревнование! Чего молчишь? Трещи теперь.

Трещать Косте было не о чем. Ему казалось, что чистота в ульях шла от его природных способностей всеведущего пчеловода. Оказалось иначе. Он был озадачен, удивлен и уязвлен. Ушел обозленный и на Антона Ивановича, и на дядю Митю, и на себя. Антон Иванович добрыми глазами глядел ему вслед, как всегда взрослые смотрят на подростков, по-взрослому увлеченных полезным делом, и думал: «Вот и смена старику. Толковая смена. Подучим еще, выдающийся мастер будет».

Костя не был врунишкой — это Антон Иванович знал, просто паренек через край иной раз перехлестывал в желании показать себя. Но с нормативами он нисколько не перехватил, расчет оказался точным, двадцать шесть пудов меду дядя Митя зажимал для своих питомиц.

Долго спорили, кричали, доказывали, но дядя Митя, кроме всех иных своих качеств, был еще и на редкость покладист, — уступил.

— Берите мед! — заявил он таким тоном, будто в отчаянии разрешал Антону Ивановичу располовинить колуном земной шар. — Берите воск! Можете и меня по сходной цене загнать на живодерню. Как никак — шкура.

— Шкура твоя, — Антон Иванович встал, дружески положил ему на плечи руки, — тебе еще самому послужит, Дмитрий Антропович. Я лично тебя уважаю, крепко уважаю. Не сухой ты души человек. А что касаемо меду — спасибо. Так сказать, предварительная

тебе благодарность, — тебе еще колхозное собрание по всей форме ее вынесет. С полным чествованием. Вот так. Люблю, когда все миром идет, без инцидентов и оргвыводов. Сам я, знаешь, человек мирный. Осатанел тут с доходами. Тороплю жизнь, потому вроде бы и зверствую. К хорошему всегда через трудное идут. Ты меня прости, дядя Митя.

— Ладно уж! — растрогался старик. Проникновенная речь Антона Ивановича размягчила сердце, обычно крепкое до всего, что касалось пчел.

Костя пошмыгал носом, был доволен: дело-то выходило по его, по-Костиному; одоление, значит, полный приоритет.

Но не со всеми так мирно, как с дядей Митей, удавалось улаживать дела, касающиеся графы колхозных доходов. Буйствовали полеводы, в особенности Ася, требовавшая засыпки дополнительных страховых фондов чистосортного зерна. Требования ее были такие несусветные, что Антон Иванович чуть не вытолкал младшую Звонкую за дверь. Да во-время удержался. Ограничился тем, что отрезал: «Точка! Сверх установленного планом — ни одного зерна. Гуляй, Асютка». Ася побежала к Дарье Васильевне. Та долго ее урезонивала. Дарья Васильевна держалась мнения, что Антону надо дать свободу похозяйствовать, поразвернуться. Развертывается председатель правильно, с полной самостоятельностью, не во вред, а на пользу колхозу. Может, этак у него и дальше пойдет — приобретет твердость, а то мягковат, мягковат был, появлялась думка иной раз — не заменить ли председателя. Дарья Васильевна всячески теперь его поддерживала.

— Коммунистка ты, — внушала она Асе. — Комсомолом руководишь. Пример сознательности показать должна. На малых средствах большой результат получить сумей. А средства у тебя и не малые вовсе. Рассчитаны от сих и до сих, — пальцем отмерив расстояние от забытого на столе чайника до папки с протоколами, Дарья Васильевна показала, как точно рассчитаны средства полеводов на новый год.

Пошумела и Асина мамаша. Роняя в чернильницу слезы, стуча по столу маленьким кулачком, который

от встреч со столешницей страдал, конечно, значительно больше, чем столешница, Елизавета Степановна отстаивала своих бычков.

— Лизавета, Лизавета, — готовый отступить перед таким напором, терялся Антон Иванович. — Немыслимое говоришь. Что из того — красавцы! Нам с тобой, на личности если глядеть, тоже, может, не в болоте пропадать положено, а на выставке портретов на стене висеть в беломраморном зале. Да ты у нас что королева-регентша, а то и полная принцесса, — глаза там, щечки, все такое...

— У тебя у самого глаза бесстыжие, — кричала Елизавета Степановна, не поддаваясь неудержимой лести. — Я не принцесса, я телятница. Принцессе плевать на телят, она в них понятия не имеет, ест коклетку и... вот тебе! — В запальчивости она показала кукиш Антону Ивановичу, чуть ли не к носу поднесла.

— Ну как так! — пытался перебить ее яростную речь Антон Иванович, озираясь в надежде — не подойдут ли Лаврентьев или Дарья Васильевна. — Как ты рассуждаешь, Лизавета! Подумай сама, не можем мы бычиное стадо разводить. Я же не про телок, я про бычков. Всех сдать надо. Виданное ли дело в крестьянстве — сорок быков! С них же молока что с козла. А харч потребляют.

— Харч! Свое сено скормлю, корову голодную оставлю... Не тронь!

Елизавета Степановна прекрасно понимала, что требует невозможного и бессмысленного — сохранить всех бычков, выращенных ею в этом году. Ясно, что это глупо и смешно — увидеть вдруг стадо, состоящее из одних быков. Весь район хохотать будет. Но каким трудом бычки выращены, с какими волнениями! Ни один не околел, все здоровые, крепкие. Когда это было в Воскресенском!

Если телятница так взбушевала, кроткая, тихая Елизавета Степановна, то что будет, когда явится перед ним семеноводка? Встречи с Клавдией Антон Иванович боялся больше всего. Он откладывал, оттягивал страшную для него встречу напоследок; дальше оттягивать было некуда. Антон Иванович боялся того, что

в отместку за весенние притеснения Клавдия этак спокойненько, глядя мимо его головы в замороженное оконце, скажет: «Семена готовы к отправке. Но, к сожалению, все они второго и третьего сорта. Не создали, Антон Иванович, нам условий. Что дали, то и получили». А второй и третий сорт — это скинь со счетов многие и многие десятки тысяч рублей. Клавдия — баба непонятная, от нее всего жди. Колдует, как ведьма, в амбарах, молотит, веет, в мешки под пломбу ссыпает, а подпустить к своей территории — ни-ни. Акты подала — урожай выше прошлогоднего. Но что урожай — сортность, сортность нужна. Апробационные данные прячет, не показывает — под матрацем, что ли, хранит. Нет, Клавдия не Марьянка, не скажешь — душа нараспашку.

Вспомнил Марьянку, задумался с умилением над теми тайнами новой жизни, какие носит в себе толстуха. Ничего, обошлась кутерьма с двигателем, благополучно обошлась. «Марьянушка, донюшка, песенка...» — всякие нежные имена придумывал для нее Антон Иванович. Заглянул лишний раз в ее трудовые записи, хотя и так знал их наизусть. Сто сорок трудодней. Не опозорила семейство, перед другими не сплоховала, не уступила. «Яблонька моя, звездочка...»

— Звали? Пришла.

Антон Иванович растерялся: Клавдия! В такой неподходящий момент размягчения души нечистый ее принес. Как с ней тягаться!

— Звал, Клавдия. — Голос был вовсе не железный, каким следовало бы сейчас говорить. Антон Иванович принялся перекладывать на столе портсигар, карандаши и ручки. — Звал.

— Что это вы вроде игру какую придумали? — Клавдия следила за его движениями, щурилась с усмешкой. — Инструктор так досармовцам нашим по военному делу преподавал: палочки, щепочки на песке раскладывал — это пулеметы, это пушки, а тут командир в окопе...

— Кланя, ты меня извини. — Широким жестом Антон Иванович смахнул в сторону все предметы, не дававшие покоя его рукам.

— За что извинить? Вам нужны сведения, — Клавдия была на редкость спокойна. — Вот они.

Антон Иванович бережно и благоговейно взял из ее рук ученическую тетрадку. Это был приговор ему: князь или пропа́сть. Раскрыл на первой странице. Замелькали названия разных морковей, свекол, брюкв, цветных капуст, салатов и редек. Урожай хороший, отличный по всем культурам.

— А где же...

— Акты апробации и заключение семенной лаборатории? Дальше, подшиты, вчера последний документ получила с испытательной станции.

Пробежал глазами раз, вновь прочел — побыстрее, затем медленно, со смаком принялся вчитываться, вглядываться в слова и цифры. Вскочил, роняя на пол карандаши, бумаги и папиросы:

— Кланька! Царица! Один первый! Да у нас добра с тобой тысяч на триста! Чего ты натворила!.. Ну не крутись от меня — сродственники же. Дай поцелую, дай обойму, яблонька ты моя и звездочка...

— Успокойтесь, Антон Иванович. — Клавдия отстраняла ошалелого от восторга сродственника. — Целовать надо было раньше.

Она смотрела на Антона Ивановича свысока, как победительница, великодушная, гордая. Потому что истинные победители, много труда вложившие в победу, вложившие в нее всю свою душу, все помыслы и силы, всегда горды и великодушны.

4

В загоне возле скотного двора столпилось человек пятнадцать. Был тут Лаврентьев, была Дарья Васильевна в новом черном полушубке, в талию, с барашковой серой выпушкой, были Антон Иванович, участковый зоотехник, пастухи — в зимние месяцы скотники, Илья Носов и несколько просто любопытствующих. Предстояло для одних зрелище, подобное бою быков в Севилье, для других — до крайности нелегкое дело.

Третий год колхоз выращивал чистопородного быка Бурана. Когда-то его привезли из племсовхоза не Бураном, а Буранчиком, добрым, ласковым телком, без рогов и с глупыми круглыми глазами. За два с половиной года он вырос, украсился могучими изогнутыми рожищами, курчавой белой кистью на конце длинного черного хвоста, лоснящейся шерстью, которая на шее и на лбу завивалась крупными кольцами. Ноги у него стали как тумбы — на них давила туша более чем в шестьдесят пудов весом. Главное же — круто изменился нрав Бурана. Глаза по временам ни с того ни с сего наливались кровью, копыта рыли землю, хвост сплетался восьмерками и хлестал, что плеть, по бокам, из глотки шел длинный устрашающий рев, подобный подземному гудению перед извержением вулкана. Скотники его начинали бояться: притиснет плечом в станке, саданет рогом, мотнув башкой, — и поминай как звали. Надо было страшенного дьявола обезопасить. Для этого существует специальное стальное кольцо, которое продевают через хрящевую перепонку бычиного носа. Если разбушуется, схватить за такое кольцо — сразу утихнет.

Бурана вывели на вожжах в загон. Он вышел с доской, повешенной на рога, впереди себя ничего не видел, ревел, разбрасывая снег.

— Все делается очень просто, — объяснял зоотехник. — Разъединяем вот так кольцо, вынув этот маленький винтик, острым срезом прокалываем хрящ и затем вновь колечко свинчиваем. Получаем тот результат, какой в народе называется: быть бычку на веревочке. Кто возглавит мероприятие? Носов, ты, что ли? У тебя рука железная.

— Можно. Только он, черт, не дастся, боюсь.

— Боюсь! На медведей ходил?

— Ну, ходил.

— Те страшнее. У них доски-то на глазах нету. А кроме того, мы орла вашего наземь сейчас повалим, будет лежать — не шелохнется. Давайте веревки!

Принесли новые, необмятые, льняные — не веревки, а целые канаты в два пальца толщиной.

— Давайте его оплетать. Вот так, так... Узлы

чтобы против кровеносных сосудов пришлись. Натянем — у него и дух займется, сам колени подогнет.

Быка оплетали веревками, как тюк, оставив два свободные конца — тянуть в разные стороны. Бык гудел и вертелся, оплетка сползала. Зоотехник храбро ее поправлял.

— Теперь берись! Натягивай! Крепче тяни! — командовал он, когда все было готово.

Антон Иванович, Лаврентьев, скотники натужились, уперлись в землю ногами, как в морской игре с перетягиванием каната. Носов ждал с кольцом в руках. Бык и в самом деле не выдержал давления веревочных узлов на кровеносные сосуды, на нервные сплетения, задрожал, ноги-тумбы его подогнулись, и он тяжело обрушился в сугроб, подминая снег могучими боками...

— Не ослаблять натяжения! — предупредил зоотехник. — Носов, действуй! — и сам встал рядом с Носовым на колени, приготовив винтик, чтобы тотчас соединить кольцо, как только будет проколот хрящ.

Но едва Носов коснулся влажной хрящевины жалом разомкнутого кольца, бык ударил всеми четырьмя ногами, так изогнул огромную свою тушу и рявкнул, что люди бросились от него врассыпную. На месте остались только Лаврентьев, Антон Иванович да Носов. Они сделали попытку снова натянуть веревки, — опоздали. Буран уже вскочил и, не переставая реветь, шел, как танк, прямо на стену коровника. Он искал дорогу в стойло.

Перепуганный зоотехник хотел с разбегу перемахнуть через изгородь.

— Эко ты! — остановила его Дарья Васильевна. — На призы, что ли, взялся? Куда же теперь. Затеяли — надо кончать.

— Невозможно кончать. — Зоотехник озирался, шаря глазами по снегу. — Винтик потерял.

Буран тем временем, встретив на пути стену, уперся в нее лбом, хотел своротить. Подумал с минуту, отступил на шаг и всею силой грянул рогами в бревна. С крыши коровника ему на холку, на загривок, на голову рухнул пласт снега. И когда бык отряхнулся, все

увидели, что он прозрел: на крутых его рогах, вместо широкой, закрывающей глаза доски, болталась лишь жалкая щепка.

— Уноси ноги! — крикнул кто-то из зевак, и началось бегство.

Буран, услышав крик, медленно развернулся на месте, нацелил рога на первого, кого увидел, — это была Дарья Васильевна, — щелкнул хвостом и, взрывая снег, выгибая спину, поскакал грузным галопом.

Дарья Васильевна выставила вперед обе руки — вся ее самозащита. «Не смей, не смей! Уйди!» — кричала она и пятилась к изгороди.

Лаврентьев метнулся наперерез Бурану и что было силы ударил быка сапогом в бок. Буран качнулся, потерял направление, нацелил теперь рога уже не на Дарью Васильевну, а на своего обидчика. Носов со всех ног пустился на конюшню: казалось, он струсил, такой силач и храбрец. Антон Иванович пришел на помощь Лаврентьеву: быстро нагибаясь, хватал пригоршнями снег и швырял его в глаза Бурану. Скотники орали медвежьими голосами — думали напугать быка. Но он и так был напуган и от страха шел напролом.

Лаврентьев пятился от него, как минуту назад Дарья Васильевна. Он хотел, улучив момент, взять Бурана за рога, не очень задумываясь, что из этого получится. Важно было взять, а там видно будет, кто кого одолеет в рукопашной. Момент такой наступил, бык нагнул голову чуть не до земли, Лаврентьев прыгнул, но опоздал на какую-то долю секунды. Бычиная голова взметнулась. Все услышали не то крик, похожий на вздох, не то вздох, напоминавший крик. Ужаснулись. Бык, как тряпку, мотал Лаврентьева на рогах. Потом сбросил, жадно храпнул при виде распластанного на снегу человека и вновь нагнул рог, — входил во вкус кровавой игры. Но поиграть больше не удалось. Подлетел Носов с колуном на длинной рукояти, с разбегу хватил Бурана обухом меж глаз.

Повторять удар нужды не было. Посреди загона лежали рядом Лаврентьев и Буран. Буран тяжело дышал, бока его раздувались и опадали, подобно куз-

нечным мехам. Из рассеченного лба текла струйка крови. Была она гуще и темней, чем кровь, хлеставшая на снег через изорванное в клочья пальто Лаврентьева.

— Доктора! — заметалась Дарья Васильевна. — Пронину скорей! Что стоите! Человека убило.

Кто-то помчался выполнять ее приказание.

Со всех сторон, прослышав о несчастье, валил к загону народ; перелезали через изгородь. Женщины охали, утирали глаза платками, мужчины угрюмо молчали. Антон Иванович нагнулся, приложил ухо к губам Лаврентьева, слушал дыхание.

— Вроде нету?.. — Он растерянно поднял голову. — Не дышит.

— Ой!.. — сорвался женский голос.

— Людоеда какого вырастили! — Анохин зло пнул валенком в бок Бурана и выругался от бессилия.

Прибежали запыхавшиеся Катя Пронина, фельдшер Зотова и тетка Дуся с носилками. Катя и Зотова принялись разбирать кровавое тряпье на животе и на боку Лаврентьева. У Кати дрожали руки. От нее толку было мало. Зотова отстранила врача и действовала сама. Фельдшерица всю жизнь провела в деревне, много перевидела всяких увечий, ко всему привыкла, знала, что прежде всего надо остановить кровь. Но раны Лаврентьева были так велики и ужасны — даже для Зотовой ужасны, что она отказалась от попытки закрыть их простыми тампонами.

— Операция, немедленная операция, Екатерина Викторовна! — сказала она, подымаясь на ноги. — Понесемте в больницу. Помогите, товарищи.

Помощников оказалось больше, чем следовало. Пришлось оттеснять народ, уговаривать расступиться. Лаврентьева положили на носилки, за них взялись Носов, Карп Гурьевич, Антон Иванович, Павел Дрёмов. Шагая в ногу, понесли в тягостной кладбищенской тишине. Были слышны только сухой скрип снега да прерывистое дыхание людей.

Елизавета Степановна не знала о случившемся. Напевая песенку о том, как в Таганроге убили молодого казака, она наводила в доме порядок. Завтра Асюткин день рождения. Молодежь придет, парни с девками.

Пашка Дрёмов явится. Ну что ж, Пашка так Пашка. Не будет же мать стоять на дочкиной дороге. Да и к чему перегораживать ее, дорогу эту. Пашка — малый работящий; если дело ему дать по специальности, не оплошает. В колхозе им довольны. Занозист иной раз. Мужчине и положено быть занозистым. Хуже, если он что овсяный кисель — кислый да холодный.

Попала под руку злосчастная бутылка, — скатерти, салфеточки перебирала в комоде. Прижалась к ней лбом, зашептала, не удержала тихих горячих слез:

— Родненький мой, ненаглядный! Доньке нашей двадцать годков. Невеста. Не увидишь красавицу свою в белом платье пышном. Не погуляешь на свадьбе, не подымешь чарочку за жизнь ее, за счастье женское. А помнишь — еще в зыбке была, головенка светленькая, что в пушку лебедином, — говаривал ты: «Доживем до свадьбы, пир горой устроим. Все Воскресенское пять ден пьяное лежать будет». Одна я пьяная, вышло; от слез, от горя пьяная. Ноги не держат, шатаюсь, ненаглядненький мой».

Билась лбом о комод, металась, причитала, к груди тискала холодную бутылку, бередила себе душу. И до того расстроилась, разнервничалась, что ударило в голову: встал он из мерзлой чужой земли, идет, скрипя по снегу солдатскими сапогами, — домой идет на дочкины именины.

Не под ногами покойного солдата скрипел снег. Скрипел он на улице, под десятками иных ног. Заслышала, приблизилась к окошку, вскрикнула. Бутылка выскользнула из рук, звякнуло стекло, и растеклись длинными ручейками бабьи слезы по намытому добела сосновому полу, пошли сочиться сквозь щели в подполье. За окном — через тонкие морозные узоры было видно — несли кого-то на больничных носилках воскресенские мужики, и где проходили — отставались на снегу, как пятаки, большие кровавые пятна.

Выскочила на улицу в одном платке — и так и обмерла.

— Дементьича-то, — сказала ей соседка. — Буран запорол.

Последней о несчастье с Лаврентьевым узнала Клавдия. Она сидела у себя за столом и писала письмо в Москву, в Тимирязевскую академию. Клавдии надо было узнать, есть ли там такие курсы, чтобы приняли на них с удостоверением об окончании семилетки и за год, а если можно, то и за полгода, подготовили в институт. Ей это было совершенно необходимо. Поставила точку на листке почтовой бумаги, расписалась: «К. Рыжова». Перечла и скомкала, изорвала в клочья письмо.

— Какая вы дура, Рыжова! — сказала вслух, громко и отчетливо, смакуя слово «дура». — Еще шесть лет... Да вам же будет за тридцать.

С тех пор как Лаврентьев нес ее на руках, Клавдия уже не скрывала от себя, что любит его. Вновь прижаться бы к нему, положить на его плечо свою голову. Она знала, что хороша собой, но теперь ей хотелось стать еще красивей, хотелось, чтобы загрубевшие от работы руки были такими же мягкими и нежными, как у Людмилы Кирилловны. Она ездила в город за кремами, за неведомым ей доселе миндальным молоком. Снадобья эти были и в свинцовых тюбиках, и в баночках, и в бутылках. Она накупала пахучей косметической дребедени и не знала, как за нее приняться, — все это потихоньку утаскивала к себе Марьянка.

Все казалось напрасным, ничто не могло поднять ее в глазах Лаврентьева, а главное — в своих собственных глазах. Тогда пришла мысль — поступить в институт и стать, подобно Лаврентьеву, агрономом.

— Тетя Клава! — Вбежали ребятишки, они по очереди врывались в каждый дом со своей новостью. — Агронома бык убил. Как взнял до неба, а после как брякнул об землю!..

Было забыто все — и равенство, и неравенство, и миндальное молоко, и Тимирязевка, и туфли на высоких каблуках.

Когда Клавдия вбежала во двор коровника, она увидела пустой загон, — там уже не было и оглушенного Бурана, скотники подняли и увели его, шатающегося, в стойло. Она увидала кровавый, перемешанный ногами снег, и упала грудью на жерди изгороди.

ГЛАВА ПЯТАЯ

1

Зима была снежной. Снег валил днем и ночью, нагромождая всюду ослепительно белые, пухлые сугробы. Под ними исчезли изгороди, заборы, колодцы, из-за них стали непроходимыми и непроезжими дороги. По утрам, протаптывая стёжки, люди вязли в снегу выше колен. В иные годы страх и уныние охватили бы воскресенцев от такой напасти, потому что чем больше снегу зимой, тем яростней вешнее половодье, тем сильнее зальет Лопать улицы села, тем стремительней через лес и поля хлынут воды переполнившейся Кудесны, тем неотвратимей угроза урожаю.

В такие снежные годы хуже всех чувствовал себя Антон Иванович. Он раздумывал над горькой участью председателя. Когда дело идет хорошо и гладко — хвалят весь колхоз, позабывая о председателе; когда начинаются вымочки на полях, когда не управиться в срок с посевными работами из-за того, что в бороздах чуть ли не до июня стоит вода, когда недобор урожая — громят, ругают, тянут на исполком, на бюро райкома — кого, весь колхоз? Нет, одного председателя: не обеспечил, не организовал, упустил, не сумел, не возглавил.

Удивительная это должность — должность колхозного председателя. Четверть века назад никто и не думал, что возникнет она, такая хлопотливая, беспокойная и трудная; что какой-то крестьянин — бедняк или середняк, Сурков или Лазарев, ничего прежде не ведавший, кроме полутора-двух десятин своей пашни, костистой лошаденки да рязанского немудрящего плужка, — превратится в общественного деятеля, примет на себя тяжесть ответственности за сотни, за тысячи десятин земельных угодий, за десятки коней, за большие когорты плугатарей, севцов, молотильщиков, шоферов, механиков, животноводов, огородников; что он, этот Сурков или Лазарев, на пять, на десять голов перерастет в своем общественном сознании, в государственном мышлении не только какого-нибудь ан-

глийского лорда — смотрителя за дворцовыми сквозняками, но даже и многих канцлеров и многих премьер-министров заморских государств. Какой заморский премьер будет волноваться, терзать себя оттого, что на поля его страны выпало слишком мало или слишком много снегу? Вымокнут или выгорят посевы, страна окажется перед лицом голода и бедствий — что из этого? Дороже станет хлеб, а следовательно, возрастут дивиденды премьера, ведь он не только премьер, он еще и крупный держатель акций импортной хлебной компании.

Антон Иванович был только председателем колхоза, только коммунистом, советским крестьянином. Его, жителя сырых, болотистых мест, избыток снега на полях так же тревожил, как колхозных председателей юга в январе тревожит вид голой, не прикрытой снежной шубой земли. В былые годы, глядя на снегопад, он проклинал судьбу и по пять раз на день выходил во двор измерять железным ломом с насечками толщину наметенных сугробов. В эту зиму он думал так: «В последний раз разгуляется половодье, в последний раз будем чесать затылки среди залитых полей». Он уже увидел, на ощупь ощутил начало осуществления своей мечты. В январе из облисполкома пришло решение о водной проблеме Междуречья. В решении было сказано: обратиться к правительству, а пока начать своими силами изыскательские работы.

Вскоре приехали и долгожданные гидротехники. Им отдали квартиру отсутствующего Лаврентьева, троих пустила к себе Ирина Аркадьевна и одного, хмурого, со шрамом через все лицо, Елизавета Степановна. Гидротехники проложили дорогу от Лопати до Кудесны, ходили во всех направлениях на лыжах, расставляли треножники нивелиров и теодолитов, ребятишки таскали за ними цветные рейки и ящики с инструментами. От гидротехников ни на шаг не отходил Георгий Трофимович. Хмурый разведчик со шрамом, инженер Голубев, был самый главный в группе; по журнальным статьям он знал Георгия Трофимовича, и они подружились. Вместе пробивали ломами разведочные колодцы на трассах между реками, вместе чер-

тыхались, что разведка ведется не во-время, — такими делами летом надо заниматься. Но чертыхались только для порядка, — знали, что любая работа, какая прежде выполнялась лишь в летнюю пору, теперь, если нужно, выполняется и в крещенский мороз. Никогда зимой не вели в городах кирпичной кладки зданий — однако нынче ведут, не прекращают ни в январе, ни при осенних круглосуточных ливнях. Время не ждет, оно мчится и мчится в будущее, и вместе с временем, не жалея сил, устремились в будущее люди; мысль их — опередить время, своими глазами увидеть хотя бы краешек того, что они готовят для новых поколений.

Инженер Голубев сказал однажды Антону Ивановичу, что главный канал из Кудесны к Лопати пройдет, видимо, по трассе ручья, который рассекает Воскресенское надвое и, как это ни печально для колхоза, село надо будет переносить на другое место, иначе его зальет. «Какая же это печаль! — закричал Антон Иванович. — Радость мне, радость, товарищ Голубев!»

Теперь уже ничто не стояло на пути Антона Ивановича к осуществлению его мечты. Он немедленно затребовал архитектора, чтобы спланировать перенос села. Он, что называется, разрывался на части. Надо было мчаться на лесные делянки, посылать туда бригады своих лесорубов, с харчами, кузней, стряпухами; надо было ехать в соседний район, вырывать по наряду кирпич; надо было уговаривать руководителей снабженческих организаций и прежде других «выхватывать» ящики с гвоздями и стеклом. Дальше — как это доставить все на место, по заметенным снегом дорогам и при ограниченном количестве тягловой силы? Откуда взять столько плотников, каменщиков, печников?

— Не берись, Антон, за все дела разом. Завалишь, — охлаждала его пыл Дарья Васильевна. — Поселок твой поселком, а еще и весенний сев подойдет. Давай-ка, председатель, график составим, людей распланируем.

График составить было легче. Рассчитали кубометры древесины, рассчитали коней и километры от

леса до Воскресенского, поделили, перемножили. А вот с людьми было хуже. Пришлось делать крупные и неожиданные перестановки. Карпа Гурьевича уговорили стать главным на лесозаготовках, под полную его ответственность и единоначалие. Старый столяр не упрямился, сказал только: «Боязно, непривычен людьми ворочать. Я по дереву. . .» — и согласился, уехал в лес. Анохин, как человек дела, твердый и спокойный, по решению правления и партийной организации возглавил всю транспортировку строительных грузов. Его место, место бригадира-полевода, заняла Ася.

Машина каждое утро уходила в город; шофер и грузчики брали с собой в кузов лопаты, расчищать дорогу. Одни за другими, плывя по сугробам, уезжали в дальние леса розвальни, и в них народ — лесорубы, — из каждой семьи кто-нибудь да уехал в армию Карпа Гурьевича. Где-то там, в чащобах, возникали землянки и крытые снегом шалаши, визжали пилы, стучали топоры, курился дым над жестяными трубами, пахло борщами и кашами, а село пустело со дня на день.

По замыслу Антона Ивановича весь этот переполох должен был закончиться тем, что из лесов, из города, с кирпичных заводов и со складов хлынет могучий поток материалов. Но время шло, а потока все не было, — так, жидкие ручейки стекались. Уже приехали архитектор с техником и сметчиком. Антон Иванович отдал им в полное владение свой дом, спешно достроив вторую его половину. Самого же его с Марьянкой пустила к себе Клавдия. Она в горячую пору уехала из Воскресенского в областной город. Никто ее за это осуждать не думал — причина была веская и всем понятная. Наоборот, поездка эта многих примирила с неприступной гордячкой.

Архитектор составлял проекты общественных построек, жилых домов, перестройки бывшей шредеровской усадьбы; сметчик делал необходимые расчеты; техник, ползая по снегу, вел разбивку участков вокруг усадьбы.

Архитектор Жаворонков изучал место будущей стройки со всех сторон, со всех точек, — ему хотелось

представить, как будет выглядеть поселок с дороги, с реки и даже с птичьего полета, для чего Жаворонков взобрался однажды на самый купол бывшего клуба. После каждого такого исследования возникал новый эскиз — один лучше другого.

Антон Иванович видел, что его собственный проект планировки поселка пошел насмарку, но не огорчился этим нисколько: проекты Жаворонкова ему нравились гораздо больше.

— Поймите, товарищ Сурков, одно, — говорил Жаворонков, стоя где-нибудь под елкой, дымившейся снеговой пылью от январского ветра. — Мы хотим, чтобы переезд обошелся вам как можно дешевле, а поселок получился как можно красивей. Поэтому планируем так, чтобы старые дома перенести в сохранности, дополнить их новыми и получше расположить на участке. Разве плохо?

— Как плохо! К этому и стремление.

Антон Иванович мало-помалу превращался в агитатора и пропагандиста предложений Жаворонкова. Эти предложения обсуждались на партийном собрании, коммунисты разъясняли проект в бригадах лесорубов, возчиков, на животноводческих фермах.

Для гидротехников и для архитектора Антон Иванович готов был каждый день варить лапшу с курятиной и домодельные воскресенские компоты из сушеных яблок, не жалел меду, хотя это были рубли, отрываемые от почти миллионной суммы, красными чернилами проставленной в конце бухгалтерской книги колхоза. Но его удручало, что бревна ползут из лесов не быстрее ленивых капустных гусениц. Кирпич штабелями лежал на станции, и Антону Ивановичу казалось, что его там безбожно крадут. Он отправил в город караульщиком Савельича с берданкой. Дед три дня зяб на ветру и в конце концов повадился ходить в чайную греться. А в чайной земляки, свояки, знакомцы. Много ли старику надо? Разбуянился раз, пришел на станцию к кассирше: «Билет выдай. Уезжаю отседа». — «Куда билет, папаша?» — «А тебе какое дело? — гаркнул. — Шагу человеку ступить не дают! Куда сразу да зачем». Вломился к начальнику,

стучал кулаком по столу, полами тулупа смахнул на пол чернильницу и лампу. Увели в милицию, сообщили в колхоз.

Потом из лесу вернулся приемный сын Карпа Гурьевича — руку топором поранил. Потом уронили с машины ящик стекла. Беды сыпались со всех сторон. Антон Иванович обнимет вечером Марьянку, чуть ли не слезы точит ей на грудь:

— Не руководитель я, Марьянушка, сапог валеный... И жизнь какая трудная... Нет в ней спокоя человеку.

— Тошенька, предлагали тебе, — шел бы в совхоз заведующим отделением. Помнишь, директор звал? Хорошо бы как, а?

— Тьфу тебя, Марьянка! — рассердится. — Я тебе про жизнь, ты про дурь всякую. Свет какой в окне занимается!.. А я возьму занавесочкой его, окно, закрою. Извини — телушка ты, Марьянка.

Наутро встанет, ночные горести долой, гонит в разные места машину, подводы, из себя выходит, — дело движется попрежнему с ноги на ногу, вперевалочку, не спеша, с прохладцей.

Но не одна голова в колхозе — председатель. Была тут еще и Дарья Васильевна, партийный руководитель. Ею не зря было сказано как-то: «Не без языка, чай, на свет родились». Она написала статью в районную газету, о всех воскресенских замыслах по переустройству природы рассказала, о трудностях и нехватках, о воле колхозной перебороть трудности. Отправилась со статьей в город, отдала в редакцию. Статью напечатали, и удивительное вышло дело. Антона Ивановича и Дарью Васильевну непрерывно стали звать к телефону. Секретарь сельсовета Надя Кожевникова сбилась с ног, разыскивая их по селу.

— Заело? —откуда-нибудь за полсотни километров кричал другой председатель или другой партийный секретарь.

— Заело-то заело, да не съело.

— Ершистые вы.

— Ерша щука не берет.

— Ну, ну, желаем здравствовать. Вот план лесо-

заготовок выполним, пришлем пару подвод. Подсобим. Слышь, ты?

— Спасибо скажем.

— Спасибо — это ладно. Харч чтоб был — людям и коням. Главное.

Другие высказывались в ином духе.

— Антон Иванович? Ты, милок, на нас не серчай. Помочь — у самих сил нету. Запарка. Чуешь?

Антону Ивановичу общий интерес к воскресенским делам понравился и придал энергии. Он съездил в совхоз, выпросил у директора машину и двух плотников. В дальний край района отправился, на артиллерийский полигон. Щегольнул там, что сам — старшина батареи; приехал в гимнастерке, при ордене и всех медалях. Растрогал старенького майора, тот пообещал, что созвонится с округом и вышлет тягач.

В середине февраля, в разгар самых вьюг и метелей во главе целого обоза явился горский председатель Лазарев. Пощипывая бороденку, попивая чаек, рассуждал:

— Мир обществом силен, Антон. Ты в трудную минуту нас, горских, не забыл. И мы тебя не забыли. Мужики наши работящие, кони справные. На две недели даем тебе восемь подвод, — хозяйствуй. Больше, понятно, не проси. Мир плановости требует. У нас свой план. Мы из него эти подводы, что хитрый портной, по клочкам выкроили. Сумеешь сшить — пиджак будет. Не сумеешь — неладный ты швец, значит.

К марту вокруг помещичьей усадьбы, над рекой и вдоль дороги, громоздились штабеля бревен, досок, кирпича, бутового серого камня, возникли навесы для бочек с цементом, дощатые кладовушки. В тесной будке возле чугунной печки сидел Савельич, который, не оправдав себя в городе, был переведен сторожем сюда. Ему отвратительны были вся эта суета и вид строительной, ералашистой площадки, обезобразившей привычную тихую, мирную сельскую картину. Но Савельич терпел, потому что сторожем в зимнее время быть выгодно — дела никакого, а трудодни идут. Он выйдет иной раз из будки, пальнет в ворону для порядка, и назад, топить чугунку.

С мартовскими днями сидеть за печкой не стало резону. Устроил возле будки лавочку из доски и двух чурбаков. Грелся на солнце, притопывая красными галошами в лужицах на снегу. И кто бы ни ехал, кто бы ни шел по дороге мимо воскресенских садов, все видели в садах начало какой-то большой стройки и среди нее — неизменного деда в тулупе, с берданкой, зажатой меж колен.

2

Лаврентьев лежал в центральной областной больнице, куда его доставил самолет санитарной авиации. Катя вызвала тогда хирурга из района. Хирург, в свою очередь, позвонил в область. Состояние раненого было чрезвычайно тяжелое: пробита брюшная полость, поврежден кишечник, сломаны ребра. Он не выходил из глубокого шока. Районный хирург едва успел обработать раны, как на лугу возле села приземлился самолет. Через пятнадцать минут самолет снова взмыл, развернулся и унес с собой агронома. Всем селом смотрели вслед снежно-белой машине, и многие в эту минуту думали, что навсегда расстались с человеком, к которому привыкли, с которым сроднились и без которого жизнь колхоза как-то и не мыслилась, будто участвовал он в ней с тех давних пор, когда обобществили первых коней, первые хомуты и бороны и когда было так трудно, непривычно трудно работать сообща, что хоть бросай все и уходи с земли на лесные разработки, на станцию в стрелочники, уезжай в область — на завод или на фабрику.

Люди долго стояли на заметенном снегом лугу, на котором оставили след широкие лыжи, и почему-то молча разглядывали Клавдию. Она не стеснялась этих взоров, прижав руки к груди, страдающая и увядшая, как молодое деревцо наутро после ночного заморозка, смотрела сухими глазами туда, где растаял, исчез в безоблачном небе стрекочущий самолет.

Лаврентьев ничего этого не знал. Он лежал в горячечном бреду, за жизнь его опасались не только воскресенцы, но и самые знаменитые хирурги области.

Они подходили к постели, говорили слова «пенициллин», «переливание крови», и хмурились.

Лаврентьев видел отца, мать, видел Наташу, речку Каменку и пескарей среди валунов на песчаном дне. Пескари были верткие, ловить их трудно. Вильнув хвостом, они подымали со дна рыжую муть, и из этой мути возникало что-то страшное. На всю палату, отдаваясь в коридорах, гремели тогда команды: «Огонь, огонь!» — больной бился, сбрасывая одеяла, приказывал сиделке, дни и ночи неотлучно проводившей возле его постели, немедленно подать автомат, — наступал, видимо, час рукопашной схватки, противник окружал батарею. Потом вновь он крушил быка Бурана, отчего однажды ночью подогнулись ножки его складной кровати. Бывший комбатр метал гранаты — вдребезги, в черепки разлетались больничные чашки и тарелки, схваченные со стола судорожно дергавшейся рукой. Лаврентьев боролся за жизнь, он не хотел смерти, а смерть подступала к нему со всех сторон. Она шла цепями психических контратак, валила бычиными стадами, ползла гадюками, просачивалась в палату ехидными старушонками-горбуньями.

Горячка проходила медленно, капля по капле оздоравливалась зараженная кровь, ступенька за ступенькой, от недели к неделе спадало напряжение борьбы за жизнь. Дышать стало легче.

Однажды он вдруг увидел себя лежащим на постели. Белая комната была залита солнцем, за окном висели сверкающие сосульки, с них звонко капало на жестяной подоконник. Спиной к Лаврентьеву, возле окна, стояла женщина в белом халате, и пышные волосы ее, пронизанные солнечными лучиками, искрились вокруг головы, как золотой прозрачный дым.

Он узнал ее и понял, что еще бредит, что еще в забытьи. Так бывает во сне: хочешь проснуться, как будто бы проснешься, а это снова сон. Конечно же, это сон — у окна стояла Клавдия. Но пусть сон — зато какой хороший!

— Клавдия, — позвал он шепотом по имени; во сне ведь можно и без отчества.

Клавдия обернулась, быстро шагнула, склонилась возле постели, припала головой к его плечу.

— Петр Дементьевич, — твердила и не знала, как ей быть дальше. Шесть недель она провела почти без сна, он ее гнал, проклинал, называл шпионкой, дрянью, в нее летела посуда, с которой она кормила его ложечкой, как ребенка. Шесть долгих недель прошло в ожидании дня, когда Лаврентьев очнется; он очнулся — что же делать и как быть? Это порыв — прижаться головой к плечу, разрядка после напряжения нервов и сил. Всякий порыв проходит. Клавдия, взволнованная, поднялась. Лаврентьев лежал с закрытыми глазами, слабый, немощный и счастливый.

— Клавдия, — продолжал шептать. — Клавдия...

Это было в конце февраля. Тогда же он получил телеграмму из Междуречья. Окружная избирательная комиссия спрашивала его о согласии баллотироваться в депутаты районного Совета по Воскресенскому округу. Долго и удивленно рассматривал Лаврентьев телеграмму. Позвал врача, сказал: «Доктор, как же я могу согласиться? А вдруг умру?» — «Соглашайтесь, — ответил врач. — Умереть мы с Клавдией Кузьминишной вам не дадим. Так у нас решено. Правда ведь, Клавдия Кузьминишна?»

Теперь шел апрель. Лаврентьев вставал, томился от безделья, рвался прочь из палаты, из больницы, но его не пускали: рано, рано. Клавдия недавно уехала, без нее стало тоскливо и беспокойно. Между ними было все сказано. Не сразу сказано, — после долгих душевных мытарств. Лаврентьев понял, что если бы не это несчастье, не этот свирепый Буран, то и вообще бы никогда они ничего друг другу не сказали. Только увидав его, раздавленного, изломанного, потерявшего силы, она смогла прийти к нему. В эти недели она была сильнее Лаврентьева. Она и пришла как сильная к слабому, уехав из колхоза при полном одобрении Антона Ивановича и Дарьи Васильевны.

— Близкий рядом — ему отрадно будет, — говорила тогда Дарья Васильевна.

— Авось, свояками с Дементьичем станем, — по-своему повернул Антон Иванович.

Пришла Клавдия как сильная к слабому, а ушла... Ей уже было все равно. Она знала, что любит, любит всепоглощающей любовью, и надо ли считаться — кто сильней, кто слабей.

Были долгие разговоры и долгие часы молчания в сумерках. Лаврентьев брал ее руку, прижимал ладонью к щеке. Она замирала, чуть ли не теряя сознание, и не могла ни на что решиться. Злилась на себя, злилась на него. Она в отчаянии прижалась однажды к его лбу своим лбом, по-девчоночьи; совсем рядом перед его глазами были ее полные страха и тревоги, расширенные зеленые глаза. Но он их не видел, — видел лишь золотое шелковистое сияние, упавшее ему на лицо, и вдыхал его теплый запах.

Тогда она сказала, что уедет, — неизвестность была сверх ее сил. Лаврентьев взглянул через окно на весеннее небо, на грачей, которые строили гнезда среди ветвей черных лип в парке, и неожиданно привлек ее к себе, испуганную, ошеломленную, счастливую. Она, как тогда в поле, была возле его груди и слышала стук его сердца...

Ни врачи, ни сестры, ни сиделки не мешали им. Заведующий отделением, старый, наголо обритый доктор медицинских наук, носивший белую полотняную шапочку, сказал ординатору:

— Пускай шепчутся. Скорей на ноги встанет. Вы помните, что написал Сталин на известной горьковской сказке? «Любовь побеждает смерть». Смерть — вот как! Даже ее, старуху.

За несколько дней до отъезда Клавдии проведать Лаврентьева зашел Карабанов, принес с собой запах улицы, шум, шутки. Его вызвали в обком.

— Ох, беды ты нам наделал, Дементьевич, — сказал он, усаживаясь на скрипнувший больничный стул; был какой-то смешной, похожий на повара в коротком халате, завязанном на спине. — Уперлись твои земляки: подай им Лаврентьева, да и только. Мы и так и этак, болен, мол, человек, можно ли выдвигать при полной такой неизвестности? Извини за прямоту, положение твое считалось безнадежным. Я каждые три

дня звонил сюда главному врачу, справлялся. Объяснял народу Нет, говорят, ничего знать не хотим: Лаврентьева. Портрета, отвечаем, нету, перед избирателями выступать не может. «Без портрета обойдется, выступать — достаточно выступал». Что ты скажешь! Вот по поручению окружной комиссии привез тебе удостоверение. Депутат районного Совета! Дарью Васильевну сменил. Ее, знаешь, в члены райкома избрали.

— Столько событий без меня, — взволнованно разглядывал депутатское удостоверение Лаврентьев. Он представил, как там, в Воскресенском, а может быть, и в совхозе, в соседних селениях за него агитировали Дарья Васильевна с Антоном Ивановичем, Ася с Павлом Дрёмовым, Нина Владимировна; как они доказывали: только Лаврентьева, и никого больше, — и растрогался, Клавдия недовольно сказала:

— Никита Андреевич, товарищ Лаврентьев еще болен, ему нельзя волноваться, а вы нарочно всякие такие вещи рассказываете...

— Ишь ты, гляди, какая строгая! — восхитился Карабанов. — Гляди, какую официальщину разводит: товарищ Лаврентьев! Да я еще не то сейчас твоему товарищу Лаврентьеву расскажу. — И принялся обстоятельно рассказывать о делах в Междуречье. Тут и Клавдия заслушалась, давно не была дома, от дел колхозных оторвалась, — и ее и Лаврентьева потянуло вдруг на Лопать.

— Счастливая вы, Клавдия, — вздохнул после ухода Карабанова Лаврентьев. Он еще не мог решиться говорить ей «ты». — Поедете. А мне сколько тут валяться, кто знает...

Она только молча взяла его руки в свои ладони.

Уехала Клавдия, дав бесчисленные наставления сестрам, санитаркам и даже ординатору, как ухаживать за Лаврентьевым, как беречь его. Всем она говорила: «Знаете, — депутат». К чему было это «депутат», она и сама не знала. Может, заботиться больше станут. Для нее же он был никакой не депутат, а самый дорогой на свете человек, которого она даже в мыслях называла Петром Дементьевичем. Всякие уменьшитель-

ные — Пети и Петеньки — ей претили. Не подходил под такие имена он, ее Петр Дементьевич.

Лаврентьев остался один. Ему несли каждый день письма — то от Антона Ивановича две-три короткие строчки: «Запарка, Дементьич. Свету не вижу. Шкура обвисла на костях. Тебя жду — одно спасенье». То от Аси, которая писала письма длинные и обстоятельные, с подробными описаниями тех, от кого приветы и поклоны. «Вернетесь, уж так вас все расцелуем!..» — вновь грозилась она. Лаврентьев смеялся и рассказывал сестрам и врачам, как однажды его, при полном кворуме, целовала комсомольская организация колхоза.

В одном из очередных Асиных писем он нашел записку, сложенную аптекарским пакетиком. «Елизавета Степановна, передайте это вашему агроному», — было написано на пакетике незнакомым почерком. Развернул, стал читать. «Уважаемый товарищ Лаврентьев! — писал ему кто-то; кто — он вскоре узнал. — Много слышу о вас от Е. С. Звонкой, мы с ней изредка обмениваемся известиями. Кажется, я сделал правильно, что сбежал из колхоза, — и колхозу и мне на пользу. Не сбежать не хватило силы. Слабоват я оказался. Бился-бился, ничего не выходило. Колхозники на меня смотрят, помощи ждут. А я сам рад бы помощь получить. Где ее получишь? От Серошевского, что ли? Вы с ним, наверно, познакомились. Он против меня целое дело завел из-за каких-то двух копен сена. Верно, сено сгнило, дожди какие шли! Но нельзя человека за это под суд отдавать. А он уже — бац, прокурору. Что ж, мне в двадцать два года на скамью подсудимых садиться? Я не жулик. Понял я, что рано мне самостоятельно работать, учиться у старших надо. Может быть, не следовало тайком убегать. В этом сильно раскаиваюсь. Но все из-за Серошевского. Запугал он меня. Ну, черт с ним, с Сергеем Павловичем. Теперь в плодово-ягодном совхозе работаю. Если саженцы нужны, напишите. Хорошие есть сорта, мичуринские. Всегда рад быть вам полезным. С приветом Кудрявцев».

Пришло и еще одно нежданное письмо. Лаврентьев

взглянул на проставленные в конце инициалы и почувствовал волнение. Было это письмо от Людмилы Кирилловны.

«Дорогой Петр Дементьевич! — писала она. — Какое страшное несчастье. Когда я получила весть о нем от Кати Прониной, то несколько дней не могла ходить на занятия. Но я твердо верю, что все окончится хорошо. Вы сильный, вы настоите на своем, вы поправитесь. Желаю этого всей душой. Милый Петр Дементьевич. Я вас никогда не перестану любить. И эта любовь, знаю, даст мне силы быть всегда человеком. Простите меня. Ваша Л. К.»

«Л. К.», Людмила Кирилловна, та удивительная Людмила Кирилловна, которая первой пошла ему навстречу, когда он появился в Воскресенском, которая готова была его поддержать, ободрить и приласкать, почувствовав, как трудно, как тяжело человеку, оказавшемуся в незнакомом краю, среди незнакомых людей.

Надо ей ответить, сказать, что она ошибается, что еще будет, будет и она счастлива.

Он так углубился в эту безмолвную беседу с Людмилой Кирилловной, что позабыл о втором письме, принесенном санитаркой вместе с голубым конвертом. Перед ним день за днем чередой проходила его недолгая, но полная больших переживаний полоса жизни в Воскресенском. Полтора этих года стоили многих лет.

Когда наконец он взялся за второй конверт с грифом исполкома областного Совета, его поразил адрес: «Депутату Междуреченского Совета тов. Лаврентьеву». Уже депутат! В конверте была короткая выписка из постановления Совета Министров РСФСР. «Инициативу одобрить», — увидел Лаврентьев простые и вместе с тем очень значительные слова. Для того чтобы появились эти слова, был пройден трудный путь. Маленькое дело, начатое с ям на участке Аси Звонкой, выросло, стало делом государственным. Теперь — можно не сомневаться — оно пойдет.

Лаврентьев запахнул байковый больничный халат, в котором человек чувствует себя таким беспомощ-

ным, и пошел к главному врачу — требовать, чтобы его сейчас же выписали, чтобы тотчас принесли одежду. Он должен, он обязан немедленно уехать к себе в Междуречье.

3

Уговорить врачей в тот день не удалось. В район Лаврентьев вернулся, лишь когда зацвели сады, когда лопались на яблонях первые бутоны и полусонные пчелы, кружась над ними, ждали своего дня, ждали медвяного нектара. Воды Лопати и Кудесны схлынули. По примеру прошлого года, приостановив временно строительство, воскресенцы боролись с водой при помощи ям и канав. «Последний раз такое варварство, граждане, — утешал односельчан Антон Иванович. — Кончим с этим, кончим. Сами видите, к концу дело идет». Половодье достигло небывалого размера, доползло до скотных дворов, вспучило там дощатые полы; в мутном потоке утонула перепуганная корова Зорька, захлебнулись две овцы и поросенок; уплыла новая телега, ее едва догнали на лодках. И рухнул, рассыпался гнилыми бревнами правленческий домишко. Хорошо, счетовод успел вынести из него свои папки и ведомости.

Антон Иванович обрадовался гибели «свинушника». Правильно, значит, делал, что сопротивлялся его капитальному ремонту, — перст, дескать, судьбы: не тут быть селению, не тут строить новую жизнь.

Солнечным утром Лаврентьев вышел из вагона в полной уверенности, что его никто не встретит, потому что о дне своего приезда он нарочно не сообщал, — после долгой отлучки ему хотелось войти в жизнь колхоза не сразу, а постепенно. Но он ошибся. Только спрыгнул с подножки, вкруг его шеи тут же обвились Клавдины тонкие руки.

— Нехороший какой, Петр Дементьевич! — обиженно и радостно шепнула она ему на ухо. — Тайком.

— Конспиратор, конспиратор! — Клавдию нетерпеливо отстранил Карабанов и тоже крепко его обнял.

Жал руку Громов, смеясь говорил что-то такое из

Виргилия о том, что вол уже проревел и пора влажной землею до жаркого блеска отчистить лемехи плуга. Бежали через привокзальную, бурую от навоза площадь Антон Иванович и шофер Николай Жуков. Антон Иванович размахивал руками.

— Другой раз не хитри с друзьями, — говорил Карабанов, когда шли по улице. — Они тоже хитрые. Мы с Клавдией Кузьминишной не промахи оказались. Когда уезжали, попросили главного врача сообщить нам о дне твоей выписки телеграммкой. Хитро?

— Хитро. Только я выписался не вчера, а два дня назад.

— А мы два дня подряд и встречаем. Вчера паничка тут началась среди земляков: пропал человек. Еле утешил, — в облисполкоме, говорю, сидит. Не иначе. Верно ведь?

— Верно. Почему вы так подумали?

— Знаю тебя. Ориентироваться пошел — как да что. А сейчас пойдешь завтракать. Ко мне, товарищи, всей бригадой, — пригласил Карабанов. — Жены дома нет. Зато бабушка на боевом посту. Что-нибудь соорудит.

Снова Лаврентьев был в уютной квартирке Карабановых. Клавдия не сводила с него тревожно-радостных глаз, жалась к нему плечом, но ее оттирали, отнимали у нее Петра Дементьевича.

Было похоже, что на него имеет право кто угодно, только не она. Клавдия рассердилась и, опечаленная, села в бабушкино кресло, стала машинально наматывать на палец шерстяную нитку из оставленного в кресле клубка. Она не знала слов, сказанных когда-то Людмилой Кирилловной Лаврентьеву: «Мне жаль вашу Клавдию». Ей самой стало жалко себя. Петр Дементьевич так увлекся разговором с Карабановым и Антоном Ивановичем, что о ней, казалось, совсем позабыл.

— Каша, Дементьевич, заварилась такая крутая, — говорил Карабанов, — что нам всем вместе едва-едва хватит силенок ее расхлебать. Правительство республики, ты уже знаешь, утвердило план больших работ в Междуречье. Вроде, брат, Полесской проблемы дело оборачивается. Веселая при этом штука получилась!.. Нам область предложила создать комиссию для коорди-

нирования работ. Поставили вопрос на исполкоме. Тут Лазарев забушевал: «Э, говорит, комиссия! Знаем. Бюрократизм начнется, заседания, протоколы. А дела никакого. Против комиссии. Пусть лично секретарь райкома и председатель исполкома возглавят. Если же непременно комиссия, давай председателем Карабанова». Я сгоряча и бухнул: «Ладно, говорю, выберут, так от работы бегать не стану. Не привык от нее бегать». И что ты думаешь — выбрали! Председателем. Вернее — начальником штаба, — мы эту комиссию штабом назвали. Междуреченский штаб! Ты, имей в виду, первый заместитель начальника. Второй — инженер Голубев. Суровый такой мужчина, со шрамом через все лицо. Характерец! Как бы потасовки между вами не вышло. Следить буду.

— Никита Андреевич — о своем, я — о своем, — дождался очереди говорить Антон Иванович. — Правление наше, Дементьевич, начисто смыло. Одни камни угловые остались. С этого раза, считай, Воскресенского нету. Уплыло. Первым делом, в новом поселке новое правление порешили строить. Мне кабинет — председателю значит, тебе кабинет — агроному, Дарье — секретарю партийной организации.

— Так что́ — в кабинетах будем сидеть?

— Ну тебя, Дементьич! Все шутишь. Кабинеты для приемных часов. Не понимаю я тебя, ей-богу! Сам же меня скоблил полтора года — правление да правление. А теперь. . .

— А теперь задумался: что лучше и важней — хорошее поле или хороший кабинет? Диалектика, знаешь, человеческого сознания, Антон Иванович. Оно же развивается.

— Это — не перечу. Развитие есть. Костю взять Кукушкина. Какие фортеля выкидывал? Проволоку колючую, нитки, засады. Теперь посмотри, у них там на пасеке этакий договорище вывешен! Все пункты, все планы, нормы. Взаимный контакт с дядей Митей, а ведение дел самостоятельное. Ульев новых навезли. Оба лаются, — стройкой, дескать, пчел им пугаем.

Бабушка, шаркая войлочными туфлями, внесла сковородку; запахло салом и зеленым луком.

— Что это ты, молодка, натворила-то мне! — увидала старуха Клавдину работу и отобрала у нее нитки. — Эка, запутала как. Видать, не рукодельница. — И уже тише, понимающе, спросила, указывая на Лаврентьева: — Муж он тебе? Не слышу — кто?

Клавдия побледнела. В тех случаях, когда обычно краснеют, она всегда бледнела.

Машина катила по плотной, обструганной грейдером дороге. Лаврентьева пытались посадить в кабину, но он отказался, уступил место Антону Ивановичу. Ему хотелось быть вместе с Клавдией. Клавдия ошиблась: Лаврентьев не переставал думать о ней ни на минуту. Сознание того, что отныне рядом с ним есть она, утраивало, удесятеряло его силы и энергию. Он физически ощущал за спиной те крылья, о которых любил так хорошо говорить Карабанов. Он готов был — вот только остановится в конце своего пути машина — перемахнуть через ее борт, схватить лопату и тут же, сию минуту, начать расшвыривать комья земли, прокладывая дорогу Кудесне в Лопать, чтобы исчезли болота и седые мхи в лесу, отступили вглубь вечно подстерегающие урожай злые грунтовые воды, зацвели в полях клевера и перестала Ася Звонкая тревожиться весенними ночами за судьбу своей пшеницы. Ему чепухой казались теперь рассуждения о весах жизни, на которых непременно должно перетягивать или общественное или личное, о чем однажды он долго раздумывал. И то и другое сливалось у него воедино, взаимно дополнялось. Становилось ясным, что большие общественные стремления не обедняют, а обогащают личную жизнь, выводят ее из домашних замкнутых рамок на простор. Это и есть человеческое счастье!

Закладка первого канала была приурочена к окончанию основных работ в поле. Канал, как и говорил Антону Ивановичу инженер Голубев, должен был пройти по трассе воскресенского ручья. К торжественному дню в Воскресенское съехались люди со всего района — и на машинах, и на подводах, и верхами; совхозные пришли пешком — им было близко. Возле ручья, там,

где он выбивался из оврага в котловину, занятую селом, построили дощатую трибунку, увили ее еловыми ветвями и красными полотнищами. За трибуной возвышался большой портрет Сталина. Сталин с высоты окидывал взором армию строителей, как бы оценивая их силы и напутствуя: «Земле цвести. На то мы и большевики с вами, друзья мои». На трибуну взошли Карабанов, Громов, инженер Голубев, Лаврентьев, Антон Иванович, Дарья Васильевна. Говорились взволнованные речи о той созидательной силе, какую идеи Ленина — Сталина вкладывают в душу человека, о том, как эти высокие идеи меняют отношения между народами и перестраивают мир, даже самую природу во имя счастья и расцвета человечества. Анохин, самый малословный и деловитый оратор, которого воскресенцы выставили от себя для участия в торжественном митинге, растерялся перед величием того, чему в этот день на берегу гнилого ручейка закладывалось начало. Он только развел руками и не мог произнести ни слова. Его поняли и ответили ему горячими аплодисментами, ободряющими криками.

— Ясно, друг, все ясно! Сильней не скажешь!

Потом началась церемония закладки. Первым всадил лопату в землю начальник штаба междуреченских работ — Карабанов. За ним Лаврентьев. Два пласта почти одновременно рухнули с берега в ручей, вода подхватила песок и глину, размыла их, унесла в Лопать.

Бросали землю в воду Голубев, Антон Иванович, вновь приехавший из Горок Лазарев, директор совхоза, Ася Звонкая — все, кто хотел. Была в этом какая-то шумная неразбериха и беспорядочность, простительная только для первого и такого праздничного дня. Завтра суровый Голубев возьмет дело в твердые руки, расставит силы, и все пойдет по плану, по четким, отбитым шнурами и стальными лентами трассам.

Для знаменательного дня Ирина Аркадьевна с Асей придумали особый подарок. Когда закончилось швыряние земли в ручей, когда каждый желающий приложил руку к лопате, возле трибуны большой подковой выстроился многолюдный воскресенский хор. Опробовали лады баянисты, Ирина Аркадьевна подняла руки: вни-

мание! — и плавно опустила их. Так же плавно, нарастая, раздаваясь вширь, поплыла над полями песнь, торжественная, полная лирики и величия.

«Сколько звезд голубых, сколько синих», — начали девичьи голоса.

«Сколько ливней прошло, сколько гроз», — вступили мужские баритоны и басы.

Люди стояли вокруг, опершись о лопаты, серьезные, думали об этих ливнях и грозах, следы которых остались почти у каждого из них на пиджаке или на гимнастерке — нашивки за раны, медали и ордена.

«Соловьиное горло — Россия, — подымал хор, — белоногие пущи берез».

Со всех сторон к строителям теснилась она, воспетая в веках Россия. Белоногие березы шумели на опушках садов, звенели жаворонки, сверкала под солнцем Лопать, цвели купавы ярким ковром за рекой. Это была Россия. Белели среди деревьев первые венцы новых срубов поселка; проступали пятна красного кирпича; курилась, как вулкан, под ветром груда цемента; стояли среди зеленых трав вереницы машин, украшенных плакатами; под дощатым навесом ждала, когда включат мотор, бетономешалка, — это все тоже была Россия.

Песнь плыла не умолкая. Ирина Аркадьевна — лицо в слезах — вела ее взволнованно и вдохновенно.

«Рассветало, зимние, косые по снегу лучи прошлись гурьбой, — волнуясь, слушала она слова, полные для нее глубокого значения. — За окном летела вдаль Россия со своей прекрасною судьбой».

Вслушивались в эти слова и Антон Иванович с Лазаревым и с пореченским председателем Рыбаковым. Они лежали в траве на лужку, окруженные колхозниками. Горские и пореченские расспрашивали воскресенцев.

— Значит, и водопровод задумали?

— Задумали. Инженеры говорят: когда плотину построят, вода самотеком пойдет, и насосов можно не ставить. Только трубы проложить.

Горские завидовали. А Рыбаков сказал:

— И вообще, Антон Иванович, не вижу препят-

ствия, почему бы вам, воскресенским, нас, пореченских, в пай не принять, а? Земли соседствуют. Деньжата-средства тоже у нас есть. Объединиться бы в один колхоз, а?

— Помозгуем, — ответил Антон Иванович. — Время еще будет.

А песня не умолкала.

Среди ночи к Лаврентьеву постучали. Это была Катя.

— Мама вас зовет, Петр Дементьевич.

Голос был такой, что он даже не стал спрашивать, что случилось, торопливо оделся и вышел. Ирине Аркадьевне было плохо.

— Очень плохо?

Катя только заплакала.

Положение Ирины Аркадьевны было действительно плохое. Слишком высоким оказался для нее подъем чувств, испытанных в этот день. Сердце не выдержало.

— Ухожу, Петр Дементьевич, — сказала она.

Он присел возле постели. Ирина Аркадьевна взяла его руку, ее рука была холодная и сухая.

— Прощайте, прощайте, дорогой Петр Дементьевич. Спасибо вам. Вы напомнили мне моего Виктора. Я плохо начала молодость. Но люди, вот такие, как Виктор, как вы, всегда потом помогали мне жить, не сбиваться с дороги, общей с народом.

— Ирина Аркадьевна! ..

— Не надо, не надо утешать. Я знаю...

За окном, поскрипывая, терлась о водосточную трубу рябина. Звук, памятный Лаврентьеву с первой ночи, проведенной под кровом Ирины Аркадьевны. Нудный, отвратительный звук.

— Эта она. Смерть.

— Мама! — тоскуя, крикнула Катя. — Перестаньте. Всю жизнь вы были так мужественны...

— Была? Ты даже не замечаешь, что говоришь обо мне в прошедшем времени. — Нечто подобное грустной улыбке скользнуло по лицу Ирины Аркадьевны. — Ну и правильно. Прощайте, родные, прощайте. Ухожу...

Под утро Ирина Аркадьевна ушла. Ни Георгий Трофимович, ни дядя Митя, ни Лаврентьев не утешали

Катю. Лаврентьев сидел у распахнутого окна, в которое шел волнами аромат отцветающих яблонь, и повторял, повторял, глядя на голубой рассвет: «За окном летела вдаль Россия со своей прекрасною судьбой. . .»

4

Любовь захватывала Лаврентьева, овладевала им с такой силой, что ему становилось трудней и трудней скрывать свои чувства от окружающих. И все же, сдержанный, скрытный, он, как ему казалось, довольно успешно справлялся с собой. Но это ему лишь казалось. Как бы глубоко ни прятал он внезапно нагрянувшую радость, она, помимо его воли, вырывалась наружу. Энергия бурлила, клокотала в нем. Агроном успевал быть и агрономом и первым заместителем начальника штаба междуреченских работ.

Весна в деревне всегда схожа со стремительным наступлением. Тут, как и на поле боя, обстановка меняется каждоминутно, на каждом захваченном рубеже надо по-новому распределять силы и средства. Анохин, еще зимой отошедший от руководства полеводческой бригадой, теперь полностью отдался роли организатора снабжения поселковой стройки материалами. Его место в бригаде заняла Ася. Молодому бригадиру надо было помогать и помогать, тем более что, в отличие от прошлых лет, на воскресенских полях в несколько раз увеличилось количество машин. МТС слала сюда не только тракторы, как бывало, но и тракторные картофелесажалки, сеялки, культиваторы. Менялось, возрастало значение животноводческих ферм. На скотных дворах к автопоилкам добавились аппараты для электрической дойки. С ними предстояло много возни, — коров раздражал шум моторчиков, и доярки, как с ними ни билась Дарья Васильевна, наотрез отказывались от механизации. Значит, надо было помогать и Дарье Васильевне. Иные масштабы приняла деятельность Карпа Гурьевича: из столяра-одиночки он превратился в бригадира столяров, был занят оборудованием большой столярной мастерской. Павел Дрёмов упорно работал над увеличением мощности электростанции; совхозный техник по-

мог ему «выжать» из двигателя еще несколько дополнительных лошадиных сил и поставить новую динамомашину. Каждый день приносил с собой новое. Это новое надо было предугадать, предусмотреть, организовать. На протяжении недели дважды приходилось подымать на ноги весь колхоз и вести людей на спуск лесного болота в овраг, — иначе у инженера Голубева тормозилась пробивка трассы канала.

Как Лаврентьеву хватало сил быть в центре всех воскресенских дел? Откуда брались эти силы? Он вставал с ночными петухами, еще до солнца; первым его видели на улицах села бессонные старики. Он встречал и провожал весенние зори на ногах, и только в эти ранние и поздние часы было у Лаврентьева время задумываться над вопросом, откуда у него столько взялось сил. И губы сами собой произносили в утренней прозрачной тишине ставшее таким родным и милым имя: Клавдия.

Клавдия была неизменно в сердце, но встречался он с ней урывками, редко, даже не каждый день, — лишь когда удавалось забежать на парники или посидеть вечером на крылечке ее дома. И когда вот так сидели рядом, близко, касаясь друг друга, когда Лаврентьев ощущал плечом тепло Клавдиного плеча, он говорил себе, что с этого крылечка больше никуда не уйдет, что он еще не совсем окреп после больницы и никто слова не скажет, если агроном хоть несколько дней отдохнет здесь, в опрятном, уютном домике. Но подходил, издали заприметив его в сумерках, Антон Иванович, на бегу останавливался возле Павел Дрёмов с кольцом черной проволоки, как скатка, надетым через плечо, или Дарья Васильевна неторопливо возникала из-за плетней, — и начинались разговоры, советы, расспросы. Заканчивался вечер где-нибудь в правлении, на скотном дворе, под навесом бетономешалки, на пчельнике, — и снова Лаврентьев среди ночи валился на свою жесткую постель и слушал скрип рябины за окном.

С Клавдией хотелось быть все время, каждый час, каждую минуту, не разлучаясь. Если еще полгода, несколько месяцев, даже месяц назад его к ней влекло какое-то довольно неопределенное, безотчетное чувство — влекло и влекло, что поделаешь, — то теперь

чувство это стало совершенно определенным. Лаврентьев открыл, увидел в Клавдии то, за что он ее полюбил. Разные по характеру, они во многих — и главных — чертах были все-таки схожи. Как и он, Клавдия была настойчива, упорна в достижении поставленной цели; с ней ни одну секунду не было ему скучно. Она думала и говорила остро, прямо; чтобы ответить ей, Лаврентьеву приходилось собирать чуть ли не все свои знания. И вместе с тем, как ни скупа она была в проявлении своих чувств, при каждой встрече он ощущал скрытую в ней ласку, нежность к нему.

Единство помыслов, сходство главных черт характера, полный ласки взгляд зеленых глаз Клавдии, ее порывистые объятия, быстрые, как дуновение теплого ветра, поцелуи — все говорило Лаврентьеву, что он нашел друга в жизни и в своих делах, друга, одно присутствие которого утраивает, удесятеряет силы.

Клавдия, не меньше — может быть, даже больше, чем он, — взволнованная, охваченная новым для нее чувством огромной любви, остро, тяжело переживала постоянную разлуку со своим Петром Дементьевичем. Она даже хотела — но у нее, всегда такой решительной, вдруг на этот раз не хватило решимости — пойти в правление и потребовать, чтобы не смели мучить агронома, что ему нужен отдых после болезни.

Решимости не хватило по той простой причине, что Клавдия была уверена: ни на какой отдых Петр Дементьевич не согласится и еще только рассердится на ее непрошенное вмешательство. Она его уже хорошо знала.

Но и так, по ее мнению, дальше продолжаться не могло. Она не жена того писателя-демократа, о которой рассказано в книжке, она Клавдия Кузьминишна Рыжова. Если уговорились о любви, о дружбе, если поверил, отдал ей свою душу Петр Дементьевич, Клавдия Кузьминишна не будет играть в прятки.

Теплым вечером Клавдия вернулась однажды с поля пораньше, прибрала в комнатах, вышла на крылечко, как всегда, поджидать — не подойдет ли Петр Дементьевич. Сидела, подперев ладонью щеку; смотрела, как вьются высоко над старой колокольней стрижи,

предвещая хорошую погоду; слушала далекую и от этого тревожную песню девчат; самой захотелось подтянуть им, девчатам. Не отнимая руки, повернула лицо на звук шагов: вдоль изгороди шаркала по земле валенцами бабка Устя — осторожно несла узкогорлый кувшин, получила молоко на скотном, боялась расплескать. Поставила кувшин возле крыльца, присела рядом с Клавдией на ступени.

— Что пригорюнилась, Кланюшка? Тебе ли горевать! Прынца какого нашла... Да ведь и заслужила ты его, заслужила. Трудная жизнь у тебя была, милая, сызмальства. Глядишь бывалоче на сиротку, сердце в крови плавает, жалость берет. А не подойди к тебе — гордая! Ну вот господь-то бог и увидел... Радуюсь, на тебя глядючи, налюбоваться не могу, старая.

Бабка Устя так неотрывно смотрела на Клавдино лицо, будто и в самом деле не в силах была налюбоваться.

На улице появилась ватага ребятишек. Они начертили на влажной земле квадрат и стали играть в чижика.

— Эх, ушло мое времечко! — вздохнула, следя за игрой, бабка Устя. — Бывало вот эдак тоже баловалась с мальчишками. Озорная была. Витька, дайкось, сынок, сюды, дай игралку, — поманила она паренька в новой сатиновой рубашке.

Ребятам стало весело: бабка Устя сыграть с ними вздумала. Вот потеха! Подали лопатку, деревянного чижика, заостренного с двух сторон. Не вставая с крыльца, бабка тюкнула по острому концу лопаткой, деревяшка подлетела в воздух, но на лопатку уже не угодила, — промахнулась Устинья.

— Ничо, вдругорядь я вам еще нащелка́ю.

Попробовала и Клавдия. Тоже не сумела поддать чижика как следует. Так и застал ее Лаврентьев среди мальчишек, раздосадованную неудачей, возбужденную.

— Ну-ка, я. — Он взял из Клавдиных рук лопатку. Чижик у него завертелся, запрыгал и на земле и в воздухе, от сильных ударов улетал далеко на дорогу.

— Прынц, истинный прынц! — входила в азарт бабка Устя. — Вдарь, вдарь еще, Дементьич!

Солнце ушло, стало меркнуть весеннее небо; сумерки наплывали из окрестных лесов. Ребятишки разбежались, зашаркала со своим кувшином домой бабка Устя.

— Клаиюшка, — сказал Лаврентьев, обнимая Клавдию за плечи, — как хорошо тебя зовет Устинья. Можно, и я так буду? . .

Клавдия тесно прижалась к его груди, охватила руками его шею.

— Уйдем, Петр Дементьевич. Погуляем. — Она тревожно оглядывала сумеречную улицу: не подойдет ли кто, не уведет ли от нее Лаврентьева, как всегда случается в такие вечера.

— Уйдем, — ответил он, целуя ее в висок.

Через огороды и пустыри они вышли на околицу, поднялись в сады. Яблони отцветали, земля под ними была устлана белыми лепестками. В реке бились, играли большие рыбы. Только их всплески нарушали густую тишину. В безлунном небе выступили яркие звезды, и когда Клавдия поворачивала лицо к Лаврентьеву, он видел их отблески в ее глазах — быстрые, как искры.

Говорили без умолку: им еще столько надо было сказать друг другу, за многие годы многое накопилось в душе и в сердце такого, что можно поведать лишь самому родному человеку на свете. Ноги сами вели их через сады, по мягким полевым дорожкам, на береговые кручи, вдоль молодых зеленей и свежих пашен, и среди ночи вновь привели к крылечку Клавдиного дома.

Лаврентьев остановился, но Клавдия взяла его за руку и, не выпуская ее, поднялась на крыльцо. Лаврентьев прошел за ней в дом. В теплой темноте стучали где-то часы, отсчитывая время.

— Наверно, очень поздно, — сказал он, прислушиваясь к этому стуку. — Загулялись. Я, пожалуй, пойду домой. . .

Клавдия обняла его.

— Милый мой, родной, хороший! . . Никуда идти не надо. Здесь твой дом. . . Вот он. Навсегда. . . Навеки.



ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Кони, жилистый гнедой мерин Абрек и взятая в пристяжку Звездочка, нетерпеливо дергали рессорную тележку, которая стояла возле крыльца Клавдиного дома. Отвыкшая от запряжки Звездочка трясла кожей — сбруя ее беспокоила; лошадка тянулась, чтобы куснуть Лаврентьева за плечо и тем обратить на себя внимание. Но Лаврентьеву было не до нее. Инженер Голубев толковал ему об арматурном железе, о втором паровом копре и экскаваторах, — их во что бы то ни стало надо было получить в области. Антон Иванович поправлял в тележке мешок с сеном. Ему было понятно, почему Лаврентьев не стал вызывать машину из города, почему отказался и от колхозного грузовика. Стояла та летняя пора, когда над землей пахнет вянущими на лу-

гах травами, когда небо безоблачно, воздух чист и веют теплые ветры. Конечно, Петру Дементьевичу захотелось хотя бы еще денек побыть простым колхозным агрономом, мирно прокатиться со своей Клавдией по знакомой лесной дороге. Антон Иванович заботился о том, чтобы седокам было удобно, не жестко, не тряско. В последнюю неделю его одолевали двоякие чувства. С одной стороны, он так привык, так привязался к Лаврентьеву за минувшие без малого два года, что даже и представить не мог, как это он завтра пойдет один в луга к косарям, как один останется с пахарями, которые пашут под озимые, как в одиночку будет мотаться на стройке поселка. Истинная беда приключилась — их воскресенского агронома на недавней сессии районного Совета единогласно избрали председателем. Вышло так потому, что Громова забрали в область, возглавлять лесное дело: большой специалист в этом деле Сергей Сергеевич, гораздо больший, чем в сельском хозяйстве. С другой стороны, Антону Ивановичу было чрезвычайно лестно, что депутаты избрали председателем райисполкома именно Лаврентьева. Честь-то какая колхозу! Иной бы рассудил по-другому: свояк идет на столь высокий пост, какие же колхоз получит выгоды, какие предпочтения. Но Антон Иванович думал не о выгодах, а о чести, оказанной колхозному коллективу. Если Лаврентьев вырос, если о Лаврентьеве знает весь район, надо полагать, и колхоз вырос, и о колхозе идет слава по всему району. Известно — человек не в одиночку растет, и только тогда, когда растет и его дело.

От этих мыслей Антон Иванович утратил дар речи, молчал, в беседу Голубева с Лаврентьевым не вмешивался. Молчали все, кто собрался на проводы, — собралось же больше половины села. В последнюю минуту перед расставанием человек никогда не находит нужных слов, а бездельные, пустые — кому они нужны. Елизавета Степановна стояла с мокрыми глазами, подперев щеку пальцем. С тех пор как разбилась злосчастная бутылка, в жизни телятницы начались большие перемены. Не прошло и трех месяцев — правительство наградило ее трудовым орденом за отличное выращивание молодняка. Орден поднял Елизавету Степановну в

собственных глазах, она уверовала в свои силы — и перестала плакать тайком, и на собрании могла выступить безбоязненно, и на зоотехника уже не смотрела как на Николу-чудотворца, спорила с ним, если была в чем несогласна, ссылалась на книги, на журналы. Окрепла, повеселела. Только в сердце жили светлая память о родном Федоре и грусть оттого, что никогда-никогда не узнает он о чести, какой удостоилась его Елизавета. А как бы хотелось, чтобы узнал...

За спиной Елизаветы Степановны Карп Гурьевич совал в руки Клавдии какой-то угловатый пакет, обернутый в серую плотную бумагу. Клавдия отстранялась: «Что такое, зачем!» — «Передашь ему после, щикатулку сготовил. Под табак. Почище покупных, глянь». — И, надорвав бумагу, показывал светлое полированное дерево, испещренное тонкой затейливой резьбой.

Затертый в толпе, осиротевший дядя Митя держал в руках берестовый кузовок с медом и не знал, как его ловчей преподнести Лаврентьеву. Костя нашептывал: «Дядь Мить, сунь под сено-т, под сено». — «Под сено? Сядет да раздавит, — сомневался в правильности Костиного плана старик. — Штаны прилипнут. Будет нас недобрым словом поминать. Обратный, Костенька, результат получится».

Илья Носов толковал с Асей возле коней, указывал на вожжи, шлеи, хомуты; давал советы, как следить за пристяжной: Ася вызвалась быть возницей.

— Ну, друзья, пора нам. — Лаврентьев взглянул на часы. — Разъезжаемся, но не расстаемся.

— Это как водится, — оживился Антон Иванович. — Имей, Дементьич, в виду — дом тебе строим. Сад вокруг посадим осенью, честь по чести. Из списков не вычеркиваем, слышишь?

— Списки списками, — Анохин обнял Лаврентьева. — Главное — что? Главное — из сердца тебя не вычеркнешь.

Все толкались, тискались — пожать руку, обнять, расцеловаться.

Наконец-то Ася тронула вожжами, и тележка покатилась по пыльной улице. Люди долго шли следом, раз-

махивали платками, кепками, фуражками — отставали, исчезая в пыли. Отстал и дядя Митя, так и не набравшийся отваги, чтобы вручить Лаврентьеву свой кузовок, — нес его обратно домой.

Застоявшиеся Абрек и Звездочка набирали скорость. Мелькали избы, скотные дворы, амбары; у многих строений были уже сняты кровли, разорены, повалены заборы и ворота — первые признаки близкого переселения. Тележка подымалась в гору, к усадьбе, к новой стройке. Отсюда был виден копер на трассе канала, далеко ушедшей от села к лесу. Копер шипел и грохал. Вкруг него мелькали среди поля люди, взлетала вскидываемая лопатами земля. По дороге тоже шли с лопатами и с топорами, сторонились к обочинам, взмахивали фуражками, узнавая Лаврентьева. Возле каменных ворот произошла заминка. Звездочку по привычке потянуло в липовую аллею, к старому дому. Лаврентьев хотел взять вожжи, но Ася не отдала, сама справилась с лошадьми. Заезжать в старый дом было не к кому. Никого не осталось там после смерти Ирины Аркадьевны. Похоронив мать, Катя с Георгием Трофимовичем и дядей Митей, пока в поселке строится новый дом, перебрались в комнаты для врачей при больнице. Георгий Трофимович вскоре уехал в Москву. Он уже счел себя вполне способным принять участие в очередной экспедиции; уезжая, заявил, что осенью вернется и всю зиму будет работать над докторской диссертацией.

Квартиру Прониных и комнаты Лаврентьева несколько дней назад занял сельский Совет, о чем свидетельствовало алое полотнище флага над куполом здания, со всех сторон обнесенного строительными лесами.

Тележка катилась мимо свежих срубов и фундаментов. Молчала возница, молчали и седоки. Лаврентьев оглядывался: где тут дом, обещанный ему Антоном Ивановичем. Вот он — кирпичная кладка рядом с обширным строением нового правления, на крыльце которого кто-то стоит в пестром сарафане. Марьянка, конечно. Толстуха высоко подбрасывает в руках завернутый в белое тючок. Обманулся в расчетах председатель. Родила ему Марьянка не сына, а дочку. Но радости от этого было нисколько не меньше, хлопот же — не обе-

рись. Антон Иванович ходил в сельсовет, ездил в загс, ставил вопрос на райисполкоме, чтобы местом рождения маленькой яблоньке, птичке, касаточке записали поселок Ленинский, а не село Воскресенское. Ответственные товарищи становились втупик. Заведующий районным загсом развел руками: «Товарищ Сурков, немыслимое требуешь. Где твой поселок, где? Укажи на карте». — «Карта устарела! — негодовал Антон Иванович. — Как не понять! Поломали мы ее, перекроили. Не на свою карту смотри — на мою. — И вытаскивал из кармана план поселка — копию, собственноручно снятую с листов ватмана, исчерченных архитектором. — Вот правильная карта». Разводил руками и Громов, дергал себя за ус начальник милиции, к которому тоже, в полном расстройстве, забежал молодой отец. Дело дошло не больше, не меньше, как до секретаря райкома. «Считаю, что просьбу надо уважить, — разрешил неожиданно трудный вопрос Карабанов. — Сегодня еще многого нет на картах страны, но завтра оно будет. Будет и поселок Ленинский. Запишите первую гражданку будущего поселка авансом. Правительство нам это самоуправство простит, товарищи начальники».

Первая гражданка поселка Ленинского орала на руках матери во все горло, подбадривая и торопя строителей. И это не было лишним. Антон Иванович, в доказательство того, что с Воскресенским все покончено, что маленькая яблонька его и звездочка — в самом деле гражданка нового поселка, перебрался на жительство почти в голый сруб, но все сносил безропотно, даже Марьянкино ворчание на бесчисленные неудобства такой цыганской жизни, и был очень доволен.

Клавдия помахала рукой первой гражданке поселка и ее матери. Лаврентьев тоже взмахнул кепкой, в последний раз оглянулся с возвышенности на Воскресенское, на его разобранные кровли. Нетронутой среди них торчала только крыша Савельичевой избы. Савельич не желал входить в новую жизнь, упорствовал. И до коих пор будет упорствовать «осколок прошлого»? .. Разве что воды канала, которые хлынут в низину из Кудесны, смоют его гнилое гнездо. Перед таким потоком вряд ли старик устоит.

Голые стропила исчезли за бугром. Промчался Павел Дрёмов на мотоцикле, сверкающем эмалью и никелем, купил-таки давно желанную машину. Обогнав тележку, хитрый малый рассчитывал на то, что в городе взвалит на нее свой, якобы испортившийся, мотоцикл, устроится рядом с Асей и будет с ней ехать обратно шажком, до самого вечера. Ася, конечно, в порчу машины охотно поверит.

Лаврентьев думал о встрече с Карабановым, с которым будет теперь работать бок о бок, рука об руку, о Клавдии, которая завтра-послезавтра возвратится в колхоз, чтобы продолжать семеноводство. Она не соглашалась до осени покинуть свой участок. Осенью — другое дело. С осени жена Карабанова Раиса Владимировна обещала начать с ней заниматься, чтобы помочь сдать экстерном за среднюю школу. А там... В сознании Клавдии с новой силой возникло желание — даже и не желание это было, а необходимость — получить высшее образование, стать специалистом. Клавдия желала быть подругой Петру Дементьевичу своему на всю долгую жизнь. Именно подругой, другом. На роль просто жены она, гордая и самолюбивая, не годилась. Выход был один — и он подсказывался ей всем ее характером, всей натурой, всем строем мышления — всегда-всегда идти вровень с Петром Дементьевичем. Она сделает так, она добьется этого. Трудно? Ну что ж, жизнь ей никогда не давалась легко, как иным.

Трясясь на свежем душистом сене, Лаврентьев даже и не подозревал, какими думами занята его Клавдия. Он все оглядывался назад и долго еще видел алый стяг на высоком древке. Яркое полотнище то взлетало на ветру, то опускалось, как бы напутствуя. Сколько дел совершено под этим стягом и сколько еще предстоит новых...

Навстречу тележке мчались, ревя, тяжелые грузовики с бочками цемента, с глыбами камня, с поющими людьми. Лаврентьев знал, что цемент этот для плотины, камень — для облицовки канала, а люди — солдаты нового строительства. Среди них были студенты из области, были каменщики и землекопы, были колхозники дальних селений, были техники, арматурщики, электро-

монтеры. Строители проносились мимо, едва взглянув на коней, на тележку, на ее седоков, и, конечно, не знали, что светловолосый человек в запыленном пиджаке, облокотившийся о мешок с сеном, есть тот, кто начал дело, которое они ехали продолжать. Они знали, что большая стройка там, впереди, развернулась по воле партии. И они были правы: сквозь деревья уже виднелся вьющийся в голубом небе огненный стяг, а все, что под этим стягом совершает человек, внушено ему идеей строительства коммунизма — бессмертной идеей партии большевиков.

1947—1950

ОГЛАВЛЕНИЕ

КОЧЕТОВ ВСЕВОЛОД АНИСИМОВИЧ

ПОД НЕБОМ РОДИНЫ

Редактор *А. А. Троицкий*

Художник *П. Н. Бусырев.* Худож. редактор *И. С. Серов*
Техн. редактор *В. Г. Комм.* Корректоры *Ф. С. Соскина*
и *И. А. Якимович*

Сдано в набор 8/II 1955 г. Подписано в печать 26/IV 1955 г. М 35368.
Бумага 84 $\times$ 108 $^{1}/_{32}$. Печ. л. 22 $^{3}/_{4}$ (18,66). Уч.-изд. л. 18,41 Тираж. 75 000.
Зак. № 209. Цена 6 р. 50 к.

Ленинградское отделение издательства
«Советский писатель»
Ленинград, Невский пр., д. 28

Типография № 3 Управления культуры Ленгорисполкома
Ленинград, Красная ул., д. 1/3

6 р. 50 к.


Всеволод
Кочетов
ПОД
НЕБОМ
РОДИНЫ